

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования города Москвы  
«Московский городской педагогический университет»  
(ГБОУ ВПО МГПУ)**

**Литовский эдукологический университет**

# **РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА**

***СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ***

**Выпуск IX**

**Москва  
2014**

УДК 80  
ББК 80я43  
Р 88

*Печатается по решению  
Редакционно-издательского совета ГБОУ ВПО МГПУ*

**Главный редактор:**  
***М.Б. Лоскутникова*** (Москва)

**Редакционная коллегия:**  
***И.А. Беляева*** (Москва), ***Е.Ю. Геймбух*** (зам. гл. редактора, Москва),  
***С.А. Джанумов*** (Москва), ***Г. Кундротас*** (зам. гл. редактора, Вильнюс),  
***Г. Петкевич*** (Вильнюс), ***С. Радзевичене*** (Вильнюс), ***Д. Сабромене*** (Вильнюс),  
***М. Сарновски*** (Вроцлав), ***Л. Сельмистрайтис*** (Вильнюс),  
***Э. Тышковска-Каспшак*** (Вроцлав), ***Е.С. Ярыгина*** (Москва)

**Рецензенты:**  
профессор кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Пензенского государственного университета,  
доктор филологических наук, профессор ***И.В. Замятина***,  
зав. кафедрой словесных искусств факультета искусств  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доктор филологических наук, профессор ***О.С. Крюкова***

Р 88 **Русистика и компаративистика:** сб. науч. ст. / Гл. ред.  
М.Б. Лоскутникова. – Вып. IX. – М.: МГПУ, 2014. – 276 с. –  
(Научное издание.)

Сборник научных статей «Русистика и компаративистика» (вып. 9) является результатом научного сотрудничества Московского городского педагогического университета и Литовского эдукологического университета. В сборнике принимают участие исследователи, работающие в других вузах и научных центрах России и Литвы, а также русисты и компаративисты из Венгрии, Польши, Японии. Сборник состоит из лингвистической и литературоведческой частей.

Для специалистов-филологов, преподавателей, аспирантов, студентов, учителей-словесников.

ISBN 978-5-243-00379-7

© ГБОУ ВПО МГПУ, 2014

© Литовский эдукологический университет, 2014

# СОДЕРЖАНИЕ

Вместо введения .....	7
-----------------------	---

## ЛИНГВИСТИКА

### Русский язык: традиции и современность

<i>Авина Н.</i> Современная орфография в зеркале рекламных объявлений: региональные особенности .....	9
<i>Алексеев А.В.</i> Культурная значимость слова <i>труд</i> в истории русского языка .....	24
<i>Ганиев Ж.В.</i> Новый этап в развитии русской орфоэпии .....	36

### Грамматика языка и текста

<i>Герасименко Н.А.</i> Таксономическое значение в бисубстантивных предложениях русского языка .....	49
<i>Шаповалова Т.Е.</i> Субъективная семантика глагольных форм настоящего времени в повести М. Лермонтова «Максим Максимыч» .....	61
<i>Геймбух Е.Ю., Федорова А.Г.</i> Своеобразие персонификации в «Сказках для вундеркиндов» С. Кржижановского .....	70

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

### Национальная идентичность:

#### вопросы литературоведения и культурологии

<i>Савада К.</i> «Запертой ларец с потерянным ключом»: И.А. Гончаров в Японии .....	82
<i>Лоскутникова М.Б.</i> Мотив <i>Другого</i> в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история» .....	98
<i>Романенкова М.</i> Национальная идентичность в сравнительном изучении (на материале русской и литовской литератур) .....	116

### Творчество Л. Толстого:

#### вопросы интерпретации и типологии

<i>Полтавец Е.Ю.</i> Литературный мотив колесницы и его мифо-ритуальные основы (на примере произведений Л. Толстого) .....	141
--	-----

<i>Молнар А.</i> Наименование смерти в произведениях Л. Толстого («Смерть Ивана Ильича») и М. Угарова («Смерть Ильи Ильича»).....	156
<i>Романова Г.И.</i> М. Гемфри Уорд и Л. Толстой.....	165

### **Проблемы типологии европейских литератур и литературно-фольклорные связи**

<i>Алпатова Т.А.</i> Эдвард Юнг в художественном мире Г. Державина и Н. Карамзина .....	177
<i>Тышковская-Кастиак Э.</i> Гетеротопия Петербурга в цикле эссе Ярослава Ивашкевича «Петербург» .....	193
<i>Джанумов С.А.</i> Народные пословицы в письмах А.С. Пушкина 1827–1834 годов.....	205

### **АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ**

Беседа с Е.Н. Левиной, директором ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”».....	219
--	-----

### **ШКОЛА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ**

Семинар молодых тургенистов в Спасском-Лутовинове. Участники: Ю. Гребенщиков, Е. Осокина, А. Горбунова, И. Саблина, Д. Медведева, О. Нефедина, Е. Степанова, А. Евдокимова .....	231
---	-----

### **РЕЦЕНЗИИ**

<i>Беляева И.А.</i> По следам юбилея И.А. Гончарова. Рецензия на книгу: «Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И.А. Гончарова // Bibliotheca Slavica Savariensis. Т. XIII (Szombathely, 2013. 532 с.)».....	251
--	-----

<b>Коротко об авторах</b> .....	268
---------------------------------	-----

# CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	7
---------------------------	---

## LINGUISTICS

### **Russian Language: Traditions and Modernity**

<i>Avina N.</i> The Modern Orthography in the Mirror of Advertisements: Regional Specific Features .....	9
<i>Alekseev A.</i> The Cultural Significance of the Word “Trud” in History of Russian Language.....	24
<i>Ganiev Zh.</i> New Stage of the Development of Russian Orthoepy.....	36

### **Grammar and Text**

<i>Gerasimenko N.</i> Taxonomical Value in the Bisubstantive Russian Sentences .....	49
<i>Shapovalova T.</i> Subjective Semantics of Verb Forms in Present Tense in M. Lermontov’s Story «Maxim Maksimych» .....	61
<i>Geymbukh E., Fedorova A.</i> Originality of Personification in «Tales for Wunderkinds» by S. Krzhizhanovsky.....	70

## LITERARY CRITICISM

### **National Identity:**

#### **Problems of Literary Criticism and Cultural Studies**

<i>Sawada K.</i> «Locked Chest with a Lost Key»: I.A. Goncharov in Japan .....	82
<i>Loskutnikova M.</i> Motif of <i>the Other</i> in I.A. Goncharov’s Novel «An Ordinary Story».....	98
<i>Romanenkova M.</i> National Identity in Comparative Research (of Lithuanian and Russian Literatures).....	116

### **Creativity of L. Tolstoy:**

#### **Problems of Interpretation and Typology**

<i>Poltavets E.</i> Literary Motif of a Chariot and its Mythic and Ritual Base (Illustrated by L. Tolstoy’s works).....	141
--	-----

<i>Molnar A.</i> The Name of Death in Works of L. Tolstoy («The Death of Ivan Ilyich») and of M. Ugarov («The Death of Ilya Ilyich») .....	155
<i>Romanova G. M.</i> Humphry Ward and L. Tolstoy .....	165

### **Problems of Typology of European Literatures and Literary-Folkloric Connections**

<i>Alpatova T.</i> Edward Young in the Art World of G. Derzhavin and N. Karamzin .....	177
<i>Tyszkowska-Kasprzak E.</i> Heterotopia of Petersburg in «Petersburg» essay cycle by Jarosław Iwaszkiewicz.....	193
<i>Dzhanumov S.</i> Folk Proverbs and Sayings in A.S. Pushkin's Letters of the 1828–1831 years .....	205

### **TOPICAL INTERVIEW**

Conversation with E. Levina, Director of «State Memorial and Natural Museum of I.S. Turgenev “Spasskoe-Lutovinovo”» ....	219
---	-----

### **YOUNG RESEARCHERS WORKSHOP**

Seminar for young investigators of I. Turgenev's art in Spasskoe-Lutovinovo. Participants: Yu. Grebenshikov, E. Osokina, A. Gorbunova, I. Sablina, D. Medvedeva, O. Nefedina, E. Stepanova, A. Evdokimova.....	231
---	-----

### **REVIEWS**

<i>Belyaeva I.A.</i> After I.A. Goncharov's Jubilee. The Review on the Book: «Goncharov I.A.: Live Prose Perspective. Scientific Articles about I.A. Goncharov's Prose Writings // Bibliotheca Slavica Savariensis. T. XIII (Szombathely, 2013. 532 p.)» .....	251
--	-----

<b>About Authors</b> .....	268
----------------------------	-----

## ВМЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ

Серияльное издание «Русистика и компаративистика» является результатом научного сотрудничества филологов Московского городского педагогического университета и Литовского эдукологического университета. В выпуске 9, помимо соучредителей сборника, приняли участие ученые и исследователи из других вузов и научных центров России и Литвы, а также русисты и компаративисты из Венгрии, Польши, Японии.

Сборник состоит из лингвистической и литературоведческой частей.

Лингвистическая часть сборника представлена двумя разделами. В первом из них — «Русский язык: традиции и современность» — в статье Н. Авиной (Литва) освещены региональные особенности современных рекламных объявлений; в статье А.В. Алексеева (Россия), посвященной проблемам истории языка, рассмотрена культурная значимость слова «труд»; в статье Ж.В. Ганиева (Россия) проанализирован новый этап в развитии русской орфоэпии. Второй лингвистический раздел — «Грамматика языка и текста» — открывается работой Н.А. Герасименко (Россия) «Таксономическое значение в бисубстантивных предложениях русского языка». Обратившись к литературным произведениям, Т.Е. Шаповалова (Россия) представила субъективную семантику глагольных форм настоящего времени в повести М.Ю. Лермонтова «Максим Максимыч», а Е.Ю. Геймбух и А.Г. Федорова (Россия) показали своеобразие персонификации в «Сказках для вундеркиндов» С. Кржижановского.

В первом литературоведческом разделе сборника содержатся работы, посвященные вопросам национальной идентичности. В статье К. Савада (Япония) освещено пребывание И.А. Гончарова в Японии. В статье М.Б. Лоскутниковой (Россия) рассматривается мотив *Другого* в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история». В статье М. Романенковой (Литва) проблема национальной идентичности исследована на сравнительном материале литовской и русской литератур.

Во втором разделе представлены статьи, связанные с анализом творчества Л. Толстого в мифопоэтическом ключе (работа

Е.Ю. Полтавец, Россия), а также в компаративистском аспекте — в сопоставлении с современной русской модернистской традицией (работа А. Молнар, Венгрия) и в ракурсе русско-английских взаимодействий (работа Г.И. Романовой, Россия).

Проблемы типологии европейских литератур и литературно-фольклорные связи являются содержанием третьего раздела литературоведческой части сборника. В статье Т.А. Алпатовой (Россия) показаны роль и значение творчества Эдварда Юнга в художественном мире Г.Р. Державина и Н.М. Карамзина. В статье Э. Тышковской-Каспшак (Польша) исследуется гетеротопия Петербурга, ставшая предметом изображения в одноименном цикле эссе Ярослава Ивашкевича. В статье А.С. Джанумова (Россия) представлены народные пословицы, встречающиеся в письмах А.С. Пушкина 1827–1834 годов.

В разделе «Актуальное интервью», введенном в предшествующем выпуске сборника, помещена беседа с Е.Н. Левиной, директором ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”».

Новой рубрикой сериального научного издания является «Школа молодых исследователей». В выпуске 9 даны восемь выступлений молодых тургенистов Московского городского педагогического университета, участвовавших в научном семинаре, прошедшем на родине писателя, в Спасском-Лутовинове, в апреле 2014 года.

В разделе «Рецензии» представлен анализ сборника научных статей «Гончаров: живая перспектива прозы» (Szombathely, 2012), осуществленный И.А. Беляевой (Россия).

Книга завершается рубрикой «Коротко об авторах».

Редколлегия сборника благодарит всех коллег, принявших участие в его рецензировании. Общее рецензирование лингвистической части книги провела И.В. Замятина (Пенза), общее рецензирование литературоведческой части — О.С. Крюкова (Москва). Авторами рецензий на статьи, помещенные в сборнике, являются Е.Н. Абрашина (Москва), В. Бальсевичюте-Шлекене (Вильнюс), А.В. Архангельская (Москва), С. Власова (Вильнюс), Л.В. Маркина (Москва), Е.С. Ярыгина (Москва).



# ЛИНГВИСТИКА

## Русский язык: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Н. Авина*

Литовский эдукологический университет (Литва)

### СОВРЕМЕННАЯ ОРФОГРАФИЯ В ЗЕРКАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В статье рассматриваются активные процессы в русской орфографии на примере одной из сфер письменной коммуникации, язык которой наиболее ярко демонстрирует изменения, происходящие в современной жизни, — рекламном объявлении. Наблюдения, представленные в статье, касаются некоторых региональных особенностей письменной коммуникации, находящих отражение в рекламных объявлениях в русскоязычных газетах Литвы.

В условиях иноязычного окружения проблемы письменной речи многочисленны и разнообразны. Необходимость постоянно передавать в письменной форме совершенно иные, отсутствующие в исконной среде, реалии повседневной жизни приводит к созданию специфической письменной коммуникации на русском языке.

В ряду орфографических особенностей рассматриваемых объявлений наиболее очевидными являются следующие: 1) распространенные орфографические ошибки, связанные прежде всего с написанием иноязычных слов, обусловленных языковым взаимодействием; со слитным, дефисным и раздельным написанием сложных слов; с употреблением прописной и строчной букв; с написанием удвоенных согласных; 2) вариативность написания региональных названий, связанная с процессом их графико-орфографической адаптации; 3) непоследовательность различных сокращений, и прежде всего аббревиатур.

Рассмотренные написания, отличающиеся неунифицированностью и вариативностью, с одной стороны — проявление современных проблем в области русского письма, а с другой — проявление региональных особенностей, связанных с написанием иноязычных употреблений, обусловленных языковым взаимодействием. Соблюдение в сфере

рекламы норм литературного языка, в том числе и орфографических, крайне важно: рекламный дискурс, как известно, играет важную роль в формировании массового языкового сознания, активно воздействует на речевую практику и формирование культуры письменной речи.

*Ключевые слова:* орфография; орфографические ошибки; вариативность; региональные особенности; рекламное объявление.

*N. Avina*

### **The Modern Orthography in the Mirror of Advertisements: Regional Specific Features**

The article studies active processes in the Russian orthography in one of the areas of written communication, the language of which demonstrates changes occurring in the modern life most clearly — in the advertisements. Observations presented in the article concern some regional specific features of written communication which are embodied in the advertisements in the Russian newspapers of Lithuania.

In terms of foreign environment, the problems of the written language are numerous and manifold. The need for constant written transmission of realities of everyday life which are completely different and missing in the native environment leads to creation of a specific written communication in Russian.

Among the spelling features of the advertisements considered, the most obvious are the following: 1) common spelling errors associated primarily with writing of alien words due to linguistic interaction; fused, hyphenated and separate writing of compound words, the use of block and lowercase letters, writing of double consonants; 2) variability of writing of regional names related to the process of their graphic and orthographic adaptation; 3) inconsistency of acronyms, primarily that of abbreviations.

The spelling samples considered are notable for none-unitizing and variability, on the one hand, manifestation of contemporary problems in the field of Russian letters, on the other hand — manifestation of regional features associated with the writing of foreign language use due to linguistic interaction. Compliance of norms of literary language, including spelling ones in the field of advertising is very important: advertising discourse is known to play an important role in formation of the mass lingual consciousness; it is actively working on speech practice and creating the culture of the written language.

*Keywords:* orthography; orthographical errors; variability; regional specific features; advisement.

## 1. Вводные замечания

Особенности современной орфографии обусловлены состоянием русского языка в новейший период. Современная языковая ситуация, связанная с социальными и другими изменениями, влияет на функционирование русского письма, его эволюцию, отношение к нему социума. Многие исследователи отмечают общую раскованность языка, которая проявляется в вольном обращении с правилами. При этом «орфографические и пунктуационные предписания теряют свою безапелляционную обязательность» [11: с. 208]. Актуальность изучения активных процессов в области русского письма, таким образом, становится очевидной.

Активные процессы в современном русском письме находят яркое отражение в рекламе. Каждый из нас ежедневно сталкивается с большим количеством рекламных текстов. «Реклама пронизывает все наше жизненное пространство — она окружает нас на улицах, в транспорте, в рабочих и жилых помещениях, звучит на радио, в кино, в метро, в телевизионных клипах, неонами горит в вечернем небе, печатается даже в сборниках лирики... Недооценивать ее роль невозможно», — пишет В.Г. Костомаров [12: с. 212]. Реклама не только постоянно меняется сама, но меняется и ее язык. Упрощается, например, язык рекламного объявления, активизируются однотипные краткие синтаксические конструкции и т. д. [15].

В нашей работе особенности русской орфографии исследуются на материале объявлений в русскоязычных СМИ в Литве в период последнего десятилетия. В статье анализируются объявления, представленные в газетах «Литовский курьер» (принятое в данной статье сокращение — ЛК), «Обзор» (Обз.), «Республика» (Р.), «Экспресс-неделя» (Эк.Н.), а также на интернет-сайте [www.delfi.ru](http://www.delfi.ru). Выбор объявлений в качестве исследовательского материала обусловлен тем, что в ряду других жанров письменной речи объявления ярко отражают изменения, которые происходят во всех сферах жизни общества, что соответственно проявляется и в активных процессах русской орфографии.

Объявления относятся к информационному жанру рекламных текстов. Существуют общие требования к рекламному сообщению

как в плане содержания — быть кратким, достоверным, понятным и т. п., так и в плане использования соответствующих языковых единиц, придающих письменному тексту (на русском или других языках) логичность, конкретность, ясность (см. об этом, например, [1; 20; 23; 24]). Рекламные объявления в русскоязычных газетах Литвы в целом соответствуют коммуникативным требованиям, в том числе и связанным с соблюдением правил русской орфографии. Это результат и большой, серьезной работы корректоров, работающих с объявлениями. Между тем в рекламных объявлениях отчетливо отражаются как активные процессы, происходящие в современном русском письме, так и региональные особенности, характерные для русского языка в ситуации этнокультурного взаимодействия.

## **2. Активные процессы в современной русской орфографии: проблемы изучения**

Как известно, на рубеже XX–XXI веков отмечаются значительные изменения в функционировании русского языка, когда норма-догмат, которая разрешала или категорически запрещала, сменяется нормой-выбором, которая допускает использование нескольких языковых средств, наиболее соответствующих данному речевому контексту (см. об этом, например, [21]). Несмотря на существующее мнение о том, что письмо как часть общей национальной культуры — одна из самых консервативных сфер языка, русская орфография является «зеркалом» кардинальных изменений в обществе и общественном сознании. Для русского правописания, «в целом безусловно сохранившего верность Своду 1956 г., также характерно освобождение от оков “орфографического режима”, и это выражается в не присущей периоду тотальных запретов орфографической свободе. Графико-орфографическое однообразие эпохи орфографического догмата сменилось орфографическим плюрализмом» [5: с. 229].

В ряду наиболее ярких явлений в сфере орфографии современного русского языка выделяются следующие (см., напри-

мер, [22]): 1) распространение орфографических ошибок в различного рода печатных изданиях, рекламных текстах в связи с отсутствием корректуры; 2) систематическое расхождение между рекомендациями правил и орфографической практикой в некоторых сложных случаях русской орфографии; 3) несистематическое использование буквы Ё в печатных текстах; 4) несформированность орфографической нормы и появление орфографической вариативности в заимствованных словах; 5) усиление личностного начала в языке, которое находит отражение в авторской орфографии; 6) стремление к свободе использования экспрессивных возможностей графики и орфографии для привлечения внимания читателей (в частности, в рекламных текстах) и др.

Исследователи замечают несоответствие орфографического узуса (реально встречающихся написаний) орфографической норме (исторически сложившейся системы единообразных написаний) и орфографической кодификации (закрепление лингвистами некоторого написания как нормативного), что вызывает большую обеспокоенность (например, [2]). Так, по мнению С.М. Кузьминой [13], процветающая безграмотность объясняется недостатком общей и речевой культуры носителей языка. Между тем орфография играет большую роль, обеспечивая взаимопонимание участников письменной коммуникации, и именно в орфографии крайне важна нормализаторская деятельность лингвистов. Ведь орфография — «саморазвивающаяся система, требующая регулярной и постоянной корректировки, упорядочения с учетом и развития самого языка, и существующей практики письма, в котором тоже происходят спонтанные изменения»; «отслеживать эти изменения, фиксировать их в орфографических словарях и в тексте правил правописания — прямая обязанность специалистов» [14: с. 162]. В частности, полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» [18] является попыткой осуществить это. Следует отметить, что «наметилось преодоление существующей в русском языке искусственной цепочки “словарь – словарь – словарь”, когда вновь издавшиеся словари ориентировались только на орфографию

словаря предшествующего и абсолютно не учитывали того нового, что накопилось в орфографической практике: она постепенно сменяется естественной цепочкой “язык – словарь – язык...”» [5: с. 243]. При этом «явление (слово) извлекается из живого языка, оттуда попадает в словарь, чтобы в “ограниченном” виде вернуться опять в язык...» [9: с. 204]. Важно, что в современной русистике отмечается стремление поставить орфографию в ряд с другими областями языкознания, «вывести вопросы правописания из области периферии в центр научного внимания, нарушить традицию “игнорирования” орфографии как науки...» [5: с. 244].

Особой спецификой характеризуется русская орфография в ситуации иноязычного окружения. Особенности письменной русской речи — ее функционирование, а также конкретные проблемы транслитерации, влияние произношения на написание, явление «двойной грамотности» (употребление двух или более языков на письме), влияние иноязычной графики на русскую графику и т. д. — подробно рассматриваются исследователями русского языка эмиграции [8; 19; 7; и др.].

В частности, Е.А. Земская [8] пишет, что русский язык в среде эмиграции нередко существует в устной форме и обычно используется как язык семейного или дружеского общения; письменная же форма языка угасает. В использовании / неиспользовании письменной формы важную роль играют такие факторы, как волны эмиграции, уровень образования коммуникантов, возраст [8]. Так, «молодежь уже не тоскует по старой орфографии, но и не знает современной. Она ее модифицирует и упрощает» [8: с. 160].

Рассматривая особенности письменной речи русских в Финляндии, Е. Протасова замечает, что «часть ошибок смыкается с детскими, часть с просторечными, а некоторые отражают недостаточный опыт чтения и письма именно на русском языке» [19: с. 232]. Кроме того, «при овладении русским языком как родным в условиях иноязычной среды наряду с ошибками, обычными при овладении нормами письма <...>, возможны и такие, которые вызваны недостатком письменного русского инпута (введения наглядно написанных текстов) и преобладанием иной куль-

турной традиции в окружении» [19: с. 224]. Но «порог смущения или переживания собственных ошибок у живущих за границей ниже, чем в России: человек обычно понимает, что отсутствие постоянной практики чтения и письма на родном языке приводит к изменениям в речи, и это служит ему извинением» [19: с. 232].

Подчеркивая важную роль письма в русском языке зарубежья, А. Зеленин отмечает, что «орфография — один из базовых компонентов культурного пространства, дающих индивиду ощущение социальной и психологической стабильности и чувство языкового комфорта» [7: с. 26].

Проблемы письменной речи, связанные с интерференцией и другими процессами в русском языке в условиях иноязычного окружения, многочисленны и разнообразны. Следует согласиться с тем, что «вопрос о нормах литературного языка в условиях иноязычия — это исследование тех его изменений и трансформаций, которые формируются в новых социальных условиях» [4: с. 380]. Рассматривая отношение живущих за границей носителей русского языка к языковой норме и к разным функционально-речевым разновидностям современного русского языка, Л. Найдич пишет: «Здесь можно отметить две противоположные тенденции: с одной стороны, жители диаспоры ориентируются на язык метрополии, включая и его обиходно-разговорные пласты; с другой — можно отметить развитие "местных" вариантов языка. Эта вторая тенденция связана с социокультурными особенностями жизни русскоязычной диаспоры» [16: с. 389]. Необходимость же постоянно передавать в письменной форме разнообразные и совершенно иные, отсутствующие в исконной среде, реалии повседневной жизни приводит к созданию специфической письменной коммуникации на русском языке.

### **3. Некоторые орфографические особенности анализируемых объявлений**

В ряду рассматриваемых орфографических особенностей наиболее очевидными являются следующие: распространенные

орфографические ошибки, вариативность написания региональных названий, непоследовательность сокращений.

### 3.1. Орфографические ошибки

Одно из проявлений противоборства орфографической нормы и практики письма заключается «в последовательном несоблюдении правил грамотными людьми»; «когда ошибка становится массовой, она перестает быть ошибкой, и тогда приходится констатировать победу узуса над нормой, а следовательно, признать необходимость пересмотра и уточнения правописной нормы» [13: с. 399–400]. Это относится прежде всего к орфографии новых слов; слитных, дефисных и отдельных написаний сложных слов; употреблению прописной и строчной букв; написанию удвоенных согласных; написанию Э / Е в словах иноязычного происхождения и др. (см., например, [5]). Подобные написания широко распространены и в рассматриваемых рекламных объявлениях. Приведем лишь некоторые примеры.

Часто ошибки связаны с написанием сложных и составных наименований, включающих иноязычный компонент (см. об этом, например, [3; 6]). Как отмечает С.М. Кузьмина, «правило слитно-дефисного написания сложных прилагательных можно назвать самым бездействующим из действующих правил русского правописания. Его бездействие проявляется, с одной стороны, в расхождении между рекомендациями правил и орфографической практикой (то есть в несоблюдении правил), а с другой стороны, в разноречивости рекомендаций разных словарей и пособий» [13: с. 400]. Количество сложных существительных и прилагательных с высокопродуктивными иноязычными морфемами *аудио-*, *авиа-*, *видео-*, *фото-*, *супер-* и т. п. резко увеличивается в русском языке новейшего периода. По правилам русской орфографии написание подобных сложных слов слитное. Однако на практике очевидна активизация иного написания, в частности: 1) дефисного — *Аудио-видео-бытовая техника* (Эк.Н. 2001. № 50); *Видео-услуги. Видео-монтаж, слайд-шоу, запись на DVD* (Эк.Н. 2009. № 32); 2) отдельного — *Клуб «Лаздинай» приглашает молодежь 25 февраля и ежедневно на дис-*



котеку, которую ведет **супер ди-джей** (ЛК. 2003. № 9); **Фотовидео услуги на свадьбах и других торжествах** (ЛК. 2009. № 32); 3) без всякого дефиса при наличии союза **и** — **Авиа и автобусные билеты** (ЛК. 2009. № 30); **Профессиональная видеосъемка. ...Перезапись видео и киноплёнки. Недорого** (Эк.Н. 2010. № 14).

Отмечается также ошибочное дефисное написание сложных слов с соединительной гласной **о**; вероятно, использование дефиса способствует как графическому, так и семантическому выделению отдельных частей слова: **Звуко-светотехника для профессионалов** (ЛК. 2001. № 5); **Круглосуточный русско-язычный детский сад приглашает детей в возрасте 1,5–6 лет** (Эк.Н. 2003. № 3). В ряде случаев дефисное выделение — способ создания экспрессивности, оценочности: **Супер-скидки** (Эк.Н. 2001. № 44).

Наряду с правильным дефисным написанием составных слов в Интернете широко распространено их раздельное написание. Ср., например, производные от слова **вечеринка**: **приват-вечеринка** и **приват вечеринка**, **диско-вечеринка** и **диско вечеринка**, **караоке вечеринка** и **караоке-вечеринка** ([www.delfi.ru](http://www.delfi.ru)). Вызывает также интерес написание следующего составного наименования: **Вечеринка-музыкальная рок-лаборатория “Liverpool 31” с диджеями и исполнителями...** (Эк.Н. 2010. № 15).

Неунифицированным является написание сложных однокоренных слов; ср. написание топонима **Ново-Вильня** (лит. Naujoji Vilnia) и производного от него прилагательного: **Роллеты-жалюзи. Дешевле не бывает! Ново-Вильня...** (Эк.Н. 2014. № 1) и **Ветераны Нововильнянской организации** (ЛК. 2014. № 1).

В ряду других орфографических ошибок в объявлениях выделяем: 1) написание **НН** вместо **Н** в суффиксах прилагательных — **Сушеная морская капуста «Ламинария»** (Эк.Н. 2001. № 44); 2) употребление прописной буквы в составных наименованиях; ср. в одной и той же газете (Эк.Н. 2011. № 43) — **Дом печати** и ошибочное написание **Дом Печати**; 3) смешение **и** – **й** — **...Есть сауна, бассейн** (ЛК. 2009. № 30); **Отдых самолетом. Тайланд** (Эк.Н. 2014. № 1); 4) обусловленное интерференцией ошибочное написание гласных, не проверяемых ударением: **Туризм, отдых:**

*Иордания + Египет + Израель; Болгария – Румыния* (ЛК. 2012. № 28) (ср. лит. *Izraelis; Rumunija*).

«Скорее всего, ошибки против русского языка не отражаются на экономическом эффекте рекламы — увы!» — пишет Е.С. Кара-Мурза [10: с. 182]. Однако ошибочные написания не только вызывают определенное раздражение, но и усугубляют проблемы культуры речи, языкового чутья потребителей рекламы, и составителям рекламы это важно иметь в виду.

### 3.2. Вариативность написания литовских названий

В ряду региональных особенностей привлекают внимание написания иноязычных слов, обусловленные языковым взаимодействием. Как известно, адаптация слова в принимающем языке во всех ее аспектах — процесс диахронический и тип написания слова в узусе в процессе адаптации может неоднократно меняться. Употреблению иноязычных слов в письменной форме русского языка свойственна орфографическая нестабильность, выражающаяся в одновременном функционировании на письме вариантов слов; понятие же орфографической нормы в области неологии размывается (см., например, [17; и др.]). Каждый язык, как известно, выступая в качестве реципиента, вырабатывает свои приемы и способы адаптации иноязычного лексического материала, в том числе и графико-орфографические.

В нашем материале сложность процесса графико-орфографической адаптации литовских слов (преимущественно топонимов) отражает фонематические варианты, которые отличаются произношением и соответственно написанием букв или их сочетаний: 1) написание *е – я* на месте литовского гласного *е* — *Ремонтируем и покупаем мини-тракторы. Продаем запчасти к ним..., г. Нямянчине...* (ЛК. 2009. № 30); *В г. Неменчине продаются два участка домовладений* (ЛК. 2009. № 30); 2) написание *йо – е* — при передаче литовского сочетания *jo* — *Меняю 1-комнатную квартиру в районе Фабийонишкес на 3-комнатную; Сдают 1-комнатную квартиру в Фабиенишкес* (Эк.Н. 2009. № 29); 3) написание гласных *а – я* после согласного *ч* — *Сдают 1-комнатную квартиру,*

ул. Станявичяус (Эк.Н. 2009. № 29); Ломбард. Ул. Станявичяус (ЛК. 2009. № 30).

Передача на письме специфики местного произношения непарных твердых звуков **ж, ш, ц** приводит к появлению ошибочных сочетаний, например, **жя, шя, цю**: *Сейфовые двери из рук производителя. Вильнюс, ул. Жямайтес; Ново-Вильня, ул. Шяурес; Приглашаю жєницин на занятия по йоге. Ул. Мацюлявичяус* (Эк.Н. 2014. № 2).

### 3.3. Вариативность написания сокращений

Для текстов такого жанра, как объявление, типичны разнообразные сокращения, которые отличаются вариативностью. Прежде всего это касается: 1) написания аббревиатур, например, **торговый центр**: «Огмиос центрас» напротив **Т.Ц.** «Норфа» (Эк.Н. 2007. № 18); **Т.ц.** «Максима», **Т.ц.** «Ики» (Эк.Н. 2010. № 12); **ТЦ** «SENUKAI» (Эк.Н. 2010. № 15); *Продается 3-комнатная квартира в Фабийонишкес (возле т.ц. «Мандаринас»)* (Эк.Н. 2011. № 44); **ТРЦ** «Akropolis» (Эк.Н. 2011. № 43); используется также соответствующая литовская аббревиатура **РС** «prekybos centras»: *Межкомнатные двери со склада и на заказ. Адреса магазинов: РС «Birbiškių»* (Эк.Н. 2012. № 30); 2) написания на русском языке слов, включающих имя числительное: Ул. Биржяле **23-осес** (Обз. 2011. № 44); Ул. Биржяле-**23осиос** (Эк.Н. 2011. № 48) и Ул. Биржяле **23-осиос** (Эк.Н. 2014. № 1).

## 4. Заключительные замечания

Таким образом, рассмотренные написания, отличающиеся неунифицированностью и вариативностью, характерные для анализируемых объявлений, с одной стороны, — проявление современных проблем в области русского письма, с другой стороны — проявление региональных особенностей, связанных с написанием иноязычных употреблений, обусловленных языковым взаимодействием. Непоследовательность написания региональных названий обычно не вызывает у билингов в данной социокуль-

турной среде серьезных коммуникативных помех, касающихся неадекватного восприятия и понимания объявления, но создает определенные культурно-речевые проблемы, приводящие, возможно, к расшатыванию норм литературного языка. Соблюдение в сфере рекламы норм литературного языка, в том числе и орфографических, крайне важно: рекламный дискурс, как известно, играет значительную роль в формировании массового языкового сознания, активно воздействует на речевую практику и формирование культуры письменной речи.

### *Литература*

1. *Баженова Е.А., Протопова О.В.* Язык и стиль рекламы // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожинной; члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. 2-е изд., испр. и доп. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 635–642.
2. *Бешенкова Е.В.* Орфографическая вариативность в узусе, норме и кодификации // Вопросы культуры речи / Отв. ред. А.Д. Шмелев. Вып. XI. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 77–88.
3. *Бужчина Б.З.* О написании сложных прилагательных // Словарь и культура русской речи. К столетию со дня рождения С.И. Ожегова. М.: Индрик, 2001. С. 59–72.
4. *Грановская Л.М.* Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. Очерки / Науч. ред. А.Н. Воротников. М.: Элпис, 2005. 448 с.
5. *Григорьева Т.* Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.). М.: Элпис, 2004. 456 с.
6. *Еськова Н.А.* Слитное и дефисное написание существительных и цельнооформленных слов // Русистика сегодня. 1995. № 1. С. 37–49.
7. *Зеленин А.* Язык русской эмигрантской прессы (1919–1939). СПб.: Златоуст, 2007. 380 с.
8. *Земская Е.А.* Общие языковые процессы и индивидуальные речевые портреты // Язык русского зарубежья. Москва; Вена, 2001. С. 19–277.
9. *Калакуцкая Л.П.* Русский литературный язык в конце второго тысячелетия // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1995. С. 197–208.
10. *Кара-Мурза Е.С.* «Дивный новый мир» российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты // Сло-

варь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С.И. Ожегова. М.: Индрик, 2001. С. 164–186.

11. *Костомаров В.Г.* Языковой вкус эпохи. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 248 с.

12. *Костомаров В.Г.* Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. М.: Гайдарики, 2005. 287 с.

13. *Кузьмина С.М.* Активные процессы в области русского письма // Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / Отв. ред. Л.П. Крысин. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 399–412.

14. *Лопатин В.В.* Упорядочение орфографических правил: итоги и перспективы // Вопросы культуры речи / Отв. ред. А.Д. Шмелев. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011. С. 155–165.

15. *Миронова А.А.* «Многоуважаемые мои покупатели...» // Русская речь. 2013. № 1. С. 100–104.

16. *Найдич Л.* Норма и речевые регистры в русском языке за рубежом // Русский язык сегодня: сб. ст. / Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Вып. 4: Проблемы языковой нормы. М., 2006. С. 383–395.

17. *Нечаева И.В.* Актуальные проблемы письменной адаптации иноязычных заимствований: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008. 30 с.

18. Правила русской орфографии и пунктуации: Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. М.: Эксмо, 2006. 480 с.

19. *Протасова Е.Ю.* Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб.: Златоуст, 2004. 308 с.

20. Рекламный дискурс и рекламный текст: коллективная монография / Науч. ред. Т.В. Колокольцева. М.: Флинта: Наука, 2011. 296 с.

21. Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М.: Языки славянских культур, 2008. 712 с.

22. *Юдина Н.В.* Русский язык в XXI веке: кризис? эволюция? прогресс? М.: Гнозис, 2010. 293 с.

23. *Janeliauskas E.* Reklaminis skelbimas: komunikacija ir efektyvumas: Mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. 44 p.

24. *Župerka K.* Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 142 p.

### References

1. *Bazhenova E.A., Protopopova O.V.* Yazyk i stil' reklamy' // Stilisticheskij e'nciklopedicheskij slovar' russkogo yazy'ka / Pod red. M.N. Ko-

zhinoy; chleny' redkollegii: E.A. Bazhenova, M.P. Kotyurova, A.P. Skovorodnikov. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Flinta: Nauka, 2003. S. 635–642.

2. *Beshenkova E.V.* Orfograficheskaya variativnost' v uzuse, norme i kodifikacii // *Voprosy' kul'tury' rechi / Otv. red. A.D. Shmelev. Vy'p. XI. M.: Yazy'ki slavyanskoy kul'tury'*, 2012. S. 77–88.

3. *Bukchina B.Z.* O napisanii slozhny'x prilagatel'ny'x // *Slovar' i kul'tura russkoj rechi. K stoletiyu so dnya rozhdeniya S.I. Ozhegova. M.: Indrik, 2001. S. 59–72.*

4. *Granovskaya L.M.* Russkij literaturny'j yazy'k v koncze XIX i XX vv. Ocherki / Nauch. red. A.N. Vorotnikov. M.: E'lpis, 2005. 448 s.

5. *Grigor'eva T.* Tri veka russkoj orfografii (XVIII–XX vv.). M.: E'lpis, 2004. 456 s.

6. *Es'kova N.A.* Slitnoe i defisnoe napisanie sushhestvitel'ny'x i cel'nooformlenny'x slov // *Rusistika segodnya. 1995. № 1. S. 37–49.*

7. *Zelenin A.* Yazy'k russkoj e'migrantskoj pressy' (1919–1939). SPb.: Zlatoust, 2007. 380 s.

8. *Zemskaya E.A.* Obshhie yazy'kovy'e processy' i individual'ny'e rechevy'e portrety' // *Yazy'k russkogo zarubezh'ya. M.; Vena, 2001. S. 19–277.*

9. *Kalakuczskaya L.P.* Russkij literaturny'j yazy'k v konce vtorogo ty'syacheletiya // *Filologicheskij sbornik (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.V. Vinogradova). M.: In-t russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN, 1995. S. 197–208.*

10. *Kara-Murza E.S.* «Divny'j novy'j mir» rossijskoj reklamy': socio-kul'turny'e, stilisticheskie i kul'turno-rechevy'e aspekty' // *Slovar' i kul'tura russkoj rechi. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya S.I. Ozhegova. M.: Indrik, 2001. S. 164–186.*

11. *Kostomarov V.G.* Yazy'kovoju vkus e'poxi. M.: Pedagogika-Press, 1994. 248 s.

12. *Kostomarov V.G.* Nash yazy'k v dejstvii: Ocherki sovremennoj russkoj stilistiki. M.: Gardariki, 2005. 287 s.

13. *Kuz'mina S.M.* Aktivny'e processy' v oblasti russkogo pis'ma // *Sovremenny'j russkij yazy'k. Aktivny'e processy' na rubezhe XX–XXI vekov / Otv. red. L.P. Kry'sin. M.: Yazy'ki slavyanskix kul'tur, 2008. S. 399–412.*

14. *Lopatin V.V.* Uporyadochenie orfograficheskix pravil: itogi i perspektivy' // *Voprosy' kul'tury' rechi / Otv. red. A.D. Shmelev. M.: AST-PRESS KNIGA, 2011. S. 155–165.*

15. *Mironova A.A.* «Mnogouvazhaemy'e moi pokupateli...» // *Russkaya rech'*. 2013. № 1. S. 100–104.
16. *Najdich L.* Norma i rechevy'e registry' v russkom yazy'ke za rubezhom // *Russkij yazyk segodnya: sb. st.* / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. Vy'p. 4: Problemy' yazy'kovoj normy'. M., 2006. S. 383–395.
17. *Nechaeva I.V.* Aktual'ny'e problemy' pis'mennoj adaptacii inoyazy'chny'x zaimstvovanij: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2008. 30 s.
18. *Pravila russkoj orfografii i punktuacii: Polny'j akademicheskij spravochnik* / Pod red. V.V. Lopatina. M.: E'ksmo, 2006. 480 c.
19. *Protasova E.Yu.* Fennorossy': zhizn' i upotreblenie yazy'ka. SPb.: Zlataoust, 2004. 308 s.
20. *Reklamny'j diskurs i reklamny'j tekst: kollektivnaya monografiya* / Nauch. red. T.V. Kolokol'ceva. M.: Flinta: Nauka, 2011. 296 s.
21. *Sovremenny'j russkij yazy'k: Aktivny'e processy' na rubezhe XX–XXI vekov* / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M.: Yazy'ki slavyanskix kul'tur, 2008. 712 c.
22. *Yudina N.V.* Russkij yazy'k v XXI veke: krizis? e'volyuciya? progress? M.: Gnozis, 2010. 293 s.
23. *Janeliauskas E.* Reklaminis skelbimas: komunikacija ir efektyvumas: Mokomoji knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. 44 p.
24. *Župerka K.* Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 142 p.



*А.В. Алексеев*

Московский городской педагогический университет (Россия)

## КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЛОВА *ТРУД* В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье рассмотрено понятие культурной значимости слова на материале истории слова *труд*. Культурная значимость определяется соотношением слова с другими культурными знаками и формируется в процессе символического семиозиса слова. К языковым механизмам формирования культурной значимости относятся внутренняя форма слова, явление лексической (семантической) диффузности, двойная референция лексического знака в контексте. В результате исследования установлено, что культурная коннотация слова *труд* является различной для разных исторических периодов. Праславянская культурная коннотация слова *труд* определяется прежде всего внутренней формой слова. Эта культурная коннотация отождествляет феномены духовной и социальной жизни человека и физические ощущения; деятельность человека осознается через соотнесение с телесными восприятиями. Внутренняя форма слова *труд* образуется сопоставлением первоначального признака «жать, давить» с широким синкретичным значением «то, что мешает, всякая трудность вообще, в том числе в области физической, духовной, социальной жизни». Данное синкретичное значение дифференцируется в письменную эпоху в древнерусском языке. В результате формируется одиннадцать самостоятельных значений: «усилия», «деятельность, работа», «результаты труда», «старание, рвение», «забота», «беспокойство», «монашеский подвиг», «страдание», «горестное чувство», «боль», «болезнь». Культурная коннотация в наибольшей степени сопровождает значение «монашеский подвиг». Это связано с широким распространением в древнерусской культуре православно-аскетического учения. Монашеский подвиг — это духовное развитие человека, для которого необходимо преодоление страстей. Такое преодоление достигается тяжелым физическим трудом, физическим страданием, преодолением телесных неудобств и лишений. Подобная коннотация создается использованием в контексте семантических маркеров различных типов.

*Ключевые слова:* древнерусский язык; символическое значение; лексическая диффузность; культурная значимость слова.



A. Alekseev

### The Cultural Significance of the Word “Trud” in History of Russian Language

The article deals with the cultural significance on the material of the history of the word *trud*. The cultural significance is determined by the ratio of the word with other cultural signs and formed in the process of symbolic semiosis words. Language mechanisms of formation of cultural significance are the internal form of a word, the lexical (semantic) diffusely, dual reference lexical character in context. The cultural connotation of the word *trud* is different for different historical periods. Proto-Slavic cultural connotation of the word *trud* is primarily determined by the internal form of a word. This connotation identifies the life and physical sensations; human activity is realized via correlation with physical perceptions. The internal form of the word *trud* is formed by comparing the initial sign «to press» with a wide syncretic value «what is stopping, any difficulty, phenomena of physical, spiritual and social life». This syncretic is differentiated in written era in the old Russian language. The result is eleven independent values: «effort», «activity, work», «performance», «diligence, zeal», «care», «anxiety», «monastic work», «suffering», «sad feeling», «pain», «disease». Cultural connotation accompanies the value «monastic work». This is due to the wide spread in the ancient culture of the Orthodox ascetical exercises. Monastic exploit is spiritual development of the person to whom it is necessary to overcome the passions. Such overcoming is achieved heavy physical labor, physical suffering, overcome bodily discomfort and hardship. This cultural connotation is created by use in the context of the semantic markers of various types.

*Keywords:* old Russian language; symbolic; lexical diffusion; the cultural significance of a word.

Культурная значимость слова определяется его участием в общекультурном семиозисе. Лексическая система языка должна при этом рассматриваться как одна из подсистем поликодовой семиотической системы данной культуры. Слово может выражать те или иные культурные смыслы в их конкретно-историческом проявлении, экспликация подобных смыслов требует определенных условий. Прежде всего означаемым слова оказывается не любой денотат (референт), а такой объект внеязыковой действительности, который выполняет наряду с утилитарной также и знаковую функцию. То есть слово должно

обозначать какой-либо предмет ритуализованной человеческой деятельности (артефакт). Под артефактами мы понимаем не только искусственно созданные материальные объекты, но также элементы поведения, события, ситуации.

Слово обладает культурной значимостью в том случае, если оно участвует в семиозисе в качестве символа, то есть такого знака, который обладает дополнительным содержанием, является знаком знака. В соответствии с распространенной научной традицией, к символам должны быть отнесены такие элементы коммуникации, которые «денотируют некоторое содержание, коннотирующее, в свою очередь, значения, принадлежащие иным смысловым уровням» [7: с. 131]. То, что слово, являющееся символом, обозначает не столько денотат, сколько иной смысл, подтверждается рассуждениями В.В. Колесова о месте символа в структуре концептуального квадрата. В.В. Колесов утверждает, что «символ культуры как источник мифа» обладает референтом, но при этом характеризуется отсутствием денотата [2: с. 53].

Символические свойства слова, позволяющие эксплицировать культурную значимость, присутствуют в нем на протяжении всей его истории, на всех этапах семантического развития. Слово предстает как символ в том случае, если его означаемое структурно неоднородно, то есть состоит из основного и дополнительного смыслов, которые сами, в свою очередь, могут быть представлены как означающее и означаемое. Такие свойства могут реализовываться в виде различных языковых феноменов (механизмов). Мы рассматриваем среди подобных механизмов внутреннюю форму слова, семантическую диффузность лексического значения и двойную референцию лексической единицы в контексте. Культурная значимость слова, выраженная этими средствами, меняется в исторической перспективе, накапливается с течением времени и должна анализироваться дифференцированно по отношению к различным этапам развития языка и культуры. Рассмотрим указанные семантические явления на материале существительного *труд* (*трудоу*).

Данное слово являлось непроемным в праславянском языке и восходит к праиндоевропейской форме, которая может быть восстановлена как *\*treud* (:troud). Этот корень, по данным сло-

варей, обладал значением «мять, жать, давить, щемить» [6: Т. 2, с. 266]. Подобная реконструкция семантики подтверждается индоевропейскими родственными словами, которые встречаются в др.-в.-нем. *(bi)driozan* «притеснять, затруднять», ср.-в.нем. *drōz* «тяжелая ноша, досада, трудность»; др.-исл. *traut* «трудная задача, затруднение, тяжелое испытание», во мн. ч. «боли».

Следовательно, мы можем восстановить следующий первоначальный (мотивирующий) семантический признак, положенный в основу номинации при возникновении праславянского существительного *\*trudъ*: «то, что давит, жмет». Этот признак был соотнесен с чрезвычайно широким, синкретичным лексическим значением: «то, что мешает, всякая трудность вообще, в том числе в области физической, духовной, социальной жизни». Этим соотнесением определяется символическая структура внутренней формы: *\*trudъ* => «то, что давит, жмет» (означаемое по отношению к фонетической форме и означающее по отношению к дальнейшему смыслу, то есть вторичному означаемому) => «всякая трудность» (вторичное означаемое, недифференцированное лексическое значение).

Надо полагать, что уже в общеславянский период началась дифференциация исходного синкретичного значения, происходившая по нескольким направлениям. С одной стороны, «всякая трудность вообще» была переосмыслена как «трудность или сложность осуществления хозяйственной деятельности». С другой стороны, в исходном значении был выделен аспект физического страдания. Оба направления семантического развития подтверждаются данными славянских языков, хотя первое — в большей степени, причем современные значения отражают произошедший метонимический перенос: «трудность осуществления деятельности» => «усилие в ее преодолении». Ср. в современных языках: болг. *труд* «работа»; с.-хорв. *trūd* «работа, усилие»; словен. *trud*, чеш. *trud* «тяжелая работа», «усилие», «напряжение», «затруднение», «прыщ, угорь» (<«боль»); польск. *trud* «работа», «беспокойство», «утомление, усталость» (последнее значение сформировалось на стыке двух направлений: «усталость» = «ощущение, вызванное значительными усилиями» + «слабая степень физического страдания»).

Следует предположить, что в праславянский период культурная значимость слова *\*trudъ* определялась следующим образом (в соответствии с внутренней формой слова): различные феномены человеческой жизни соотносились с непосредственным физическим ощущением, т. е. давлением, тяжестью. К числу обозначаемых феноменов должны быть отнесены эмоциональные состояния человека (чувства, ощущения, переживания), его деятельность по преобразованию окружающего мира, конкретные поступки, связанные с преодолением тех или иных сложностей, трудностей, а также качества человека (старание, рвение), необходимые для совершения подобных поступков. Все эти феномены осмыслились посредством физического ощущения, чувственного восприятия, что соответствует особенностям праславянской культуры, основанной на мифе, определяемой мифологическим типом мышления. Данные особенности подробно описаны А.Ф. Лосевым, который отмечал, что в условиях первобытного, мифологического мышления основой мира признается «не что иное, как только чувственно-материальная вещь» [3: с. 262].

В древнерусский период первоначальный, этимологический признак перестал противопоставляться лексическому значению, был включен в его структуру и переосмыслен: *трудоу* => «тяжесть физическая или духовная, трудность, сложность, то, что мешает, преодолевается, и само это преодоление». Символическая структура означаемого была утрачена, то есть внутренняя форма перестала быть актуальной, перестала осознаваться. Общеславянское лексическое значение было синкретичным, что находит свое отражение в богатой полисемии древнерусского слова: по лексикографическим данным, существительное *трудоу* обладало в XI–XIV веках минимум одиннадцатью значениями: «усилия», «деятельность, работа», «результаты труда», «старание, рвение», «забота», «беспокойство», «монашеский подвиг», «страдание», «горестное чувство», «боль», «болезнь» — ср. [5: Т. III, с. 1008].

Попытаемся выявить семантическую производность каждого из значений по отношению к исходной синкрете. В описании мы сохраняем по отношению к большинству значений толкования И.И. Срезневского, кроме тех случаев, когда мы посчитали нужным их уточнить. Например, вместо отдельных значений «труд, работа» и «дея-

тельность» мы, учитывая выделяемые семантические признаки, указываем единое значение «работа, деятельность»; вместо толкования «трудность» мы употребляем более, на наш взгляд, точное толкование «усилия». В скобках предлагается более подробная дефиниция, раскрывающая прямую или опосредованную связь конкретного значения с общеславянской синкретичной семантикой. Реальность соответствующих значений подтверждаем примерами из наиболее ранних, по возможности, памятников письменности.

«Усилия» («качество человека, необходимое для преодоления трудностей, сложностей»): *И земельное бес труда добро не творить ся*. Изб. 1076 г. 75 об.

«Старание, рвение» («постоянство усилий»): *Чаи отъ Господа милости за трудъ твоего дѣла*. Киев.-Печ. пат. 212.

«Деятельность, работа» (непрерывное старание, направленное на достижение определенной цели): *Онъ бо (Богъ) и отъ не соуштлихъ и отъ соуштлихъ творить бес труда и без врѣмене, человекъ же и труда и врѣмене и вѣщи трѣбоуетъ*. Изб. 1073 г. 131. Срезн.

«Результаты труда» (в итоге метонимического переноса, трансформации предыдущего значения: «деятельность» => «результат деятельности»): *И самъ въсхотѣ рукама книги пиша и свои трудъ руководѣльнии вънося ученикомъ*. Выгол. сб., 82 об. — 83.

«Страдание» («физические неудобства, лишения, мучения, связанные с преодолением трудностей»): *Ты вѣси вьсь трудъ, дошедшь до ны*. Числ. XX. 14. Сбор. Волог. XV в. Срезн.

«Боль» (конкретизация значения «страдание»: физическое неудобство осознается как острое телесное ощущение, имеющее определенную локализацию): *Злая жена, акы трудъ въ лядвеяхъ*. Слово о Ирод., XIV в. Срезн.

«Болезнь» («продолжительная боль, осознанная как имеющая свою причину в нарушении физического здоровья»): *Человекъ нѣкъи, имьи водьны трудъ, бѣ прѣдъ нимъ*. Остр. ев. Срезн.

Семантический признак «мучение» был выявлен как в области физических ощущений, так и в области душевных переживаний, в результате в исходной синкрете был выделен семантический комплекс «душевное страдание», который может быть интерпрети-

рован следующим образом: «внутреннее, психологическое, а не соматическое переживание трудности». Данный семантический комплекс в словаре И.И. Срезневского представлен в виде более конкретных лексических значений: «беспокойство», «забота», «горестное чувство (скорбь, горе)». Рассмотрим семантическую интерпретацию данных значений и примеры их реализации.

«Беспокойство» (незначительное душевное страдание, чаще обусловленное событием, проявляющимся в условной модальности; отсутствие душевного покоя): *Нъ зане творить ми трудоу въдовица си, да мьшоу ея, да не до коньца приходящи застоить мене.* Остр. ев. Срезн.

«Забота» (беспокойство, сопровождающееся необходимостью предпринять ряд действий для поддержания желаемого порядка вещей): *И здѣ бо не остави Богъ трудоу митрополича без памяти быти.* Лавр. лет. 157 об. 6738 г.

«Горестное чувство» (более интенсивное переживание, душевное страдание, обусловленное реально произошедшими событиями): *Яко и ны плача и непрѣстаньнаго трудоу избави.* Ефр. корм., XI в. Срезн.

При реализации всех перечисленных значений слово *трудоу* редко выступало в качестве символа, исключение составляют лишь случаи диффузного употребления, которые будут рассмотрены ниже. Древнерусская культурная значимость слова *трудоу* в наибольшей степени связана с реализацией лексического значения «монашеский подвиг». Данное значение встречается прежде всего в церковной литературе: *И запрѣщая же никако же расслабѣти, нъ крѣпѣ быти на вься трудоу чьрьньчьскыя, и тако пакы по вься дѣни прѣбывааше, братию оуча и оутѣшая.* Усп. сб., 55в.

«Монашеский подвиг» — одно из ключевых понятий православно-аскетического учения, в соответствии с которым достижению человеком духовного совершенства препятствует так называемое страстное состояние души, чрезмерная увлеченность земными вещами, устремленность к материальной жизни. Поэтому духовное восхождение происходит посредством преодоления земных трудностей, то есть через телесное, физическое страдание — через *трудоу*.

Таким образом, монашеский подвиг — это тяжелая ежедневная работа, физические усилия, неудобства, страдания, необходимые для спасения души. Данное значение может быть названо символическим, поскольку оно определяется регулярно воспроизводимой в контексте двойной референцией. Структура значения «монашеский подвиг» может быть представлена следующим образом: *трудъ* => «тяжелая физическая деятельность (физическое страдание)» => «освобождение от греха (от греховных страстей)». При употреблении слова в данном значении одновременной актуальностью характеризуются оба аспекта ситуации — физический и духовный. На физическом уровне *трудник* выполняет определенную работу, требующую телесного напряжения, претерпевает физические неудобства и мучения. На духовном уровне он побеждает свои страсти, очищает душу для духовного восхождения, приближения к Господу. Указанная культурная значимость была настолько важна для древнерусского языкового сознания, что символическое значение стало мотивирующим при возникновении новой номинации, обозначения человека, совершающего монашеский подвиг, — *трудоуникъ*. К концу древнерусской эпохи на базе этого слова сформировалось особое, четко определяемое понятие: *Говоря о монашествующих: подвизающийся в тяжких трудах, дабы, чрез изнурение тела своего противустать стремлению страстей* [4: Т. 6, с. 296].

Двойная референция при реализации значения «монашеский подвиг» подтверждается присутствием в контексте не менее двух различных маркеров — актуализаторов лексического значения. В качестве таких маркеров могут выступать однородные члены, главные и зависимые слова, как связанные с самим словом *трудъ*, так и наблюдаемые в параллельных синтаксических конструкциях. Маркерами могут быть присутствующие в контексте синонимы слова *трудъ*, номинации действий и признаков, связанных с понятием монашеского подвига.

Рассмотрим конкретные примеры, относящиеся как к собственно древнерусскому языку, так и к русской письменной традиции XV–XVII веков.

*И оттолѣ подаяше ся на трудоу телесьныя, и бѣдыше по вся ноци въ славословлении божии.* Усп. сб, 31 в. В приведенном при-



мере из Успенского сборника маркером семантического аспекта «физическое страдание» является прилагательное *телесныя*, в то время как маркер духовного аспекта символического значения — словосочетание *въ славословлении божии*.

*По сихъ моученици крѣвьми своими омыша сквърноу, а настольници святыихъ апостоль, цесаря крѣщѣемъ многомъ подвигомъ и троудомъ поганьство раздроуишиа.* Усп. сб., 103 г. Здесь интересующий нас смысл выражается парным сочетанием синонимов — *подвигомъ и троудомъ*: это распространенное семантическое средство древнерусского языка. Маркером физического аспекта ситуации должна считаться словоформа *крѣвьми*, а на духовные результаты физического страдания указывает словосочетание *поганьство раздроуишиа*.

*Сии показа въсѣмъ <...> моучьньчьское натрыжнение и стратотърьпныхъ троуды и рищющихъ скоростъ.* Усп. сб., 206 г. Здесь маркерами являются словоформы *моучьньчьское* (физический аспект) и *стратотърьпныхъ* (духовный аспект). Ср. толкование слова *стратотерпецъ*, указывающее на семантический признак «стремление к Богу»: *мученикъ, пострадавший за Христа* [4: Т. V, с. 846].

*Аще убо ураню тя жезлом и умучю тебе... аще труды тебѣ поведу многы и великы и подвигы нанесу ти, яко да постражешии...* Разг. души и плоти, 72, сп. к. XIV – нач. XV в. В данном контексте глаголы *ураню* и *умучю* соотносят ситуацию с физическим страданием, а синоним исследуемого слова, *подвигъ*, указывает на духовные цели такого страдания.

*Ноци же наставши, мнѣ ему обычное правило изглаголавишу. Всю же ону ноць безъ сна препроводи въ велицѣ трудѣ, мало сѣдааше, а множае стояше.* Рассказ о смерти Пафн., 498, XV в. В данном контексте маркер духовного аспекта — *правило*, термин из области молитвословия. Указание на физические неудобства обеспечивается обстоятельством *безъ сна*. Аналогичным образом двойная референция подтверждается и в следующем примере: *Стефанъ из глубины душевныя моление принося и ото многого труда мало въздрѣмаша.* Рус. хронограф, 380, XVI в. Маркеры здесь — слово *моление*, указы-



вающее на духовный аспект действий трудника, и словосочетание *мало въздрѣмая*, указывающее на физические лишения.

Значение «монашеский подвиг» сохраняло свою актуальность до тех пор, пока параметры русской культуры в достаточной степени определялись христианским православно-аскетическим учением. Значение «монашеский подвиг» сделалось редким уже к концу XVII века: оно удерживалось только в традиционных контекстах; в живом же языке, вероятно, практически исчезло. Ср. употребление слова в контексте, связанном с описанием молитвенных трудов как наиболее типичной формы реализации монашеского подвига: *И царь беспрестанно на молитвѣ, и жена ево, царица Ирина, в трудѣх и в посту чуть жива ходит*. Сказ. о царе Вас., 442. В XVIII веке данное значение перестало быть актуальным для формирующегося нового литературного языка: на него, в частности, нет указаний в Словаре Академии Российской. Таким образом, осмысление тяжелой работы, физических лишений как средств для спасения души составляло культурную значимость слова *трудъ* именно в древнерусскую эпоху.

Остальные указанные выше значения слова *трудъ* могли выражать культурную значимость лишь в достаточно редких случаях проявления семантической (лексической) диффузности. Вероятно, в древнерусском языке лексическая диффузность отражает следы более архаичной семантики слова, является рефлексом общеславянского синкретизма. Ср. употребление, в котором диффузно совмещены все смысловые аспекты, связанные с душевным страданием, с одной стороны, и указание на жизненные, земные трудности, с другой: *Дондеже оузърить Бога съ веселиемъ, то тѣгда въ тѣ часъ забодеть доуша вьсякъ троудъ свои*. Изборник 1076 г., 245. Здесь мы можем наблюдать архаичную культурную значимость, связанную с отождествлением эмоций и негативных событий: несчастье являлось знаком душевного страдания. Реализуемая символическая структура выглядит следующим образом: *троудъ* => «жизненные трудности, лишения» => «душевное страдание». На распространенность подобных нерасчлененных значений в архаичных текстах указывает,

в частности, Н.Ю. Гвоздецкая: «Печаль воспринималась как “интериоризованная беда”, то есть объективное событие, перенесенное в эмоциональную сферу, “вовнутрь” человека» [1: с. 141].

Другим примером лексической диффузности является достаточно темный контекст в «Слове о полку Игореве»: *Чьрпахуть ми синее вино съ трудомъ смѣшено*. Сл. о плк. Иг., 96. В древнерусском языке слово *трудоу* входило в один синонимический ряд с существительными *печаль*, *скорбу* и т. п. У этих слов могло совпадать не только одно значение, а два или даже больше. В частности, *трудоу*, *печаль*, *скорбу* одинаково были способны обозначать «горестное чувство», «физическое страдание», «заболевание, недуг», «заботу». Такая широкая общность значений возникала в результате семантического притяжения слов, близких по смыслу и употребляемых в похожих контекстах. Можно предположить, что в древнерусском поэтическом тексте происходило семантическое притяжение слов *трудоу* и *горесть*, у которых изначально пересекались значения «жизненные трудности, лишения, страдания» (архаичное синкретичное значение для слова *трудоу*) и «горестное чувство». В результате слово *трудоу* могло приобретать значение «горечь», характерное для слова *горесть*. Следовательно, культурная значимость, реализуемая словом *трудоу* в данном контексте, может быть интерпретирована следующим образом: *трудоу* => «горький вкус в вине» => «душевное страдание князя, ощущение беды». Подобное отождествление относится к тому же типу архаичной культурной значимости мифологического происхождения, что и культурная значимость ряда контекстов, рассмотренных выше.

В период после XVII века семантическая структура слова *трудоу* во многом изменилась: произошла утрата большинства значений, центральными сделались значения, связанные с обозначением деятельности, работы. Эти изменения соотносимы с преобразованием культурной значимости слова, которое началось еще в старорусский период. *Трудоу* как постоянные усилия, направленные на духовное развитие, превратился в конечном счете в *трудоу* как непрерывную деятельность, направленную на достижение определенной материальной цели. Особенно активно культур-

ная значимость слова *труд*, связанная со значением «производство материальных продуктов», пополнялась в XX веке, однако этот процесс, несомненно, требует отдельного рассмотрения.

### *Литература*

1. *Гвоздецкая Н.Ю.* К проблеме выделения «имен чувств» в языке древнегерманского эпоса (на материале «Беовульфа» и «Старшей Эдды») // *Логический анализ языка: Культурные концепты.* М.: Наука, 1991. С. 138–142.
2. *Колесов В.В.* Философия русского слова. СПб.: Юна, 2002. 444 с.
3. *Лосев А.Ф.* Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 479 с.
4. *Словарь академии Российской:* в 6 т. СПб.: Издание Императорской Академии наук, 1789–1794.
5. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древне-русского языка: в 3 т. СПб.: Издание Императорской Академии наук, 1903–1912.
6. *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Русский язык, 1993.
7. *Чертов Л.Ф.* Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1993. 378 с.

### *References*

1. *Gvozdeczkaya N.Yu.* K probleme vy'deleniya «imen chuvstv» v yazy'ke drevnegermanskogo e'posa (na materiale «Beovul'fa» i «Starshej E'ddy'») // *Logicheskij analiz yazy'ka: Kul'turny'e koncepty'.* M.: Nauka, 1991. S. 138–142.
2. *Kolesov V.V.* Filosofiya russkogo slova. SPb.: Yuna, 2002. 444 s.
3. *Losev A.F.* Znak. Simvol. Mif: Trudy' po yazy'koznaniyu. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. 479 s.
4. *Slovar' akademii Rossijskoj:* v 6 t. SPb.: Izdanie Imperatorskoj Akademii nauk", 1789–1794.
5. *Sreznevskij I.I.* Materialy' dlya slovarya drevne-russkago yazy'ka: v 3 t. SPb.: Izdanie Imperatorskoj Akademii nauk", 1903–1912.
6. *Cherny'x P.Ya.* Istoriko-e'timologicheskij slovar' sovremennogo russkogo yazy'ka: v 2 t. M.: Russkij yazy'k, 1993.
7. *Chertov L.F.* Znakovost': opy't teoreticheskogo sinteza idej o znakovom sposobe informacionnoj svyazi. SPb.: Izd-vo SPb. un-ta, 1993. 378 s.

*Ж.В. Ганиев*

Московский городской педагогический университет (Россия)

## НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ОРФОЭПИИ

Академический «Большой орфоэпический словарь русского языка» (БОС) 2012 года можно приравнять по значимости к публикациям Академического толкового словаря или Академической грамматики. БОС в качестве предшественников имеет три орфоэпических словаря под редакцией Р.И. Аванесова и десятки исследовательских публикаций по орфоэпии, включая труды самих соавторов БОС. В результате авторами БОС создан концептуально новый Словарь, в каждой статье которого представлено кодифицированное вариативное произношение и (где необходимо) вариативное словесное ударение. Кроме того, в Словаре имеется ряд запретительных помет — так выполняется превентивная (предупредительная) функция. Этот огромный труд — последовательное «наполнение» понятия об орфоэпии, предложенное М.В. Пановым в 1970–1980-е годы. Подробное сравнение обнаруживает принципиальное отличие БОС от орфоэпических словарей 1950–1960-х годов и от Орфоэпического словаря русского языка 1983 года.

Вместе с тем среди специалистов и в широких кругах носителей литературного произношения в Москве, Санкт-Петербурге, в других университетских городах есть такие, кто не согласен с концепцией и словником (корпусом) БОС, а также частично с Орфоэпическими правилами Л.Л. Касаткина. Автор статьи предлагает возможности совершенствования такого типа словаря, как БОС, в котором в значительной мере учитывались бы идеи Л.В. Щербы, С.С. Высотского о вариативности в пределах фонотекста. Это означает расширение понятия фонетических позиций с уровня фразовых до дискурсивных. Кроме того, необходимо по единой методике исследовать и рассмотреть (с точки зрения их возможной кодификации) региональные варианты произношения в университетских городах, в которых эти варианты обслуживают государственные (официальные) отношения граждан, сферу образования, культурные потребности, электронные СМИ и т. д. В этом случае понятия «новый этап развития», а также вариативность литературного произношения получают другое, обновленное наполнение.

*Ключевые слова:* «Большой орфоэпический словарь» Каленчук, Касаткина, Касаткиной; кодифицированные произносительные варианты; расширение понятия «фонетическая позиция».

*Zh. Ganiev*

### **New Stage of the Development of Russian Orthoepy**

Academic “Large pronouncing dictionary of the Russian” (BOS) can be compared in importance to academic publications of explanatory dictionary or academic grammar. BOS as precursors has three pronouncing dictionary edited by R.I. Avanesov and dozens research orthoepyc publications including works themselves coauthors of BOS. As a result, the authors created BOS conceptually new dictionary, each article is presented codified variants the pronunciation and (where necessary) variants the word stress. In addition, there are number of prohibitive Dictionary litter — so does the preventive (warning) function. This huge work is consistent “filling” concept of orthoepy proposed by M.V. Panov in 1970–1980s. A detailed comparison reveals a fundamental difference BOS from pronouncing dictionaries 1950–1960-ies and from Russian orthoepic dictionary 1983.

However, specialists and wide native of literary pronunciation in Moscow, St.Petersburg, other university towns there are those who disagree with the concept and vocabularies of BOS, and partly with L.L. Kasatkin’s Pronouncing rules. Journalist nominated a principal possibility of improvement this type of dictionary as BOS, which largely takes into account the L.V. Scherba’s, L.L. Vysotsky’s ideas of variability within phonotext. This means expanding the notion of phonetic position from phrasal level to discursive. We also need a unified methodology to explore and consider (in terms of their possible codification) regional pronunciations in university towns in which these options serve the state (official) attitude of citizens, education, cultural needs, electronic media, etc. In this case, the concept of a “new stage of development”, as well as the variability of literary pronunciation obtained another, updated content.

*Keywords:* “Big pronouncing dictionary” by Kalenchuk, Kasatkin, Kasatkina; codified pronunciation variants; expansion of notion phonetic position.

Новым этапом в развитии русской орфоэпии является выход в свет долгожданного «Большого орфоэпического словаря русского языка» М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина, Р.Ф. Касаткиной (в дальнейшем БОС). Известнейший филолог Т.М. Николаева пишет о предыстории этого события: «Словарь этот готовился в течение пятнадцати лет, и работа над ним не была для авторов неожиданной: в течение многих лет они были в тесном научном контакте с такими столпами нашей фонетической мысли, как Р.И. Аванесов, А.А. Реформатский, М.В. Панов,

С.С. Высотский» [16: с. 144]. О подготовке Словаря к изданию и об ожиданиях научной и педагогической общественности можно узнать из работ 2009 и 2010 годов [3: с. 169; 14]. Но определенная часть участников фонетико-орфоэпической конференции 2010 года (под эгидой ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН) выразила протест против заявления руководителя авторского коллектива БОС: «К орфоэпии следует относить лишь такие произносительные нормы и место ударения в слове, которые допускают вариантность в литературном языке» [13: с. 67]. Стало понятно, что протестующие не согласны с орфоэпической концепцией М.В. Панова 1979, 1981 годов и с тем, чего добивался Л.В. Щерба с начала XX века вплоть до опубликованных после его кончины трудов — раздела «Фонетика» в академической «Грамматике русского языка» и «Теории русского письма» [18: с. 99–114; 20: с. 195–206; 27: с. 49–100; 26]. Причина неприятия, если говорить коротко, такова: наши ведущие ученые внушали филологам нескольких поколений, что «только один тип произношения признается законным, все остальные бракуются» [19: с. 294]. В ходе анализа БОС мы вернемся еще к пониманию вариантности (или вариативности, оба слова в данной работе синонимичны) в контексте других проблем, неразрывно связанных с кодификацией русского произношения.

В отличие от правил русской орфоэпии, изложенных в академических, учебных и справочных изданиях (самое первое из которых, справочное, на немецком языке, принадлежащее перу В.Е. Адодурова, вышло в 1731 году), собственно орфоэпические словари имеют сравнительно короткую историю. Ниже мы их сравним с БОС, а сейчас поясним, что означает выражение «собственно орфоэпические словари». Это словарные издания узконаправленного характера, посвященные произносительному речевому уровню, а не постатейный сопровождающий орфоэпический комментарий в толковых словарях. Постатейные комментарии (и вступительные статьи о правилах русского нормативного произношения) содержались в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова (т. I–IV, 1935–1940) и в многократно переиздававшемся однотомном толковом «Сло-

варе русского языка» С.И. Ожегова (1-е изд. в 1949 году). Собственно орфоэпический словарь русского языка впервые вышел в 1955 году под редакцией Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова и назывался «опытом словаря-справочника» [21]. Через некоторое время стало понятно, почему руководители авторского коллектива словаря внесли в подзаголовок слово *опыт*. На следующий год после публикации Словаря 1955 года Сектор культуры речи Института языкознания АН СССР (заведующий С.И. Ожегов) разослал «Вопросник по произношению, ударению и грамматическим формам современного русского литературного языка». Результаты такого опроса среди учителей, работников вузов, студентов, всех, «кто заинтересован в упорядочении русской литературной речи» [1: с. 3], были учтены при составлении следующего словаря-справочника — «Русское литературное произношение и ударение» 1959 года (стереотипное издание в 1960 году). После этого в течение двадцати лет Р.И. Аванесов, руководя обновленным авторским коллективом, создавал новый расширенный «Орфоэпический словарь русского языка» (1983).

Почему в орфоэпических словарях 1955 и 1959 годов настойчиво повторялась мысль, что «наличие колебаний (вариантов) часто нарушает правильность речи», что в словаре «только в некоторых случаях даются варианты произношения и ударения отдельных слов и форм» [21: с. 4]? (Приблизительно то же сказано: [22: с. 4].) В Вопроснике 1956 года С.И. Ожегов написал: «Общество всегда стремится <...> к выбору какого-нибудь одного из существующих вариантов и к рекомендации его как правильного» [1: с. 2]. Здесь ясно просматривается желание орфоэпистов отделить кодифицированное произношение от широко распространенного тогда диалектного и просторечного произношения, которое угрожало русской общепринятой речи. Это было результатом массовой миграции русскоязычного населения в 1920–1930-е годы, появления в качестве руководителей десятков тысяч «выдвиженцев» из малообразованных слоев (последствия социальных «лифтов»), обязанных, в соответствии со своими должностями, пользоваться публичной речью.



К началу 1980-х годов отношение к феномену вариативности (как к отклонению от нормы в русском произношении) изменилось, культура произношения в обществе поднялась под воздействием нескольких факторов: улучшение и распространение образования, литературная речь в кино и театре, на радио и телевидении, причем везде действовали центростремительные силы, то есть образцом была московская речь. Элемент вариативности стал привноситься в кодифицированную речь. Орфоэпический словарь 1983 года «ставит целью представить литературную норму во всем многообразии ее проявлений», потому что «скольнибудь адекватное отражение реального положения вещей невозможно без введения некоторой шкалы нормативности». Система нормативных помет в Словаре 1983 года была такова: *равноправные варианты*; *допустимо*, то есть менее желательный вариант, а также *устаревающий вариант*, который к началу 1980-х годов стал лишь допустим, а в прошлом он был основным [17: с. 5–6]. С 1950-х годов до выхода в свет БОС во всех трех словарях (1955, 1959 и 1983 годов) отсутствовали стилистические варианты и соответствующие пометы, хотя в пособии Р.И. Аванесова «Русское литературное произношение», послужившем основой для указанных трех орфоэпических словарей, имелся отдельный параграф, посвященный разным стилям произношения.

Для московских орфоэпистов БОС стал рубежной работой; взгляды на вариантность в нормированном произношении в Москве и Санкт-Петербурге всегда были неодинаковыми, первым о вариантности в общепринятом произношении заговорил еще в 1905 году Л.В. Щерба, оформивший свою концепцию в 1912 году под влиянием своих европейских учителей (см. [3: с. 155–170]). В БОС, по сравнению с Орфоэпическим словарем 1983 года, значительно расширен перечень факторов, влияющих на эту вариативность. Л.Л. Касаткин, автор Орфоэпических правил и руководитель авторского коллектива БОС, среди социально значимых вариантов произношения указывает «общенародную и профессиональную сферу», «мужскую и женскую речь», «территориальные разновидности литературного языка», особенности высокого стиля (в отли-



чие от нейтрального), варианты в беглой речи (их указывают чаще других вариантов в Правилах и в корпусе Словаря), компрессивы, которые появляются не только в слабых, но и в сильных фразовых позициях (типа *ванще, када, пийсят* и т. д. вместо «полных» вариантов *ваанще, кагда, пид'исят*; фонетическая запись упрощена, как и у авторов Словаря). В БОС, в частности в Орфоэпических правилах, широко представлены младшие варианты произношения, об их конкуренции с общепринятой и старшей нормами сказано: «Новое произношение постепенно вытесняет старое, но на определенном этапе развития литературного языка обе нормы сосуществуют» (см. [12: с. 938–939]). Не исключено, что на выделение этих младших вариантов в БОС могла повлиять концепция Л.В. Щербы, высказанная им в 1928 и 1936 годах при анализе трудов Д.Н. Ушакова [24; 25]. Д.Н. Ушаков, осознавая особенности молодежного произношения, вместе с тем считал, что «учитывать нарождающиеся отступления и вводить их в канон было бы своеволием» [23: с. 10].

«Орфоэпические правила» в БОС невероятно насыщены, в сотнях приводимых фонетических позиций фигурируют десятки тысяч примеров. Правила состоят из шести разделов, где отслеживается новейшая история произношения, его современное состояние и ближайшее будущее. О многих трудностях выбора и кодификации произношения в Словаре говорила известная специалистка по орфоэпии, соавтор БОС М.Л. Каленчук [11]. Практически со всеми предписаниями «Орфоэпических правил» и корпуса Словаря, в котором более 80 000 слов, т. е. на четверть больше, чем в Орфоэпическом словаре под редакцией Р.И. Авансова, читатели согласятся. Возражения коснутся не более 3–4 % слов по темам «твердость – мягкость согласных перед мягкими», «долгие и нормально краткие согласные», «упрощение групп согласных», которые в Правилах помещены в общий раздел «Согласные», возражения (несогласия) могут коснуться также разделов «Произношение заимствованных слов» и «Ударение». Что касается первых четырех тем, несогласие в них может возникать в связи с «крайними» случаями в рубрикации Л.Л. Касаткина, например, «только твердые» или «только мягкие» при на-

личии / отсутствии регрессивной ассимиляции согласных перед мягкими согласными (случаи типа *вчера, скорбь, роспись* и т. д.) или при произношении согласных перед *е* в иноязычных заимствованиях (*дедукция* и т. д.). «Крайними» случаями в двух других темах являются «только долгие» или «только краткие согласные» (в случаях типа *брatца, процесса* и т. д.), а также «произносится / не произносится согласный между согласными» (*голландцы, сердчишко* и т. д.). Что касается раздела «Ударение», то в орфоэпическом словаре напрашивается другое решение, чем это предложено в Правилах (кстати, таким же образом решена эта тема и в разделе «Орфоэпия» учебных пособий Л.Л. Касаткина). Думается, читатель Словаря и Правил нуждается не в изложении части морфонологии, то есть систем подвижного / неподвижного ударения в словоформах как массового явления (что интересно, например, для РКИ, РКН), а в перечне из двух-трех сотен слов и их форм, в которых даже носители нормативного произношения могут ошибиться (они зачастую считают, что выбор правильного словесного ударения, в том числе в формах слов, актуальнее, чем проблемы собственно произношения). Трудные случаи ударения в орфоэпии, как и, например, перечень фонетических позиций, носителям языка надо просто заучить.

Словари 1983-го и 2012-го годов написаны на основе московского городского говора, и в этом их неизбежная ограниченность (напомним начало статьи, где написано о «тесном научном контакте» авторов БОС со столпами именно московской фонетической мысли). БОС отражает столичную речь — такую, как она сложилась к началу XXI века, плюс определенные кодифицированные черты говора петербуржцев. Могут спросить: а почему в БОС не отражены особенности других городских региональных говоров, которые в качестве вариантов литературного языка бытуют на местном телевидении, на сценических площадках, обслуживают сферу образования, государственные институты — выборные и исполнительные органы, суды и т. д.? Многочисленные исследования местных городских стандартов Урала, Сибири, Северо-Запада Европейской части страны опубликованы в сбор-

никах научных работ, в различных кандидатских диссертациях. Не проходя мимо современных дезинтеграционных процессов, надо бы объединить усилия фонетистов университетских городов и провести в этих городах исчерпывающие исследования с единой методологической базой. Об этом на основе конкретных предложений уже сказано немало (см. [2: с. 299–347, 397–432; 4; 6; 7; 11] и др.). Только после завершения такой работы можно будет отразить в будущем орфоэпическом словаре русского языка региональные варианты нормативного произношения. Не забудем прекрасный совет Г. Суита, предшественника Л.В. Щербы в изучении речевых вариантов: «Пока мы не знаем, как на самом деле мы говорим, мы не сможем ответить на вопрос, как мы должны говорить» (цит. по [3: с. 159]). Тогда подзаголовок БОС о *вариантах* нормы получит иное смысловое наполнение.

Огромным достижением Большого орфоэпического словаря, по сравнению со Словарем 1983 года, является инициированный Р.Ф. Касаткиной и М.Л. Каленчук выход за пределы фонетического слова в поисках фонетических позиций при реализации фонем в речи (см. [9; 10; 13; 14; 15]). Близкие к указанным поискам данные приводятся в [8: с. 136–145]. «Камнем преткновения» в определении состава орфоэпем (термин введен в БОС Л.Л. Касаткиным) является набор факторов, приводящий к вариативности в пределах нормативной речи. Столетней перманентной полемике вокруг детерминированных вариантов может положить конец только поиск истоков кодифицированной вариативности в процессах порождения речи, в расширении понятия фонетических позиций с уровня фразовых до дискурсивных. На последней (VII) международной научной конференции, созванной Институтом русского языка им. В.В. Виноградова (РАН) в 2013 году, выражалась надежда, что к 300-летию русской орфоэпии (2031) эта психолингвистическая проблема в нашем предмете может быть решена.

В течение нескольких предстоящих десятилетий орфоэпия также должна отойти от пословного описания: создается впечатление, что фонетическое слово может варьироваться под воз-

действием 4–5 пар факторов, часто внутрисловных. Посмотрите в лексические и грамматические кодификации, там единицы показаны в контексте, имеются огромные картотеки примеров (говоря откровенно, там по сегодняшним меркам контексты тоже заужены — это сложилось в лексико-грамматических описаниях исторически; теперь, с изменением понятия контекста употребления, картотеки, вероятно, придется составлять заново).

Что касается произношения, то его реализация и варьирование «складывается» в составных частях единицы коммуникации — фонотекста (или лучше дискурса). Нам надо знать, **кто** (социально-культурные характеристики) **где** (обстановка речи — обычная, непринужденная или официальная) **кому** (характеристика адресата/ов) направляет звучащий **дискурс**, **тематические особенности** этого дискурса, **его коммуникативную направленность**, **стилистическую окраску частей дискурса** (нейтральная, высокая, сниженная), **композицию** плюс **прагматическую** характеристику (степень освоенности; в этом значении употребляет термин Л.Л. Касаткин [12: с. 995]) целой синтагмы (а не только слова). Учет этих факторов при порождении и восприятии дискурса с нормативно-произносительной точки зрения и создаст будущую орфоэпию (см. подробнее [5]). Это осознали европейские предшественники Л.В. Щербы П. Пасси и Г. Суит [3: с. 155–165]. Пока ни один язык не может похвалиться таким словарем, но к этому нужно стремиться — поколение за поколением. Написать лексические, фразеологические словари, академическую грамматику «технически» легче и менее трудоемко, поскольку характеристики текста «под руками».

### *Литература*

1. Вопросник по произношению, ударению и грамматическим формам современного русского литературного языка / Институт языкознания АН СССР. М., 1956. 32 с.

2. *Ганиев Ж.В.* Вариативность в русском произношении: перманентная борьба вокруг нормы (прошлое, современность): дис. ... д-ра филол. наук. М.: МГПУ, 2009. 432 с.

3. *Ганиев Ж.В.* Неизменный принцип русской орфоэпии. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2009. 240 с.

4. *Ганиев Ж.В.* Необходимый тип эксперимента в развитии современной орфоэпии // Вестник МГПУ. Серия «Филологическое образование». 2009. № 1 (2). С. 19–27.

5. *Ганиев Ж.В.* Об адекватном описании русского нормативного произношения (в соответствии с учением акад. Л.В. Щербы) // Вопросы языкознания. 2008. № 3. С. 121–128.

6. *Ганиев Ж.В.* О проведении орфоэпического эксперимента // Фонетика сегодня: мат-лы, доклады и сообщения VI Междунар. научной конф. / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2010. С. 38–40.

7. *Ганиев Ж.В.* Программа орфоэпического эксперимента / Под ред. Е.Ф. Кирова. М.: МГПУ, 2010. 28 с.

8. *Ганиев Ж.В.* Русский язык: Фонетика и орфоэпия. М.: Высшая школа, 1990. 174 с.

9. *Каленчук М.Л.* О позиционном подходе к описанию произносительных явлений // Фонетика сегодня: мат-лы, доклады и сообщения V Междунар. научной конф. / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2007. С. 90–92.

10. *Каленчук М.Л.* О расширении понятия «позиция» // Фортуна-товский сборник. М.: Наука, 2000. С. 27–32.

11. *Каленчук М.Л.* «Большой орфоэпический словарь русского языка»: Размышления после выхода из печати // Фонетика сегодня: мат-лы, доклады и сообщения VII Междунар. научной конф. / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2013. С. 33–36.

12. *Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф.* Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 1008 с.

13. *Касаткин Л.Л.* Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Фонетика сегодня: мат-лы, доклады и сообщения VI Междунар. научной конф. / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2010. С. 67–70.

14. *Касаткина Р.Ф.* Компрессированные формы слов и фразовые позиции в русской речи // Фонетика сегодня: мат-лы, доклады и сообщения V Междунар. научной конф. / Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН. М., 2007. С. 99–103.

15. *Касаткина Р.Ф.* О фразовых условиях фонетической вариативности гласных // Язык: Система и подсистемы: к 70-летию М.В. Панова / Филологический фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 1990. С. 31–43.

16. Николаева Т.М. Рецензия на: *Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф.* Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты // Вопросы языкознания. 2013. № 4. С. 144–148.

17. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М.: Русский язык, 1983. 704 с.

18. [Панов М.В.] Орфоэпия // Современный русский язык / Под ред. В.А. Белошапковой. М.: Высшая школа, 1981. С. 99–114.

19. Панов М.В. Русская фонетика. М.: Просвещение, 1967. 440 с.

20. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М.: Высшая школа, 1979. 256 с.

21. Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника / Под ред. Р.И. Аванесова, С.И. Ожегова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац-ных словарей, 1955. 580 с.

22. Русское литературное произношение и ударение: словарь-справочник / Под ред. Р.И. Аванесова, С.И. Ожегова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац-ных словарей, 1959 (стереотип. изд. 1960 г.). 709 с.

23. Ушаков Д.Н. К вопросу о правильном произношении [1936] // Вопросы культуры речи. [Вып.] V. М.: Наука, 1964. С. 8–16.

24. Щерба Л.В. К вопросу о русской орфоэпии [1928] // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 141–143.

25. Щерба Л.В. О нормах образцового русского произношения [1936] // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 110–112.

26. Щерба Л.В. Теория русского письма. Л.: Наука, 1983. 93 с.

27. [Щерба Л.В., Матусевич М.И.] Фонетика // Грамматика русского языка: в 2 т. Т. I: Фонетика и морфология. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 720 с. (стереотип. изд. 1953 г.). С. 49–100.

### References

1. Voprosnik po proiznosheniyu, udareniyu i grammaticheskim formam sovremennogo russkogo literaturnogo yazy'ka / Institut yazy'koznaniya AN SSSR. M., 1956. 32 s.

2. Ganiev Zh.V. Variativnost' v russkom proiznoshenii: permanentnaya bor'ba vokrug normy' (proshloe, sovremennost'): dis. ... d-ra filol. nauk. M.: MGPU, 2009. 432 s.

3. Ganiev Zh.V. Neizmennyy'j princip russkoj orfoe'pii. M.: KD «LIB-ROKOM», 2009. 240 s.

4. *Ganiev Zh.V.* Neobxodimy'j tip e'ksperimenta v razvitii sovremennoj orfoe'pii // Vestnik MGPU. Seriya «Filologicheskoe obrazovanie». 2009. № 1 (2). S. 19–27.

5. *Ganiev Zh.V.* Ob adekvatnom opisanii russkogo normativnogo proiznosheniya (v sootvetstvii s ucheniem akad. L.V. Shherby') // Voprosy' yazy'koznaniya. 2008. № 3. S. 121–128.

6. *Ganiev Zh.V.* O provedenii orfoe'picheskogo e'ksperimenta // Fonetika segodnya: mat-ly', doklady' i soobshheniya VI Mezhdunar. nauchnoj konf. / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M., 2010. S. 38–40.

7. *Ganiev Zh.V.* Programma orfoe'picheskogo e'ksperimenta / Pod red. E.F. Kirova. M.: MGPU, 2010. 28 s.

8. *Ganiev Zh.V.* Russkij yazy'k: Fonetika i orfoe'piya. M.: Vysshaya shkola, 1990. 174 s.

9. *Kalenchuk M.L.* O pozicionnom podxode k opisaniyu proiznositel'ny'x yavlenij // Fonetika segodnya: mat-ly', doklady' i soobshheniya V Mezhdunar. nauchnoj konf. / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M., 2007. S. 90–92.

10. *Kalenchuk M.L.* O rasshirenii ponyatiya «poziciya» // Fortunatovskij sbornik. M.: Nauka, 2000. S. 27–32.

11. *Kalenchuk M.L.* «Bol'shoj orfoe'picheskij slovar' russkogo yazy'ka»: Razmy'shleniya posle vy'xoda iz pechati // Fonetika segodnya: mat-ly', doklady' i soobshheniya VII Mezhdunar. nauchnoj konf. / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M., 2013. S. 33–36.

12. *Kalenchuk M.L., Kasatkin L.L., Kasatkina R.F.* Bol'shoj orfoe'picheskij slovar' russkogo yazy'ka. Literaturnoe proiznoshenie i udarenie nachala XXI veka: norma i ee varianty'. M.: AST-PRESS KNIGA, 2012. 1008 s.

13. *Kasatkin L.L.* Orfoe'pema kak osnovnaya edinitsa orfoe'pii // Fonetika segodnya: mat-ly', doklady' i soobshheniya VI Mezhdunar. nauchnoj konf. / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M., 2010. S. 67–70.

14. *Kasatkina R.F.* Komprirovanny'e formy' slov i frazovy'e pozicii v russkoj rechi // Fonetika segodnya: mat-ly', doklady' i soobshheniya V Mezhdunar. nauchnoj konf. / Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN. M., 2007. S. 99–103.

15. *Kasatkina R.F.* O frazovy'x usloviyax foneticheskoy variativnosti glasny'x // Yazy'k: Sistema i podsistemy': k 70-letiyu M.V. Panova / Filologicheskij fak-t MGU im. M.V. Lomonosova. M., 1990. S. 31–43.



16. *Nikolaeva T.M.* Recenziya na: Kalenchuk M.L., Kasatkin L.L., Kasatkina R.F. Bol'shoj orfoe'picheskiy slovar' russkogo yazy'ka. Literaturnoe proiznoshenie i udarenie nachala XXI veka: norma i ee varianty' // Voprosy' yazy'koznaniya. 2013. № 4. S. 144–148.

17. Orfoe'picheskiy slovar' russkogo yazy'ka: Proiznoshenie, udarenie, grammaticheskie formy' / Pod red. R.I. Avanesova. M.: Russkij yazy'k, 1983. 704 s.

18. [*Panov M.V.*] Orfoe'piya // Sovremenny'j russkij yazy'k / Pod red. V.A. Beloshapkovoj. M.: Vy'sshaya shkola, 1981. S. 99–114.

19. *Panov M.V.* Russkaya fonetika. M.: Prosveshhenie, 1967. 440 s.

20. *Panov M.V.* Sovremenny'j russkij yazy'k. Fonetika. M.: Vy'sshaya shkola, 1979. 256 s.

21. Russkoe literaturnoe udarenie i proiznoshenie. Opy't slovarya-spravochnika / Pod red. R.I. Avanesova, S.I. Ozhegova. M.: Gos. izd-vo inostr. i nac-ny'x slovarej, 1955. 580 s.

22. Russkoe literaturnoe proiznoshenie i udarenie: slovar'-spravochnik / Pod red. R.I. Avanesova, S.I. Ozhegova. M.: Gos. izd-vo inostr. i nac-ny'x slovarej, 1959 (stereotip. izd. 1960 g.). 709 s.

23. *Ushakov D.N.* K voprosu o pravil'nom proiznoshenii [1936] // Voprosy' kul'tury' rechi. [Vy'p.] V. M.: Nauka, 1964. S. 8–16.

24. *Shherba L.V.* K voprosu o russkoj orfoe'pii [1928] // Shherba L.V. Izbranny'e raboty' po russkomu yazy'ku. M.: Uchpedgiz, 1957. S. 141–143.

25. *Shherba L.V.* O normax obrazczovogo russkogo proiznosheniya [1936] // Shherba L.V. Izbranny'e raboty' po russkomu yazy'ku. M.: Uchpedgiz, 1957. S. 110–112.

26. *Shherba L.V.* Teoriya russkogo pis'ma. L.: Nauka, 1983. 93 s.

27. [*Shherba L.V., Matusevich M.I.*] Fonetika // Grammatika russkogo yazy'ka: v 2 t. T. I: Fonetika i morfologiya. M.: Izd-vo AN SSSR, 1952. 720 s. (sterotip. izd. 1953 g.). S. 49–100.



# ГРАММАТИКА ЯЗЫКА И ТЕКСТА

*Н.А. Герасименко*

Московский государственный областной университет (Россия)

## ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В БИСУБСТАНТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье анализируется таксономическое значение как разновидность семантики характеристики, которая является типовым значением бисубстантивных предложений. Бисубстантивными предложениями мы называем двусоставные предложения русского языка, в которых предикативное ядро организовано двумя существительными (или их эквивалентами) при участии связки. Описывается специфика выражения признаков значений в бисубстантивном предложении, которая заключается в относительности приписываемого субъекту признака. Установлено, что семантика характеристики реализуется в бисубстантивных предложениях в виде следующих основных значений: собственно характеристика, таксономическое значение, релятивное характеризующее значение, локальное и темпоральное характеризующие значения.

Таксономическое значение рассматривается как классифицирующее и систематизирующее сложные объекты и явления, обычно имеющие иерархическую структуру. В основе таксономии лежит разграничение единичных объектов действительности и классов объектов. Принадлежность объекта действительности к тому или иному классу является неотъемлемым свойством этого объекта, присущим ему всегда. Постоянство приписываемого предикативного признака, качества, свойства объекта передается в языковой форме бисубстантивного предложения, преимущественно предназначенного для выражения постоянного, вневременного признака.

В статье отмечается, что в выражении таксономического значения в бисубстантивном предложении участвуют: 1) имена существительные с конкретно-предметным значением в функции субъекта и предиката высказывания; 2) связки с таксономическим значением и грамматизованные связки, допускающие таксономическое толкование; 3) дейктические компоненты; 4) особые синтаксические конструкции и др. В статье проанализированы названные средства выражения таксономического значения в бисубстантивном предложении. Установлено, что бисубстантивные предложения с таксономическим значением активно функционируют в книжных

стилях речи: научном и официально-деловом. Особенную роль выполняют бисубстантивные предложения в учебно-образовательном дискурсе, в котором они являются основной формой дефиниции.

*Ключевые слова:* бисубстантивные предложения; семантика характеристики; таксономическое значение; таксономические связки.

*N. Gerasimenko*

### **Taxonomical Value in the Bisubstantive Russian Sentences**

In the article taxonomical value as a kind of semantics of characterization which, is standard value the bisubstantive sentences of is analyzed. Bisubstantive sentences we call two-member sentences of Russian in which the predicative kernel is organized by two nouns (or their equivalents) with the participation of a sheaf. Specifics of expression the attribute of values in the bisubstantive sentences which consists in relativity of a sign attributed to the subject are described. It is established that semantics of characterization is realized in the bisubstantive sentences in the form of the following major importances: actually characterization, taxonomical value, relative characterizing value, local and temporal characterizing values.

Taxonomical value is considered as classifying and systematizing difficult objects and the phenomena which usually have hierarchical structure. At the heart of taxonomy differentiation of single objects of reality and classes of objects lies.

Belonging of object of reality to this or that class is the integral property of this object inherent in it always. Constancy of an attributed predicative sign, quality, property of object is transferred in a language form of the bisubstantive sentences which has been mainly intended for expression of a constant, timeless sign.

In article it is noted that in expression of taxonomical value in the bisubstantive sentences participate: 1) nouns with concrete and subject value as the subject and a statement predicate; 2) conjunctions with taxonomical value and the grammatized conjunctions allowing taxonomical interpretation; 3) deykliche components; 4) special syntactic designs, etc. In article the called means of expression of taxonomical value in the bisubstantive sentences are analysed. It is established that bisubstantive sentences with taxonomical value actively function in book styles of the speech: scientific and official. The special role is carried out by bisubstantive sentences in an educational and educational discourse in which they are the main form of a definition.

*Keywords:* bisubstantive sentences; semantics of characterization; taxonomical value; taxonomical conjunctions.

Бисубстантивные предложения (БП) — один из наиболее распространённых типов русского двусоставного предложения, который предназначен для отражения ментальной деятельности человека (см.: [3, 4, 5 и др.]). Особенности их семантики и функционирования определяются специфическим способом оформления предикативного ядра, которое представляет собой сочетание двух имен существительных в позиции подлежащего и в позиции сказуемого: *Петербург — это не только Триумфальные ворота с соборами и дворцами, это и дома, каменные и деревянные* (В. Шкловский); *Цыганка была в платке с блёстками* (Е. Садур); *Мне дело измена, мне имя — Марина, // Я бренная пена морская* (М. Цветаева). В качестве эквивалента имени существительного в позиции подлежащего и (реже) сказуемого могут оказаться местоимения или субстантивированные слова: *Я во гневе!* (И. Грекова); *Он — как и ты — глашатай Господа своего* (М. Цветаева); *Гувернёр — это тот, кто говорит по-французски* (Е. Садур). Важнейшим компонентом БП является связка, которая выполняет грамматические и семантические функции. С помощью связки выражаются предикативные значения предложения, форма связки указывает на согласование сказуемого с подлежащим (если это возможно). Связка выполняет посредническую функцию между главными членами предложения и обозначает образующиеся между ними отношения как предикативные (см.: [6]): *Капитан был хоть и обманщик, но не трус* (Б. Акунин); *Дед — немец из Цесиса, который прежде назывался Венден* (В. Шкловский); *Вы были дети и герои, // Вы всё могли!* (М. Цветаева). В БП связка выполняет еще квалифицирующую функцию — своим обобщенным значением она обозначает тип отношений, возникающих в предикативном ядре и в БП в целом. В этом случае разновидности типовых значений отождествления или характеристики, свойственные БП, реализуются через семантику сходства, изменения / становления, превращения и т. п.: *Особенно не любил он разговор о книгах: они ему напоминали школьные уроки литературы, где, с его точки зрения, был сплошной «пирамидон»* (И. Грекова); *Бытовой рассказ и политический спор становятся элементом литературы* (В. Шкловский); *Сквозняк обратился в дубравное*

дуновение (В. Набоков). Всё сказанное отличает БП от других типов неглагольных предложений русского языка и позволяет рассматривать их как самостоятельный тип двусоставного предложения [3].

Одним из типовых значений БП является семантика характеристики. Она формируется в БП с опорой на значение отождествления, так как в функции характеризующего предиката в этом типе предложений выступает имя существительное. Сочетание в предикативном ядре двух имен существительных образует грамматическую конструкцию тождества N-соп-N. Тождественные на грамматическом уровне части речи, вступая в предикативные отношения, реализуют значение отождествления, которое и становится базой для формирования характеризующей семантики. Особенности субстантивной характеристики заключаются в ее относительности. Приписываемый субъекту признак представлен в БП как совокупность признаков, обозначенная в грамматической форме предмета: *Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец* <...> (Л. Толстой) — игумен характеризуется как человек, обладающий признаками дворян, ученых, писателей и старцев. Сказанное определяет специфику БП, выражающих разнообразные характеризующие значения.

БП всех семантических разновидностей представляют собой логическое суждение: в них субъекту приписывается пассивный статический предикативный признак. Признаки, приписываемые субъекту в БП со значением характеристики, разнообразны, но объединяются общим свойством — субъект не создает этих признаков, он является их обладателем, носителем. Обычной формой выражения субъекта является имя существительное с конкретно-предметным значением в референтном употреблении. В позиции предиката существительные с конкретно-предметным значением употребляются нереферентно: *Варенька, дочь фарисея, еще гимназистка* (А. Чехов); *Господин мой юнкер, значит — еще не офицер* (Л. Толстой); *У него папаша — князь* (С. Довлатов). Семантика характеристики проявляется в БП в следующих основных видах значений: таксономическом; собственно характеристики;

релятивном характеризующем значении; локальном и темпоральном характеризующих значениях.

Таксономическое значение представляет собой одно из значений БП с семантикой характеристики. Термин *таксономический* заимствован лингвистикой из естественных наук и имеет значение 'классифицирующий и систематизирующий сложные объекты, обычно имеющие иерархическое строение' [7: Т. 4, с. 335]. В основе таксономии лежит различение единичных объектов действительности и классов объектов и установление между ними иерархических отношений. Важность названного разграничения для человека определяет и наличие в языке синтаксических конструкций, выражающих таксономические отношения.

В БП таксономические предикаты представлены обычно именами существительными с конкретно-предметным значением, для которых в целом предикатная функция не характерна. Однако в позиции сказуемого такие существительные обозначают не отдельный предмет, а класс предметов, обладающих определенными общими признаками. Именно обладание этими общими признаками позволяет установить место отдельного объекта действительности в системе других объектов. Важным признаком таксономического предиката является более широкий объем понятия по сравнению с понятием, представленным в субъекте. «Таксономический предикат обычно выражается существительными, значение которых не разлагается на ясно определяемые семантические компоненты. Часто речь идет о естественных (природных) классах, о которых говорящие имеют некоторое эмпирическое (образное) представление и располагают теми или иными энциклопедическими знаниями» [2: с. 10]: *Степняк — это степная птица* (В. Песков); *Член предложения — это компонент структурно-семантической организации предложения* (В. Бабайцева).

Принадлежность объекта действительности к тому или иному классу является неотъемлемым свойством этого объекта. Постоянство приписываемого предикативного признака, качества, свойства объекта передается в языковой форме БП, преимущественно предназначенного для выражения постоянного, вневременного призна-

ка. Таксономические отношения между объектами действительности — это отношения включения: значение конкретно-предметного существительного с более узким объемом, функционирующего в качестве субъекта БП, включается в содержание конкретного существительного, выступающего в функции предиката: *Водород, кислород — химические элементы, вода — химическое соединение* (К. Парменов «Книга для чтения по химии»); *Бактерии — это живые организмы* («Животные»: учебник для 7–8 кл.); *Определение, дополнение, обстоятельство — это второстепенные члены предложения* (Русский язык: пособие для поступающих в вузы). Однако соотношение логических объемов понятий не всегда определяется лексическим значением конкретных существительных. В соответствии с позицией, которую имя существительное занимает в синтаксическом строе предложения, это соотношение может меняться. Родовое название целого класса объектов в функции подлежащего может сужать свое значение, а видовое наименование может расширять объем заключенного в нем понятия в позиции сказуемого. Такому переосмыслению значений имен существительных способствует введение в высказывание дейктических элементов, определяющих референтное употребление имени класса: *Это животное, безусловно, корова* (В. Пьецух). Указательное местоимение *это* регулярно используется в позиции подлежащего в русском языке. Такое использование дейктических слов в нераспространенном БП способствует выражению таксономического значения, не осложненного другими оттенками: *Это подорожник* (М. Семенова); *Это колли* (Г. Щербатова). Указательное местоимение *это* выступает здесь в качестве эквивалента имени существительного, указывающего на конкретный предмет.

Наше исследование показало, что в выражении таксономического значения в БП участвуют: 1) имена существительные с конкретно-предметным значением в функции субъекта и предиката высказывания; 2) связки с таксономическим значением, а также грамматизованные связки, допускающие таксономическое толкование; 3) дейктические компоненты; 4) особые синтаксические конструкции: *один из + родительный падеж существительного*;

*главный из + родительный падеж существительного; важнейший из + родительный падеж существительного* и др. Участие конкретно-предметных существительных и дейктических компонентов в формировании таксономического значения рассмотрено выше. Остановимся на участии связок и особых синтаксических конструкций.

В русском языке существует группа связок, предназначенных для выражения таксономических отношений между субъектом и предикатом высказывания. Таксономическими называем связки: *входить, включаться, относиться, принадлежать, представлять собой* и др. Они обладают стилистической окраской книжности, что определяет функционирование БП, содержащих названные связки, в соответствующих стилях речи: *Гидроакустика и дефектоскопия **включаются** в систему акустических методов исследования* (В. Руденко). *Славянские и балтийские языки **относятся** к индоевропейским языкам* (М. Панов); *К относительным прилагательным **принадлежит** также замкнутая группа порядковых прилагательных <...>* (В. Виноградов); *Барий **представляет собой** тяжелый элемент, распространенный в природе в виде бариевых соединений* (К. Парменов). В художественной речи эти связки приобретают переносное значение в сочетании со словами-классификаторами, и бисубстантивное становится оценочным. Развитию оценочного значения способствует также наличие второстепенных членов предложения: *Я **отношусь к категории** «дичи», и, если не имею хозяина, **могу стать** собственностью первого встречного* (Б. Акунин); *Если бы она **принадлежала к разряду** тех политиков, что делают моральный капитал на собирательном образе страдающего гражданина, на идеальных мертвых душах, заранее очищенных от всего житейского, ей бы жилось неплохо* (О. Славникова); *В девяностые годы, когда юная задиристая девица выбирала свой жизненный путь, журналистика **почиталась** делом важным и прибыльным* (Б. Акунин).

Слова-классификаторы называют параметры классификации: *род, вид, класс, группа, круг, число, система, разряд, отряд* и мн. др. Наличие таких слов в составе предикативной основы яв-



ляется важной особенностью БП с таксономическим значением. Классификатор принимает в БП предикативную форму и становится опорным компонентом предиката, выражающим таксономическую часть значения: **К выделяющим знакам относятся скобки и кавычки** (Н. Валгина). В большинстве случаев классификатор употребляется совместно с распространяющим компонентом, который обозначает собственно название вида, рода и т. п.: **Модальное значение, которое обнаруживается при умолчании, при отсутствии вводно-модальных элементов, — это значение констатации** (П. Лекант); **Пчелы относятся к отряду перепончатокрылых насекомых** («Животные»: учебник для 7–8 кл.); **Подтип бесчерепных и подтип черепных, или позвоночных, животных включается в тип хордовых** («Животные»: учебник для 7–8 кл.).

Связка *относиться* употребляется в БП с таксономическим значением в сочетании с формой дательного падежа имени существительного с предлогом *к*: **Ласточки относятся к отряду воробьинообразных** («Животные»: учебник для 7–8 кл.); **Медь, серебро и золото относятся к металлам** (К. Парменов). Связка *принадлежать* в таксономическом значении допускает употребление в сочетании с формой дательного падежа без предлога и формой дательного падежа с предлогом *к*. Дательный падеж с предлогом *к* употребляется, если связка *принадлежать* имеет значение ‘входить в состав, число кого-, чего-л.’ [7: Т. 3, с. 426]: **Жираф принадлежит к отряду парнокопытных** («Животные»: учебник для 7–8 кл.); **Образование монокристаллов принадлежит к свойствам только жидких кристаллов** (В. Руденко). Если связка *принадлежать* имеет значение ‘относиться к какой-либо области, периоду’ [7: Т. 3, с. 426], она может сочетаться как с предложной, так и с беспредложной формой дательного падежа имени существительного: **Теорема Пифагора принадлежит области Евклидовой геометрии** (А. Погорелов «Геометрия»). Связка *представлять собой* сочетается с формой винительного падежа имени существительного: **Кисть представляет собой вид соцветия** («Растения»: учебник для 6 кл.). Связки *входить*, *включаться* сочетаются с формой винительного падежа существительного



с предлогом *в* и требуют обязательного употребления классификатора: *Галогены входят в число неметаллов* (К. Парменов).

Связки *быть, являться* регулярно используются для выражения таксономического значения в БП. Их грамматизованность (см.: [4, 6 и др.]) способствует проявлению таксономических сем в значении имен существительных, образующих предикативное ядро таксономического БП. Связка *быть* употребляется в конструкции тождества в сочетании с формой именительного предикативного падежа существительного обычно в нулевой форме: *Современная русская пунктуация — сложная, исторически сложившаяся система* (Н. Валгина). Классификаторы в сочетании со связкой *быть* не употребляются. Связка *являться* используется преимущественно в сочетании с классификаторами *вид, разновидность* и под. в форме творительного падежа: *Приложение является разновидностью несогласованного определения* (В. Бабайцева).

Употребление связок с классифицирующим значением позволяет выявить отношения таксономии, представленные в значении конкретно-предметных существительных имплицитно.

В некоторых случаях при выражении классифицирующего значения в БП используются особые синтаксические конструкции, обладающие общим значением выделения. Это значение позволяет выделить объект действительности из ряда однотипных объектов и обозначить его место в системе этих объектов. Чаще всего в таксономических БП используется конструкция *один из + родительный падеж множественного числа существительного* с классифицирующим значением: *Оптический обман — один из эффектов оптики* (В. Руденко); *Слон — одно из диких животных Африки* (В. Песков). Таксономическое значение в этих БП осложняется значением избирательности.

Конструкции *главный из + родительный падеж множественного числа существительного, важнейший из + родительный падеж множественного числа существительного* также выражают значение классификации и выделения, но вносят в высказывание и значение иерархии, неравнозначности данного объекта по сравнению с остальными объектами, входящими в общую систему:

***Важнейшая из функций пунктуации — смысловоразличительная функция*** (Н. Валгина).

Классификация объектов — свойство человеческого мышления, обусловленное жизнедеятельностью человека. Поэтому таксономии подвергаются не только натурфакты, но и артефакты, не только конкретные предметы, но и понятия и т. д. В обычной речевой практике необходимость в классификации объектов невелика и таксономическое значение в чистом виде, не осложненное другими значениями, встречается нечасто. Сфера функционирования БП со значением таксономии — книжная речь. В научной речи таксономические БП отражают описание отвлеченных понятий, фактов, явлений. В учебно-образовательном дискурсе таксономические построения способствуют развитию у учащихся логического мышления, осмысления системности современных знаний. Необходимо отметить, что БП являются одной из наиболее распространенных форм выражения дефиниций в русском языке. В дефинициях совмещаются таксономическое и характеризующее значения БП. Родо-видовые отношения, отношения части и целого лежат в основе другого значения БП, играющего важнейшую роль в коммуникации, — в основе значения собственно характеристики. Таксономические БП стремятся к нераспространенности, потому что любой введенный в предложение распространитель (даже в указанных стилях и сферах коммуникации) превращает таксономическое значение в характеризующее: *Одним из фундаментальных понятий математики является понятие множества* (В. Крамор. «Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа»); *Атом водорода — первый элемент в таблице Менделеева* (К. Парменов); *Одной из наиболее распространенных руд мышьяка является мышьяковый колчедан* (К. Парменов). Характеристика объекта действительности через установление отношений части и целого с выделением отдельного признака — один из наиболее употребительных способов характеристики субъекта в БП. «Таксономия, таким образом, представляет собой вид первичной предикации, объединяющей сумму сведений о классе предметов, необходи-

мую для вынесения и понимания последующих частных и общих суждений» [1: с. 9]. БП, как видно из приведенного анализа, активно употребляются в научной, научно-популярной литературе, в школьных и вузовских учебниках, в речи педагогов и учащихся в ходе образовательного процесса.

### *Литература*

1. *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
2. *Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н.* Русское предложение. Бытийный тип. М.: Русский язык, 1983. 198 с.
3. *Герасименко Н.А.* Бисубстантивные предложения в русском языке: структура, семантика, функционирование: монография. М.: Изд-во МГОУ, 2012. 292 с.
4. *Герасименко Н.А.* Развитие аналитизма в связочно-субстантивном сказуемом // Аналитизм в лексико-грамматической системе русского языка: монография / Под ред. П.А. Леканта. М.: Изд-во МГОУ, 2011. 162 с.
5. *Герасименко Н.А.* Соотношение объективного и субъективного компонентов смысла в бисубстантивных предложениях // Электронный Вестник МГОУ. Серия Русская филология. Вып. 4. М.: МГОУ, 2013.
6. *Лекант П.А.* Функции связок в русском языке // Русский язык в школе. 1995. № 3. С. 90–96.
7. Словарь русского языка: в 4-х т. / АН СССР; Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. Т. 4. М.: Русский язык, 1984. С. 335. (МАС).

### *References*

1. *Arutyunova N.D.* Yazy'k i mir cheloveka. M.: Yazy'ki russkoj kul'tury', 1999. 896 s.
2. *Arutyunova N.D., Shiryayev E.N.* Russkoe predlozhenie. By'tijny'j tip. M.: Russkij yazy'k, 1983. 198 s.
3. *Gerasimenko N.A.* Bisubstantivny'e predlozheniya v russkom yazy'ke: struktura, semantika, funkcionirovanie: monografiya. M.: Izd-vo MGOU, 2012. 292 s.
4. *Gerasimenko N.A.* Razvitie analitizma v svyazochno-substantivnom skazuemom // Analitizm v leksiko-grammaticheskoj sisteme russkogo yazy'ka: monografiya / Pod red. P.A. Lekanta. M.: Izd-vo MGOU, 2011. 162 s.

5. *Gerasimenko N.A.* Sootnoshenie ob'ektivnogo i sub'ektivnogo komponentov smy'sla v bisubstantivny'x predlozheniyax // E'lektronny'j Vestnik MGOU. Seriya Russkaya filologiya. Vy'p. 4. M.: MGOU, 2013.

6. *Lekant P.A.* Funkcii svyazok v russkom yazy'ke // Russkij yazy'k v shkole. 1995. № 3. S. 90–96.

7. Slovar' russkogo yazy'ka: v 4-x t. / AN SSSR; In-t rus. yaz.; pod red. A.P. Evgen'evoj. 2-e izd., ispr. i dop. T. 4. M.: Russkij yazy'k, 1984. S. 335. (MAS).

*Т.Е. Шаповалова*

Московский государственный областной университет (Россия)

## **СУБЪЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В ПОВЕСТИ М. ЛЕРМОНТОВА «МАКСИМ МАКСИМЫЧ»**

В предложенной статье на материале повести М.Ю. Лермонтова «Максим Максимыч» рассмотрены семантика и назначение глагольных форм настоящего времени.

Презентные формы, предназначенные для номинации действий и деятельности, событий и процессов, описаны как изосемическое средство выражения категории синтаксического времени в русском предложении. Категория синтаксического времени понимается как объективно-субъективная категория, определяющая и формирующая предложение как единицу синтаксиса. Являясь обязательным элементом грамматической семантики предложения, категория синтаксического времени содержит в себе смыслы, отличающиеся от значений входящих в него компонентов, и имеет специфические средства презентации.

Внимание акцентируется на грамматической, а точнее, предикативной, роли глагола в предложении. Глагольные формы, реализуя свою категориальную семантику, характеризуют процессуальный признак по его отношению к объективной действительности, моменту речи и участникам коммуникации.

В рамках временной определенности выявлена имперфективная и перфективная семантика глагольных форм настоящего времени несовершенного вида. Отмечаются случаи временной нелокализации процессуальных признаков, переданных глагольными формами настоящего времени.

Делается вывод о том, что в зависимости от степени общности передаваемого факта имперфективное значение настоящего синтаксического времени переосмысливается и акцентируется семантика временной обобщенности и даже вневременности.

В повести «Максим Максимыч» реально и объективно явлено постижение вечных, непреходящих глубинных основ человеческой жизни. Свое поколение М.Ю. Лермонтов оценивал как поколение безвременья. И то, что поэт тяготеет к вневременности, подтверждается на уровне грамматической семантики его повести.

*Ключевые слова:* категория синтаксического времени; грамматическая семантика; временная определенность; временная неопределенность; вневременность; настоящее синтаксическое время; аспектуально-временное значение; имперфективная, перфективная семантика; временная локализованность.

*T. Shapovalova*

### **Subjective Semantics of Verb Forms in Present Tense in M. Lermontov's Story «Maxim Maksimych»**

The article deals with semantics and purpose of verb forms in present tense on the material of the story by M. Lermontov «Maxim Maksimych».

Present forms used for nomination of actions and activities, events and processes, are described as izosemantic means of expressing syntactic category of time in a Russian sentence. Syntactic category of time is considered as objective-subjective category that defines and shapes a sentence as a unit of syntax. Being an indispensable element of grammatical semantics a sentence, syntactic category of time contains meanings that are different from the meanings of its components, and has a specific means of presentation.

The article focuses on grammatical, in particular predicative, role of the verb in a sentence. Verb forms, realizing its categorial semantics, characterize the procedural sign on its relation to objective reality, the moment of speech and participants of communication.

In the tense determination, imperfective and perfective semantics of verb forms in present tense are revealed. There are cases of nonlocalizability of temporary signs of procedural signs transmitted by verbal forms in present tense.

The conclusion is that, depending on the degree of generality of a fact, an imperfect meaning of the present syntactic tense is reinterpreted and semantics of temporal generality and even timelessness is emphasized.

The story «Maxim Maksimych» presents real and objective comprehension of eternal, timeless deep foundations of human life. His generation M. Lermontov assessed as timeless generation. And the fact that the poet tends to timelessness is confirmed at the level of grammatical semantics of his story.

*Keywords:* syntactic category of time; grammatical semantics; temporal certainty; temporal uncertainty; timelessness; present syntactic time; aspectual-temporal meaning; imperfectiv, perfective semantics; temporal localization.

Глагольные формы, предназначенные для номинации действий и деятельности, событий и процессов, являются изосемическим, или базовым, средством выражения категории синтаксического времени. В нашем понимании категория синтаксического времени, будучи объективно-субъективной категорией, осуществляющей в языке объективизацию субъективного содержания, определяет и формирует предложение как единицу синтаксиса. Мы разграничиваем категорию синтаксического времени и морфологическую категорию времени глагола. Категория синтаксического времени, с нашей точки зрения, принадлежит предложению в целом, являясь его обязательным элементом, содержит в себе смыслы, отличающиеся от семантики входящих в него компонентов, и имеет более широкие и специфические средства презентации, чем морфологическая категория времени глагола. В нашу задачу в рамках предложенной статьи входит рассмотрение семантики и назначения глагольных форм настоящего времени на материале повести М.Ю. Лермонтова «Максим Максимыч».

Ученые обращали внимание на сложность грамматической семантики глагола, на богатство его парадигматических и синтагматических связей в тексте, позволяющих передать с помощью глагольных форм языковую картину мира. Так, Н.С. Поспелов отметил, что в «современном русском языке <...> одни и те же глагольные формы в зависимости от контекста или ситуации речи могут иметь временные значения, не сводимые к единому семантическому комплексу и объединяемые только единством формы, выражающей эти значения» [3: с. 83]. На гибкость формы неотмеченного настоящего времени указывал М.В. Панов: «<...> она, неотмеченная, готова обозначать любой временной отрезок», «служить любому времени: до, в момент и после речи» [2: с. 183].

Мы акцентируем внимание на грамматической, а точнее, предикативной, роли глагола в предложении. Глагольные формы, реализуя свою категориальную семантику, характеризуют процессуальный признак по его отношению к объективной действительности, моменту речи и участникам коммуникации. Рассматривая формы глагола

как факты синтаксической системы, обращаемся к анализу неотмеченного настоящего времени, не прикрепленного к определенному времени, «гуляющему по всем временам» [2: с. 184].

В глагольном типе русского предложения формы неотмеченного настоящего выступают как сказуемое двусоставного предложения, главный член определенно-личного, неопределенно-личного и безличного предложений: ...*У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч <...> я их таскаю с собой; Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить верить в них слепо; — Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги; Избавляю вас от описания гор <...>; — Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?..; — Благодарствуйте; что-то не хочется.* Но, каким бы компонентом предложения ни выступала описываемая глагольная форма, ее семантическое наполнение всегда связано с тем или иным отношением содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего. Именно поэтому в поле нашего зрения попадают аспектуально-временные имперфективное и перфективное значения, являющиеся интенциональными и характеризующиеся не только специфической грамматической семантикой, но и особыми средствами ее выражения.

В рамках временной определенности имперфективное значение настоящего синтаксического времени проявляется в формах глаголов, передающих длительные или длящиеся динамические ситуации, которые занимают определенный отрезок на временной оси: *Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами; Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказ в Екатериноград; — Экая чудная коляска! — прибавил он, — верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис.* Имперфективная семантика выделенных глагольных форм, для которых более важным является изображение наблюдаемого, или воспри-



нимаемого, процесса, абстрагирована от временной последовательности действий.

Наблюдаемость, или перцептивность, считается элементом содержательной стороны глагольной формы несовершенного вида («в момент наблюдения имеет место одна из серии последовательных фаз ситуации, обозначаемой глаголом» [1: с. 86]) и носит характер созерцания, что не противоречит проявлению ее имперфективно-процессуального значения в художественных описаниях: *Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который **разбегается** шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатой стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке.* Здесь имперфективно-процессуальный характер движения способен растворить происходящее в безграничном времени.

Е.В. Падучева подчеркивает, что «форма настоящего времени глагола в русском языке практически всегда допускает понимание не только в настоящем, но и в гномическом времени» [1: с. 140]. Нелокализованность действий во времени придает им значение постоянного свойства чего-либо, проявляющегося не только в настоящем: *Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей **забывает!**; Грустно видеть, когда юноша **теряет** лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним **отдергивается** розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя **есть** надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими...* Значение конкретного синтаксического времени затемняется — акцентируется семантика временной неопределенности. В зависимости от степени обычности передаваемого факта имперфективное значение настоящего синтаксического времени переосмысливается и акцентируется семантика временной обобщенности и даже вневременности. Мысль об обобщенно-временной отнесенности поддерживает слово **есть**, выражающее не конкретное, а «всевременное» настоящее.

Имперфективное узуально-характеризующее значение настоящего синтаксического времени «описывает статическую ситуацию

с неподвижным временем» [1: с. 379] и представляет действия, состояния как временное пассивное свойство субъекта: *Я остановился в гостинице, где **останавливаются** все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться; Он сидел, как **сидит** Бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала.*

Имперфективное узуально-характеризующее значение настоящего синтаксического времени наблюдается и в предложениях с неличным субъектом, где явление, названное семиотическими глаголами или глаголами эмоционального состояния [1: с. 158], не связано с временным ограничением и описывается как типичное, обычное, повторяющееся: *Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего **не выражают**, от картин, которые ничего **не изображают** <...>; Скажу в заключение, что он был вообще очень недурён и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно **нравятся** женщинам светским.*

Идею повторяемости способны передавать темпоральные наречия со значением узуальной приуроченности, которые выступают в роли специальных экспликаторов, фиксирующих регулярность событий (Е.В. Падучева называет их «фреквентативными наречиями» [1: с. 28]): *Но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей: видите, как **иногда** маловажный случай **имеет** жестокие **последствия**!.. Семантика узуальной приуроченности приобретает релевантный признак временной нелокализованности, а ситуация, отраженная в предложении, — вневременной характер [5].*

Перфективное значение синтаксического настоящего времени помещает процессуальный признак в определенное место на временной оси. Нами выделены [4] две разновидности настоящего перфективного синтаксического времени. В тексте повести они обе находят свою презентацию.

В первой разновидности перфективной семантики отмечаем, что глагольные формы настоящего времени несовершенного вида выступают в своем переносном значении — в значении глагола прошедшего времени совершенного вида. Актуально-длительная семантика несовершенного вида акциональных глаголов утрачивается и интерпретируется как имеющая результат: <...> *на другой день, рано утром въезжает на двор повозка...*; <...> *минут через десять входит мой старик* <...>. Возникновению переносного значения способствует контекст: темпоральные синтаксемы *на другой день, минут через десять* и временные наречия *рано, утром* актуализируют различие между временным планом настоящего и прошедшего. М.В. Панов отмечает в подобных предложениях необходимость позиционного показателя для возникновения способности формы настоящего времени изображать прошедшее время [2: с. 183]. Лингвистическое прочтение приведенных предложений таково: \* <...> *на другой день, рано утром въехала на двор повозка...*; <...> *минут через десять вошел мой старик* <...>. Настоящее историческое в морфологии с точки зрения синтаксического аспекта является перфективным значением настоящего синтаксического времени.

Перфективное значение настоящего синтаксического времени второй разновидности наблюдается в предложениях, где в качестве сказуемого выступают глаголы со значением зависимого от воли субъекта перемещения в пространстве: — *А вы, Максим Максимыч, разве не едете?* Действия, эксплицированные такими глаголами, запланированы и имеют модальный оттенок побуждения. Истинным толкованием конструкции является: \* — *А вы, Максим Максимыч, разве не поедете?* «Домысливание <...> — это активный семантический процесс. Порождаемые им сдвиги лексического значения глагола дают себя знать не только в употреблении видовых форм, но и форм времени» [1: с. 100].

Заметим, что формы *въезжает, входит* с перфективным значением настоящего синтаксического времени первой разновидности, а также форма *не едете* с перфективным значением настоящего синтаксического времени второй разновидности ока-

зываются стилистически отмеченными показателями самовыражения говорящего. Они «экспрессивнее, энергичнее, резче, динамичнее, острее, напряженнее» [2: с. 185], чем глагольные формы прошедшего либо будущего времени, приведенные в интерпретационных вариантах конструкций.

Итак, результативное значение перфективного настоящего синтаксического времени обнаруживается, если перевести соответствующую морфологическую форму в ретроспективный или проспективный синтаксический план, отражающий событийное прочтение глагольных форм настоящего времени несовершенного вида.

Наше исследование показало, что грамматические формы настоящего времени глагола несовершенного вида, функционируя в предложении, семантически согласуются с лексико-грамматическими контекстными временными показателями — темпоральными синтаксемами, и являются изосемическим, или базовым, средством выражения категории синтаксического времени.

В повести «Максим Максимыч» реально и объективно явлено постижение вечных, непреходящих глубинных основ человеческой жизни. Свое поколение М.Ю. Лермонтов оценивал как поколение безвременья. И то, что поэт тяготеет к вневременности, подтверждается на уровне грамматической семантики его повести.

### *Литература*

1. *Падучева Е.В.* Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 464 с.
2. *Панов М.В.* Позиционная морфология русского языка. М.: Наука, Школа «Языки русской культуры», 1999. 275 с.
3. *Поспелов Н.С.* О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в современном русском языке // Пospелов Н.С. Мысли о русской грамматике: Избранные труды / Сост. и автор вступ. ст. Е.А. Иванчикова; отв. ред. Н.И. Толстой. 2-е изд. М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 83–99.
4. *Шаповалова Т.Е.* Категория синтаксического времени в русском языке: монография. М.: МПУ, 2000. 151 с.
5. *Шаповалова Т.Е.* От временной обобщенности к вневременности // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2013. № 4. С. 18–21.

*References*

1. *Paducheva E.V.* Semanticheskie issledovaniya (Semantika vremeni i vida v russkom yazy'ke; Semantika narrativa). M.: Shkola «Yazy'ki russkoj kul'tury'», 1996. 464 s.
2. *Panov M.V.* Pozicionnaya morfologiya russkogo yazy'ka. M.: Nauka, Shkola «Yazy'ki russkoj kul'tury'», 1999. 275 s.
3. *Pospelov N.S.* O dvux ryadax grammaticheskix znachenij glagol'ny'x form vremeni v sovremennom russkom yazy'ke // Pospelov N.S. My'sli o russkoj grammatike: Izbranny'e trudy' / Sost. i avtor vstup. st. E.A. Ivanchikova; otv. red. N.I. Tolstoj. 2-e izd. M.: KD «LIBROKOM», 2010. S. 83–99.
4. *Shapovalova T.E.* Kategoriya sintaksicheskogo vremeni v russkom yazy'ke: monografiya. M.: MPU, 2000. 151 s.
5. *Shapovalova T.E.* Ot vremennoj obobshhyonnosti k vnevremennosti // Vestnik MGOU. Seriya «Russkaya filologiya». 2013. № 4. S. 18–21.

*Е.Ю. Геймбух, А.Г. Федорова*

Московский городской педагогический университет (Россия)

## **СВОЕОБРАЗИЕ ПЕРСониФИКАЦИИ В «СКАЗКАХ ДЛЯ ВУНДЕРКИНДОВ» С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО**

Статья посвящена проблеме персонификации как одной из основ идиостиля С.Д. Кржижановского. Персонификация рассматривается авторами как полное уподобление какого-либо фрагмента действительности человеку; при полном уподоблении персонифицированное явление обретает все человеческие черты, иногда даже человеческий облик. На первый план в статье выступает специфическая для идиостиля С.Д. Кржижановского в целом, и «Сказок для вундеркиндов» в частности, грамматическая персонификация. К грамматической персонификации авторы относят сопутствующие семантической персонификации (антропоморфизации) разного рода отступления от системы языка на словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях: изменение частеречной принадлежности слова, системы его грамматических форм, парадигматических и синтагматических свойств и т. п. На примерах из сказок «Чуть-чуть», «Страна нетов», «Поэтому», «Чётки» и др. показан характер грамматической персонификации: субстантивация неизменных частей речи, приобретение субстантивами грамматических категорий *рода* и *числа*, что отражает включенность персонифицированных явлений в противопоставление по полу и множественности / единичности; включение в системы склонения и словоизменения, употребление с суффиксами, указывающими на невзрослость; образование качественных и относительных прилагательных; способность сочетаться с согласованными определениями и приложениями; корреляция с глаголами-сказуемыми; выступление в функции подлежащего и дополнения, что свойственно в первую очередь именным частям речи. В статье указывается также на двойственность художественного мира С.Д. Кржижановского, которая не в последнюю очередь определяется тем, что фрагмент действительности, подвергающийся персонификации, продолжает существовать и в своем естественном, персонифицированном виде.

*Ключевые слова:* С.Д. Кржижановский; семантическая и грамматическая персонификация; языковые и окказиональные способы персонификации.

*E. Geymbukh, A. Fedorova*

### **Originality of Personification in «Tales for Wunderkinds» by S.D. Krzhizhanovsky**

The article is concerned with personification problem as one of the basis of S.D. Krzhizhanovsky individual style. Personification is considered by the authors as a full conformation of any fragment of reality to man. Embodied phenomenon assumes human traits with full conformation, sometimes even a human face. The authors of the article bring to the fore grammatical personification, which is specific for S.D. Krzhizhanovsky individual style in general, and for “Tales for Wunderkinds” in particular. The authors refer deviations of various kind from the language system to grammatical personification accompanying semantic personifications (anthropomorphize) on word-formative, morphological and syntactic levels such as word pertain change to part of speech, system of its grammatical forms, paradigmatic and syntagmatic properties etc. Examples from fairy tales “Chut-chuti” (Little littles), “Strana netov” (Country of words “no”), “Poetomu” (That’s why), “Chjotki” (Bead-rolls) and others show the character of grammatical personification such as substantivisation, grammatical categories of gender and number acquisition by substantivats. These grammatical categories reflect the embodied phenomena involvement in opposition to gender and plurality / singularity; involvement in the systems of declension and inflection, performance of suffixes, indicating non-adulthood; formation of qualitative and relative adjectives; ability to combine with concordant definitions and appositions; correlation with verbal predicate; performance in function of the subject and complement what is primarily peculiar to registered parts of speech (Noun, Adjective, etc.). The article also shows the duality of the S.D. Krzhizhanovsky art world, which is not last thing determined by existence continuation of personify fragment of reality in its natural, non-embodied form.

*Keywords:* S.D. Krzhizhanovsky, semantic and grammatical personification; language and occasional personification ways.

Проза С.Д. Кржижановского все еще остается недостаточно изученной, хотя корпус новелл и повестей писателя уже входит в сферу филологического анализа. Предметом нашего исследования стали особенности идиостиля писателя, в частности, механизмы «оживления» героев произведений, характер и значение персонифи-

кации в творчестве С.Д. Кржижановского. Именно в «оживлении» предметов неживого мира кроется ключ к смыслу произведений писателя, к его философии, необычному мировидению, которое ярко раскрывается уже в одном из первых сборников новелл — «Сказках для вундеркиндов».

Основы современного подхода к интерпретации явления персонификации были заложены еще в первой половине XX века, когда определение термина «персонификация» давалось в со- и противопоставлении с термином «олицетворение». Л.И. Тимофеев рассматривает персонификацию как второе название олицетворения и относит исключительно к тропеической системе языка: «Олицетворение, по существу, является последовательным перенесением на понятие или явление признаков одушевленности и представляет собой, таким образом, вид метафоры» [7: с. 283]. Иной подход к толкованию олицетворения и персонификации представляет позиция А. Петровского. Ученый разделяет два вида олицетворений: первый — явление стилистики, «изображение неодушевленного или абстрактного предмета как одушевленного» (басни, притчи, аллегории) [3: с. 532]; второй связан не с приемами изображения, а с определенным, анимистическим мирозерцанием и мироощущением: автор сам верит в одушевленность предмета, предмет уже воспринимается как одушевленный и таким и изображается [3: с. 525].

Мы также отделяем понятие «персонификация» от понятия «олицетворение», хотя до сих пор эти термины иногда используются как синонимы. Олицетворением мы будем считать поэтический троп, а религиозно-мифологическое восприятие различных фрагментов мира как антропоморфных (что свойственно и С.Д. Кржижановскому) отнесем к персонификации.

Персонификация рассматривается нами как «полное уподобление неодушевленного предмета человеку, при котором предмет наделяется не частными признаками человека, а обретает все человеческие черты, часто — человеческий облик. Традиционно персонификация используется в устном народном творчестве, в баснях» [6]. Только такой подход будет плодотворным при изу-



чении языка «Сказок для вундеркиндов», так как у С. Кржижановского персонифицированные предметы, явления, слова и др. характеризуют не отдельные фрагменты повествования, а структуру целого, организуют сюжет, определяют поэтику (например, «Якоби и “якобы”», «Чуть-чутьи», «Жизнеописание одной мысли», «Сбежавшие пальцы» и мн. др.).

С.Д. Кржижановский, опираясь на стандартные, существующие в языке способы персонификации (например, языковые метафоры и метонимии типа «время идет», «ум зашел за разум»), часто создает окказиональные, авторские способы персонификации, которые требуют изучения и классификации. Наиболее интересными, на наш взгляд, являются грамматические способы персонификации, когда происходит не только приписывание неживым явлениям характеристик человека, но меняется грамматическая структура слова.

Именно такого рода явления происходят в сборнике новелл «Сказки для вундеркиндов». Слова, не имеющие в русском языке категорий рода, числа и падежа, обретают их в контексте сказок в процессе персонификации, становятся семантически и морфологически одушевленными.

Рассмотрим преобразования в грамматической структуре наречий в рассказе «Чуть-чутьи», в самом названии которого обращает на себя внимание невозможное для системы русского языка употребление наречия во множественном числе. Наречие — «часть речи, включающая слова, а) обозначающие признак действия (состояния), признак признака (качественного или обстоятельственного), реже — признак предмета (семантический признак); б) неизменяемые (но образующие формы степеней сравнения в разряде качественных наречий), соотносительные в словообразовательном отношении с именами и глаголом (морфологический признак); в) выступающие преимущественно в функции обстоятельств (синтаксический признак)» [4].

В сказке «Чуть-чутьи» наречия *чуть-чуть* и *эле-эле* используются для обозначения народов, то есть меняется их семантика (категориальное значение), они включаются в процесс персонификации и становятся субстантивами, приобретая внутренние и

внешние признаки существительного: «а) значение предметности (семантический признак); б) выражение этого значения при помощи категорий рода, числа и падежа, а также одушевленности и неодушевленности (морфологические признаки); в) употребление в предложении в функции морфологизованного подлежащего и дополнения (синтаксический признак)» [4].

При употреблении в тексте сказки *чуть-чуть* и *еле-еле* обретают различные грамматические признаки существительного: 1) **категорию рода**: *лежал чуть-чуть; сан первого Чутя; ...на каждую по дежурному чуть-чутью...* (род выражается морфологически, в системе окончаний, по аналогии с существительными второго склонения: *слесарь – слесаря, слесарю, мыслитель – мыслителя, мыслителю* — и синтаксически: на мужской род указывает согласованное определение); 2) **категорию числа**: *...опять зазевавшийся чуть-чуть, сорвавшись с ресницы, мелькнул у зрачка* (ед. ч.); *...но в ухе уже расхлопотались чуть-чутти...* (мн. ч.); род выражен морфологически, в противопоставлении системы окончаний единственного и множественного числа, по аналогии с существительными второго склонения: *слесарь – слесари, мыслитель – мыслители*; С.Д. Кржижановский использует существующую в языке модель выражения противопоставления по родам и числам; 3) **способность изменяться по падежам**: *Я, король ЧУТЬ-ЧУТЕЙ, покоритель страны ЕЛЕ-ЕЛЕЙ; Шорохи сбежавшихся чуть-чутей; Два наряда знатных еле-елей в правое и левое ухо*; 4) **лексико-семантический признак «одушевленность / неодушевленность»**: *увидел еле-елей*.

Грамматические преобразования в сказках охватывают не только морфологическую, но и словообразовательную систему. В русском языке наречия *чуть-чуть* и *еле-еле* не образуют производных слов. Однако, превратившись в субстантиваты, данные слова становятся производящими: появляются относительное местоимение (*чуть-чутево царство*), абстрактное существительное (*идеалы Чуть-Чутества*), этикетная формула (*Ваше Чуть-Чутество* — по аналогии с *Ваше Величество*).

Изменение категориальной семантики и морфологических признаков не могло не сказаться на функционировании субстантиватов

в структуре предложения. *Чуть-чутьи* и *еле-еле*, указывая на человеческие общности, сочетаются и с глаголами, и с прилагательными, однако эти части речи согласуются / коррелируют с субстантиватами в роде, числе, падеже, а не примыкают, как было, когда наречия указывали на признаки действия: (1) ...**один** из дежурных *чуть-чутьей сорвался с моей ресницы*; (2) ...сейчас *чуть-чутьи, дежурившие* у зрачков, **делали** свое дело; (3) **Тысячи** *чуть-чутьей, вероятно загнанных морозным воздухом в поры моей кожи, дергали* за жилки и капилляры; (4) ...бежал от **незримых чуть-чутьей**.

Из этих примеров видно, что изучаемые нами слова в предложении выполняют функцию подлежащего (1, 2, 3 примеры) или дополнения (4 пример), что также свойственно не наречиям, а существительным.

При изучении сказки «Чуть-чутьи» нельзя не обратить внимания на то, С.Д. Кржижановский неоднократно употребляет в сказке слова *чуть-чуть* и *еле-еле* не только в качестве субстантиватов, но и в их первоначальной сущности — в качестве наречий: ...*слова, вертикально запрокинутые на корешках книг, — чуть-чуть, на еле-мысль сдвинулись вдоль по своим смыслам, ширя щели и другие невнятные миры; И король, чуть царापнув короной о мочку моего уха, последовал по черной линии росчерка; ...стало теперь мириадами чуть приметных, но примечательных льдистых кристаллинок; ...мириады еле различных мыслей терлись изнутри; От волнения ноги у меня чуть дрожали; ...всё, под налётами новых смыслов, чуть сдвинуто, еле отклонено и странно ново; ...еле зримая рука его учтиво салютовала в сторону моего глаза.*

В этих примерах *чуть*, *чуть-чуть* и *еле*, *еле-еле*, как и положено наречиям, при примыкании к глаголу обозначают признак действия, а при примыкании к прилагательному — признак признака и при этом играют роль обстоятельств.

Таким образом, мы сталкиваемся с двоemiрием автора, которое заключается в следующем: с одной стороны, предметы, явления, слова и даже части предметов, явлений и слов приобретают антропоморфные признаки, с другой — персонифицированные сущности не теряют связи со своей изначальной природой и

в тексте сказок могут одновременно выступать в двух видах. Благодаря этому создается противопоставление обычной, обыденной жизни, которая тяготит человека и в которой все кажется ложным и фальшивым, и истинного бытия, от которого человека отделяет малая толика воображения: *чуть-чуть, еле-еле* измененный мир оказывается глубоким и полным смысла.

На примере сказки «Чуть-чуть» мы продемонстрировали изменение содержательной и формальной структуры наречий, выступающих в тексте в функции субстантивов. Дополним представления о возможностях грамматической персонификации такими примерами из других сказок, которые не нашли отражения в «Чуть-чутьях».

Так, в сказке «Страна нетов» общее направление изменения то же, что и в «Чуть-чутьях»: слова *неты* и *ести* обозначают разные народы и поэтому приобретают категории рода, числа, одушевленности, склоняются по падежам, как и *чуть-чуть* и *еле-еле*. Но в «Стране нетов» появляется противопоставление мужского и женского родов, указывающих на существа мужского и женского пола (в «Чуть-чутьях» есть только «представители» мужского пола): *нет влечется к нете, неты нету*, причем субстантиват мужского рода изменяется по твердой, а женского рода — по мягкой разновидности.

В «Стране нетов» цель наблюдателя-*естя* — дать представление о жизни *нетов*, поэтому больше внимания посвящено «семейным» отношениям и образуются слова, обозначающие не только существа женского пола, но и незрелые существа: *нетик, нетики, нетята, нетеньши*. Суффиксы *-ят-* и *-еньши* — специализированные суффиксы со значением незрелости (ср.: *внучата, детеньши*) [5: с. 203–204]. Суффикс *-ик* имеет в русском языке разные значения, в том числе и значение уменьшительно-ласкательное, которое в контексте сказки воспринимается как указание на незрелых *нетов*: *неты учат своих малых нетиков, нет рассказывал нетикам*.

Более разветвленным в «Стране нетов» является словообразование и в области прилагательных: появляется больше словосочетаний с относительными прилагательными (*нетовые цветы*,

нетовые мысли, нетовая страна), а также качественное прилагательное (*нетствующая философия*).

В «Стране нетов» расширяются функции субстантиватов: помимо согласованных определений, выраженных прилагательными и причастиями (*достопочтенные ести, каких-то нетов*), есть согласованное приложение: *искусник нет*.

В рассказе «Чётки» в сфере грамматической персонификации включается система глагольных форм. Рассмотрим предложение ...*в щепоти, нанизавшись на длинную серебристого отлива нить, мерцали белые крупные бусины чёток*. В этом предложении обращает на себя внимание обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. На месте этого обстоятельства должно было бы стоять согласованное определение, выраженное страдательным причастием с зависимыми словами: «нанизанные на <...> нить». Однако С.Д. Кржижановский использует деепричастие от возвратного глагола, который указывает на активного производителя действия, и благодаря этому происходит персонификация бусин, которые вроде бы сами нанизались на нить.

В рассказе «Поэтому» способом персонификации является замена безличного предложения личной формой глагола: ...*лужа только рябью чуть повела* вместо возможного «лужу только рябью чуть повело».

В качестве синтаксического способа персонификации можно воспринимать и использование однородных подлежащих в предложении ...*шли Весна и поэт*. Благодаря тому, что в этом предложении происходит наложение прямого (*шел поэт*) и переносного (*шла Весна*) значения глагола «шли», то есть сказуемое используется как полисемант, реализующий одновременно два своих значения, происходит оживление глагольной метафоры из выражений «весна идет, весна пришла, весна уходит» и актуализируется стертое значение олицетворения (усиленное в данном контексте использованием прописной буквы и постановкой рядом с другим подлежащим, указывающим на лицо).

Обратим внимание на то, что в систему персонификации С.Д. Кржижановский включает не только слова мужского и жен-

ского рода, которые получают соответственно значение мужского и женского пола, но и слова среднего рода. Обычно при персонификации существительные среднего рода обретают семы мужского или женского пола, «прослеживается тенденция к преодолению среднего рода родом-полом: род и пол в русском языке тесно связаны (в отличие от немецкого: ср., например, *das Weib*), и потому субстантив, имеющий сему пола, не может принадлежать к среднему роду. Эта тенденция прослеживается в разных формах: а) Горе одета во все белое; (Горе говорит) Я нездешняя (В. Хлебников); б) «Я крикнул солнцу: Дармод! Занежен в облака ты!» (В.В.Маяковский); в) (Книжка обращается к Пресс-Папье) — Грязнуля, — сказала она, — посмотри, ты весь в чернилах! (Ф. Кривин)» [2: с. 81].

У С.Д. Кржижановского происходит иначе: некоторые слова при персонификации остаются в системе среднего рода. Рассмотрим несколько примеров и попытаемся определить причины и функции такого отступления от законов персонификации.

В сказке «Поэтому», несмотря на персонификацию, сказуемое уподобляется подлежащему и согласуется с определениями в среднем роде, для указания на «поэтому» также используется местоимение третьего лица среднего рода: «Поэтому» *отвергало поэта*; ...«поэтому» не *хотело возвращаться*; «поэтому» <...> *обвисло, покорно легло*; ...*ползало обеспокоенное знакомое поэту остробуквое «поэтому»*; ...*извивающееся и бьющееся всеми семью буквами «поэтому»*; *Открыл: опять о н о* [«поэтому»]; ...*оно мало изменилось*.

Причины употребления среднего рода, на наш взгляд, не только и не столько грамматические, сколько мировоззренческие. По форме *поэтому*, не соотносимое с одушевленным предметом, как большинство несклоняемых существительных в русском языке, тяготеет к среднему роду. У таких слов возможно согласование по родовому понятию [5: с. 469], например, «вкусный киви» — по родовому понятию «плод» и «красивая киви» — по родовому понятию «птица». В связи с этим «поэтому» и по форме, и по родовому понятию («слово») отнесено к среднему роду. Но нам кажется, что здесь есть еще одна причина — *поэтому* в рассказе об-

ладает деструктивными свойствами: поэт, подменив живое восприятие мира мертвой логикой, перестает быть поэтом. И в связи с этим *поэтому* остается в неопределенности и безликости среднего рода, тогда как большинство персонифицированных понятий тяготеют к определенности рода и стоящего за ним пола.

Но если *поэтому*, наделяясь некоторыми свойствами человека, описываемыми через ментальные и акциональные глаголы и глагольные формы (например, *отвергало, не хотело, извищающееся и бьющееся*), сохраняет вид слова (*остробуквое, бьющееся всеми семью буквами*), хотя и не наделено даром слова, то в сказке «Страна нетов» в рамках среднего рода остается говорящее *ничто*: ...*явилось* им *Ничто, безглазое и безвидное, и сказало* глухим, могильным голосом: «*Я Ничто, не являюсь в явях, но лишь в снах. Есть у меня берега, но я голодно*». Здесь также нарушается тенденция отнесения персонифицированного явления к мужскому или женскому роду. *Ничто* — символ смерти; так как слово «смерть» относится к женскому роду, то при персонификации получает женский образ (традиционно — старуха с косой). С.Д. Кржижановский указывает на то, что *Ничто безвидное*, то есть не имеющее образа и, следовательно, пола. Поэтому *Ничто* остается в системе среднего рода, которое в русском языке не обозначает живые существа (исключения — несколько существительных типа «чадо», «дитя», «дитятко», которые включаются в систему среднего рода и подчеркивают невзрослость, а также «существо», «млекопитающее», для которых отнесение к роду не значимо). Получается, что *ничто*, как и *поэтому*, выражает явно деструктивное начало и «не достойно» включения в противопоставление по роду и стоящему за ним полу. Можно сказать, что С.Д. Кржижановский, оставляя некоторые персонифицированные объекты в рамках грамматического среднего рода, реализует специфику мышления, присущего когда-то народной сказке: «Пространство сказочного мира разделено на две части: на “свой” мир и на мир “чужой”, причем каждому из миров соответствуют свои действующие лица. Колебания рода встречаются в именах таких персонажей, как Чудовище (или Чудище),



Чудо-юдо <...> Отличительной чертой этих персонажей является полная или частичная непредставимость, неоформленность облика <...> отвлеченное и неясно представляемое язык отмечает большей частью средним родом» [1: с. 10–11].

Итак, мы рассмотрели некоторые примеры грамматической персонификации в «Сказках для вундеркиндов» С.Д. Кржижановского. Предметом нашего внимания были явления разного статуса: от *чуть-чутей* и *нетов*, которые являются заглавными героями, до мельчайших деталей типа лужи, которая *рыбью повела*. И на всех уровнях текста мы обнаружили персонификацию, которая задает особый, только С.Д. Кржижановскому присущий взгляд на мир как на единство живых мыслящих существ и которая может не только полностью изменить денотат, но и грамматическую систему преобразуемого слова.

### Литература

1. Гин Я.И. Из наблюдений над грамматической категорией рода в русской народной сказке // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избранные работы. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1996. С. 9–26.
2. Гин Я.И. К вопросу о построении поэтики грамматических категорий // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий: Избранные работы. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1996. С. 75–87.
3. Петровский М. Олицетворение // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 1: А–П. М.; Л.: Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Стб. 532–534.
4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов. М.: ИД «ОНИКС 21 век»; Мир и Образование, 2003. 623 с.
5. Русская грамматика: в 2 т. Т. 1. Репринтное издание. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2005. 784 с.
6. Словарь литературоведческих терминов / Автор-сост. С.П. Белокурова. URL: <http://www.grammar.ru/LIT/?id=3.0> (дата обращения: 21.04.2013 г.).
7. Тимофеев Л. Олицетворение // Литературная энциклопедия: в 11 т. Т. 8. М.: ОГИЗ РСФСР; Сов. энциклопедия, 1934. Стб. 283–284.



*References*

1. *Gin Ya.I.* Iz nablyudenij nad grammaticheskoj kategoriej roda v ruskoj narodnoj skazke // Gin Ya.I. Problemy' poe'tiki grammaticheskix kategorij: Izbranny'e raboty'. SPb.: Gumanitarnoe agentstvo «Akademicheskij projekt», 1996. S. 9–26.
2. *Gin Ya.I.* K voprosu o postroenii poe'tiki grammaticheskix kategorij // Gin Ya.I. Problemy' poe'tiki grammaticheskix kategorij: Izbranny'e raboty'. SPb.: Gumanitarnoe agentstvo «Akademicheskij projekt», 1996. S. 75–87.
3. *Petrovskij M.* Olicetvorenije // Literaturnaya e'nciklopediya: Slovar' literaturny'x terminov: v 2-x t. T. 1: A–P. M.; L.: Izd-vo L.D. Frenkel', 1925. Stb. 532–534.
4. *Rozental' D.E', Telenkova M.A.* Spravochnik po russkomu yazy'ku. Slovar' lingvisticheskix terminov. M.: ID «ONIKS 21 vek»; «Mir i Obrazovanie», 2003. 623 s.
5. Russkaya grammatika: v 2 t. T. 1. Reprintnoe izdanie. M.: Institut russkogo yazy'ka im. V.V. Vinogradova RAN, 2005. 784 s.
6. Slovar' literaturovedcheskix terminov / Avtor-sost. S.P. Belokurova. URL: <http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0> (data obrashheniya: 21.04.2013 g.).
7. *Timofeev L.* Olicetvorenije // Literaturnaya e'nciklopediya: v 11 t. T. 8. M.: OGIZ RSFSR; Sov. e'nciklopediya, 1934. Stb. 283–284.

# ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

*К. Савада*

Государственный университет Сайтама (Япония)

### «ЗАПЕРТОЙ ЛАРЕЦ С ПОТЕРЯННЫМ КЛЮЧОМ»: И.А. ГОНЧАРОВ В ЯПОНИИ

В 1853 году И.А. Гончаров прибыл на фрегате «Паллада» в порт Нагасаки, самый западный город Японии, в качестве секретаря при адмирале Е.В. Путятине, который был направлен для установления торговых отношений с Японией и определения границы между обеими странами на Сахалине. Двое японских полномочных и их свита на пути из Эдо (старое название Токио) и во время переговоров, длившихся в Нагасаки почти месяц, вели дневники. В предлагаемой статье я рассмотрел ряд вопросов. Во-первых, то, какое впечатление произвел Гончаров на японских полномочных и как его роль в ходе переговоров освещалась в японских источниках. Во-вторых, при сопоставлении очерков Гончарова «Фрегат “Паллада”» и «Всеподданнейшего отчета» Путятин я попытался проследить процесс переговоров с точки зрения обеих сторон.

*Ключевые слова:* Гончаров; «Фрегат “Паллада”»; Путятин; Япония; японцы.

*К. Sawada*

### «Locked Chest with a Lost Key»: I.A. Goncharov in Japan

In 1853 I.A. Goncharov on board the frigate «Pallas» visited Nagasaki, a western city in Japan, as secretary of the admiral E.V. Putiatin, who was dispatched to Japan in order to establish commercial relations and delimit the border line between two countries on the Island of Sakhalin. Two Japanese plenipotentiaries and their retinue kept diaries on their way from Edo (old name of Tokio) and during negotiations, which lasted in Nagasaki about a month. In this article I examined set of questions. First, what were impressions made by Goncharov upon Japanese pleni-

potentiaries, and how his role in the course of negotiations was reported in Japanese historical sources. Second, by comparing the travel sketch «Frigate “Pallas”» by Goncharov and «The Loyal Report» by Putiatin with above-mentioned diaries, I tried to trace the process of negotiations from the viewpoint of both countries.

*Keywords:* Goncharov; «Frigate “Pallas”»; Putiatin; Japan; Japanese.

## 1

И.А. Гончаров прибыл 10-го августа 1853 года<sup>1</sup> на фрегате «Паллада» в порт Нагасаки, самый западный город Японии, в качестве секретаря при адмирале Е.В. Путятине, который был послан для установления торговых отношений и определения границы между обеими странами на Сахалине. Месяцем ранее «черные корабли» Соединенных штатов Америки во главе с коммодором М.К. Перри прибыли в Японию с целью открытия страны, что вызвало переполох у японцев, живших в закрытой стране более 200 лет. Появление русских кораблей тоже их испугало. Японское правительство от начала до конца затягивало и осложняло переговоры с русским посольством. Правительство сёгуна приняло официальное послание русского канцлера и министра иностранных дел К.В. Нессельроде безо всякого энтузиазма и в течение трех месяцев не давало на него ответа. Только в конце 1853 года из Эдо (старое название Токио), столицы Японии, в Нагасаки прибыло четверо полномочных. 7-го января 1854 года начались реальные переговоры. Эти переговоры, однако, оказались, по сути дела, безрезультатными. Японская делегация обещала русскому посольству только предоставление в дальнейшем права наибольшего благоприятствования в торговле.

## 2

Двое японских полномочных и их свита по пути из Эдо и во время переговоров, длившихся в Нагасаки почти месяц, вели дневники, которые в настоящее время опубликованы.

---

<sup>1</sup> Все даты приводятся по старому стилю.



**Рис. 1.** Переговоры русского посольства с японскими полномочными

Кавадзи Тосиакира<sup>2</sup> (1801–1868), родившийся в семье мелкого чиновника, благодаря природным дарованиям и большому трудолюбию, быстро поднялся по служебной лестнице и в 1852 году занял самый высокий чиновничий пост — «кандзё бугё», т. е. главного управляющего финансами. Эта должность, вопреки своему названию, включала в себя и юридические функции административного управления. Над ним было только несколько старейшин — знатных потомственных феодалов. Главой полномочных был назначен Цуцую Масанори (1778–1859), а Кавадзи был вторым лицом среди полномочных. Но поскольку Цуцую было более 75 лет, Кавадзи считался главным в японской делегации. В 1868 году он, будучи верным правительству сёгуна, застрелился одновременно с окончательным падением последнего: Кавадзи был парализован и потому не смог совершить «харакири», которое ему предписывал долг.

<sup>2</sup> В настоящей статье принят японский порядок написания: на первом месте фамилия, на втором — имя.



**Рис. 2.** Кавадзи Тосиакира

Кавадзи не раз упоминается во «Фрегате «Паллада»», и можно сказать, что Гончаров относился к нему с явной симпатией. Так, Гончаров писал: «Он [Кавадзи] был очень умен, а этого не уважать мудрено, несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже манеры — всё обличало здравый ум, остроумие, пронырливость и опытность. Ум везде одинаков: у умных людей есть одни общие признаки, как и у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь». И далее: «Мне нравилось, как Кавадзи, опершись на богатый веер, смотрел и слушал, когда речь обращена была к нему. До половины речи рот его был полуоткрыт, взгляд немного озабочен — признаки напряженного внимания. На лбу, в меняющихся узорах легких морщин, заметно отражалось, как собирались в голове у него, одно за другим, понятия и как формировался из них общий смысл того, что ему говорили. После половины речи, когда, по-видимому, он схватывал главный смысл ее, рот у него сжимался, складки исчезали на лбу, все лицо светлело: он знал уже, что

отвечать. Если вопрос противной стороны заключал в себе, кроме сказанного, еще другой, скрытый смысл, у Кавадзи невольно появлялась легкая улыбка. Когда он сам начинал говорить и говорил долго, он весь был в своей мысли, и тогда в глазах прямо светился ум. Если говорил старик [Цуцуи], Кавадзи потуплял глаза и не смотрел на старика, как будто не его дело, но живая игра складок на лбу и содрогание век и ресниц показывали, что он слушал его еще больше, нежели нас. Переговоры все, по-видимому, были возложены на него, Кавадзи, а Тсутсуй был послан так, больше для значения и, может быть, тоже по своему приятному характеру» [3: с. 481–482].

Во время путешествия и переговоров Кавадзи вел «Нагасакский дневник». Это очень интересные, не чуждые юмора записи, которые украшают более чем 20 «танка» (японские пятистишия) и 10 «канси» (стихотворения на китайском языке). Для Кавадзи дневник — это письма, в которых он сообщает своим домашним и подданным новости и впечатления от дороги и пребывания в Нагасаки (они тоже писали ему).

В «Нагасакском дневнике» семь раз упоминается Гончаров. Например: «Гончаров, хотя без официального чина, служит секретарем, всегда сидит возле посла и вмешивается в разговор. Выглядит главным советником. Посьет и Гончаров угощали нас на корабле, наливая вино и подавая еду» [5: с. 93]<sup>3</sup>. Обратим внимание на то, что Кавадзи называет Гончарова «главным советником», в других местах — «тактиком». Из приведенной цитаты узнаем, что Гончаров в качестве «правой руки» Путятин активно участвовал в переговорах, что никак не отражено в путевых очерках писателя. В другом месте Кавадзи пишет: «Тактик [Гончаров] увидел мой веер и похвалил его. Тогда я подал ему этот веер, и он через переводчика стал благодарить меня за столь драгоценный подарок, которого еще минуту назад касались мои руки. Затем, пошарив в кармане, он вытащил свои часы, снял с них цепочку и подарил ее мне. Я был вынужден принять ее, поскольку, как я ни отказывался, он и слушать ничего не хотел. Потом он взял мои

<sup>3</sup> Здесь и далее перевод всех японских источников выполнен автором статьи.



часы, бедности которых я очень стыдился, и оснастил их цепочкой» [5: с. 99].

Во «Фрегате “Паллада”» этот же эпизод, произошедший во время ответного визита японских полномочных на русское судно 20-го января, описан несколько иначе: «За обедом я взял на минуту веер из рук Кавадзи посмотреть: простой, пальмового дерева, обтянутый бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у себя “на память”, как перевел Эйноске слова его. Я поблагодарил, но, не желая оставаться в долгу, отвинтил золотую цепочку от своих часов и подал ему. Он на минуту остановился, выслушал переведенное ему мое приветствие и сказал, что благодарит и принимает мой подарок. Потом вышел из-за стола и что-то шепнул Эйноске. Это вот что: Кавадзи и Тсутсуй приготовили мне и Посъету по два ящика с трубками в подарок. Приняв от меня золотую цепочку, он, вероятно, нашел, что подарок его слишком ничтожен» [3: с. 488].

Обратимся опять к дневнику Кавадзи: «Когда мы предложили еще одну чашку риса или чашечку сакэ<sup>4</sup>, русский переводчик сказал, что японцы будут смеяться над прожорливостью русских. Тактика можно назвать шутником и остроловом: он казался немного пьяным и жестикулировал, показывая, что совсем сыт: сначала поднял руку к горлу, потом к голове, а затем совсем высоко и кивнул головой. (Это означало, что он сыт не только по горло, но по голову, не только по голову, а больше, как будто навалили над головой.) Все дружно расхохотались» [5: с. 103–104].

Об этих подробностях прощального банкета, данного японскими полномочными 23-го января, накануне ухода русской флотилии, Гончаров умалчивает в своем произведении. Писатель, должно быть, находился в хорошем настроении: скучные переговоры с японцами подошли к концу, и можно было возвращаться домой в Россию. Как известно, русская эскадра с началом Крымской войны оказалась в трудных обстоятельствах: в любой момент могли произойти столкновения с превосходившими их силой английскими и французскими флотилиями.

---

<sup>4</sup> Японский рисовый напиток.

## 3

Другим полномочным был Кога Кинъитиро (1816–1884) — известный в то время ученый-конфуцианец. Вместе с тем, признавая прогрессивность и рационализм европейской культуры, он старался ее усвоить. Среди четырех полномочных Кога занимал самую низкую должность консультанта в японской делегации. Он набросал проект ответного послания сёгуната на официальное послание Нессельроде. Можно сказать, что роль Кога почти соответствовала роли Гончарова в русской делегации.



**Рис. 3.** Кога Кинъитиро

Кога тоже описывается в путевых очерках писателя: «Четвертый [Кога] — средних лет; у этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как лопата. На таких лицах можно сразу прочесть, что, кроме ежедневных будничных забот, они о другом думают мало» [3: с. 456]. И далее: «Они [японцы] с удовольствием ели баранину, особенно четвертый полномочный. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам: знак, что желает повторения <...> Пили они [японцы] умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного, мужчины рос-



лого и полного. Тот выпил бокала четыре» [3: с. 474]. В последней цитате отражена реализация собственных принципов Кога. Он пишет в дневнике: «Поэзия, вино и развлечение — все это тоже официальные дела» [6: с. 354]. Почему-то Гончаров относится к Кога довольно строго, а порой даже недоброжелательно.

Кога тоже вел «Дневник командировки на запад», где три раза упоминается Гончаров. Например: «Главный советник, зовут Гончаров, брюхастый варвар, называют так, потому что у него большой живот» [6: с. 244]. Определение «брухастый варвар» комично. Примечательно в этой связи, что за четыре месяца до описываемых обстоятельств сам Гончаров писал Е.П. и Н.А. Майковым: «Что Вам сказать о себе — нечего, разве что я чудовищно потолстел, что иногда бываю так болен своею печенью, что теряю надежду даже воротиться. Недавно такая боль около печени и сердца и вместе такая тоска одолела, что я опасался слечь» [2: с. 676].

Следует отметить, что все японские полномочные считали Гончарова «главным советником».

#### 4

Дальше я попытаюсь проследить ход переговоров по русским и японским источникам.

После трехмесячного безрезультатного пребывания в Нагасаки русские корабли ушли в Шанхай, чтобы пополнить запасы топлива и провизии и собрать сведения о ходе Крымской войны. По японским источникам, этот уход в Шанхай сильно повлиял на путешествие полномочных: те, узнав об уходе русских, остановились в пути на два дня, обсуждая, продолжать ли им путешествие. Но, узнав о возвращении русской эскадры 24-го декабря, заспешили и спустя трое суток, даже не задерживаясь на ночлег, прибыли в Нагасаки. И Кавадзи, и Кубота Мосуй (1817–1877), ученик и сопровождающее Кога лицо, были очень утомлены переходом в 1500 километров, пройденным за 40 дней. Несмотря на то, что нагасакский губернатор откровенно и подробно рассказал русскому послу о трудностях пути, тот ему не поверил и угрожал, что сам отправится в Эдо, если полномочные не придут в бли-

жайшее время. «Фрегат “Паллада”» Гончарова и «Всепогоднейший отчет» Путятина свидетельствуют, что русские понимали обстановку неправильно, хотя их раздражение можно объяснить волокитой, с которой они часто сталкивались в Нагасаки.



Рис. 4. Портрет Путятина, написанный Эгоси Айкитиро, одним из свиты Кога

31-го декабря в официальной резиденции губернатора состоялась первая встреча, после которой был подан обед. У Гончарова читаем об этом: «После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом; гляжу: на дне гвоздичная головка — какое варварство, и еще в стране чая!» [3: с. 464]. Это заблуждение писателя: гвоздичная головка в чае в Японии считается счастливым предзнаменованием, и в данном случае она была положена именно с этим намерением.

3-го января 1854 года японские полномочные в свою очередь посетили «Палладу». Это было, как пишет Гончаров, вообще первое посещение иностранного корабля японцами. Русские с большим усердием занимались приготовлениями к встрече японцев на фрегате: «Мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возни, хлопот, соображений истратилось в эти два дня!» [3: с. 467].

Однако по дневникам Кавадзи, Кога, Кубота и Сэндзю Дайносуке (1815–1878), приближенного удельного князя земли Сага, видно, что приглашение было принято с опасениями, что «Паллада» снимется с якоря и увезет их за границу. Сэндзю записал, что Кога заранее наточил свою тупую саблю [7: с. 15]<sup>5</sup>. А судя по «Всепоподданнейшему отчету» Путятина, русские не заметили и не поняли той настороженности, которую испытывали японцы: «<...> они [полномочные] не только беспрекословно, но с видимым удовольствием приняли мое приглашение посетить фрегат» [1: с. 58].

На банкете того же дня и русские, и японцы здорово повеселились. Гончаров замечает, что Кавадзи начал говорить о женщинах: «Только один из них [японцев], Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема, с бисквитами: он попробовал, должно быть, ему понравилось; он вынул из кармана бумажку, переложил в нее все, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. “Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы, — заметил он. — Нет, это для своих подчиненных”». И далее: «При этом случае разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувствительности, не скрывают и не преследуют этой слабости» [3: с. 474].

Трудно сказать, насколько верно это наблюдение писателя, но о том же самом случае сам Кавадзи писал несколько иначе: «Их [русских] гостеприимство удивительно в самом деле. Так как я раньше слышал, что иностранцы радуются до слез раз-

<sup>5</sup> «Сэйтэй» — псевдоним Сэндзю.

говорам о своих женах, я сказал, что не могу забыть или не вспоминать мою жену-красавицу, оспаривающую первое место по красоте во всей столице. Русские очень обрадовались этой теме и рассмеялись. Посол сказал, что его родина находится еще дальше моей, своей жены он не видел гораздо дольше, чем я, и просил меня посочувствовать ему» [5: с. 72].

Таким образом, что касается разговора о женщинах, обе стороны стараются «свалить вину» друг на друга.

Дальше Гончаров пишет: «Назначать время свидания предоставлено было адмиралу. Один раз он назначил через два дня, но, к удивлению нашему, японцы просили назначить раньше, то есть на другой день. Дело в том, что Кавадзи хотелось в Эдо, к своей супруге, и он торопил переговорами. “Тело здесь, а душа в Эдо”, — говорил он не раз» [3: с. 481].

Однако в защиту Кавадзи надо сказать, что истинная причина спешки заключалась не в его личных интересах, а в тактике японской делегации: не давать русскому посольству времени на размышления и быстрее закончить переговоры. Кога записал в дневнике: «Не желая успеха, мы торопим переговоры» [6: с. 252].

Приведу теперь те места, которые свидетельствуют о проницательности Гончарова. Например: «По их [японцев] словам, сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. Может быть, он умер и в прошлом году, а они сказали, что теперь, в надежде, не уйдем ли. Поверить им трудно: они, может быть, и от своих скрывают такой случай, по крайней мере долго» [3: с. 379].

Двенадцатый сёгун династии Токугава Иёси (1793–1853) скончался 15-го июля 1853 года. Нагасакский губернатор сообщил русскому посольству о его смерти 6-го октября, то есть через два месяца после прибытия русской эскадры в Нагасаки. Проницательный взгляд Гончарова разгадал сущность позиции японцев: японское правительство боялось, что, узнав о смерти сёгуна, иностранные державы воспользуются безвластием и беспомощностью Японии, а собственный народ будет смятен и потрясен кончиной правителя. Поэтому внутри страны о кончине оповестили только через месяц, 14-го августа.

## 5

Во «Фрегате “Паллада”» Гончаров неоднократно возвращается к образу «спящих» Японии и японцев. Обращает на себя внимание то, как часто употребляются слова «сон», «сонный», «спать» и т. п. Например: «Но с странным чувством смотрю я на эти игриво созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения» [3: с. 321]. Или: «Стоят на ногах они [японцы] неуклохе, опустившись корпусом на колени, и большею частью смотрят сонно, вяло: видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее <...> Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости — всего, чем так сознательно владеет европеец» [3: с. 335].

Вместе с тем Гончаров метко улавливает и редкое «пробуждение» Японии. Это именно Кавадзи и такие молодые переводчики, владеющие голландским языком, как Нарабайоси<sup>6</sup>, Эйноске и Съоза<sup>7</sup>. Гончаров писал: «Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какою глядят на нас и на все европейское Эйноске, Съоза, Нарабайоси 2-й, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят и представляют немую, покорную оппозицию: это *jeune Japon* [молодая Япония]» [3: с. 377].

---

<sup>6</sup> Во «Фрегате “Паллада”» выступают два переводчика с голландского, носящие эту фамилию. По всей вероятности, одним из них был Нарабаяси Тэйитиро (1819–1862), а другим — Нарабаяси Эйдзаэмон (1830–1860). Первый представлял девятое поколение из знатного дома Нарабаяси; в 1848 году он стал младшим переводчиком, а в 1859 году — старшим переводчиком. Эйдзаэмон представлял четвертое поколение переводчиков из боковой ветви рода Нарабаяси; в 1853 году стал младшим переводчиком, а в 1857 году — старшим переводчиком; принимал участие в переговорах с М.К. Перри.

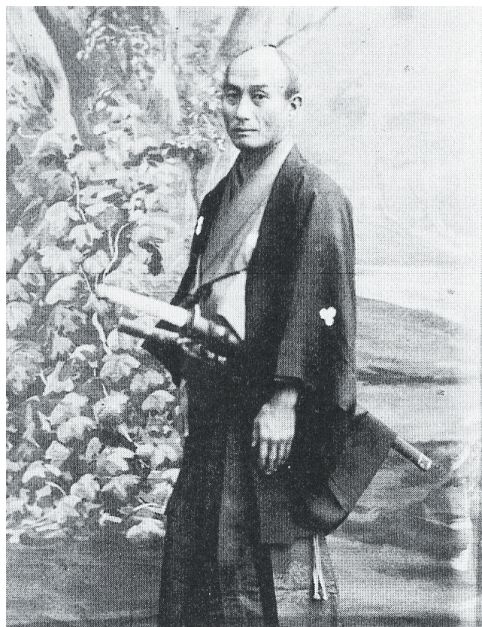
<sup>7</sup> Имеется в виду Мотоки Сёдзо (1824–1875), представлявший шестое поколение переводчиков с голландского языка из дома Мотоки; в 1853 году он стал младшим переводчиком. В 1853–1854 годах Сёдзо был переводчиком во время переговоров с Перри и с Путятиным в Нагасаки и Симода, а в селении Хеда принимал участие в сооружении русской шхуны. Позже Сёдзо построил первый в Японии железнодорожный мост в Нагасаки. Он является также основателем шрифтового печатания в Японии.

Это сопоставление «сна» и «пробуждения» постоянно встречается в произведениях Гончарова. Это, другими словами, сопоставление Азии и Европы, Востока и Запада. А особенность двух глав «Русские в Японии» заключается в том, что сам автор ратует за «пробуждение» и смотрит свысока, с точки зрения западной передовой страны, на восточный «запертой ларец, с потерянным ключом» [3: с. 314].

## 6

Первым представителем «jeune Japon» является Эйноске, то есть старший переводчик (oppertolk) Морияма Эйносукэ (1820–1871). Японские переводчики, владеющие голландским языком, появились в начале XVII века. В этих семьях сыновья наследовали профессию отца, и таких семей было около 30. Переводчики подчинялись нагасакскому губернатору, и в последние годы сёгуната их было уже человек 140. Переводчики, состоявшие в должностях «старшего» и «младшего» (ondertolk) переводчика, занимали центральное положение, но на эти две должности назначалось только по четыре человека, а остальные занимали должности «кандидата в переводчики» (leer ling) и «переводчика со свободной практикой» (particuliere tolk). Эйносукэ владел, кроме голландского, английским языком. Он был одним из ведущих переводчиков в дипломатических переговорах в последние годы правления сёгуната. В 1862–1863 годах Эйносукэ посетил Англию, Голландию, Германию, Россию, Португалию и Францию в качестве переводчика японской делегации, направленной в Европу для переговоров об отсрочке открытия японских городов и портов.

Во время переговоров слова Цуцую переводил Кичибе, а слова Кавадзи, фактического главы японской делегации, — Эйносукэ. Кавадзи высоко оценивал способности своего переводчика: «Эйносукэ — очень способный человек, отлично переводит, он переводит голландские книги так, как будто пишет письмо» [5: с. 50].



**Рис. 5.** Морияма Эйносукэ

Гончаров неоднократно упоминает об Эйносукэ, но он в своей оценке Эйносукэ расходится с Кавадзи. Писатель, признавая талант Эйносукэ, относится к нему с антипатией: «Противнее всех вел себя Эйноске. Он был переводчиком при Кавадзи и потому переводил важнейшую часть переговоров. Он зазнался, едва слушал других полномочных; когда Кавадзи не было, он сидел на стуле развалившись. Вообще не скрывал, что он вырос, и под конец переговоров вел себя гораздо хуже, нежели в начале. Он не прочь и покутить: часто просил шампанского и один раз, при Накамуре<sup>8</sup>, так напился с четырех бокалов, что вздумал было рассуждать сам, не переводить того, что ему говорили; но ему сказали, что возьмут другого переводчика» [3: с. 485].

Резкий контраст Эйносукэ представляет Кичибе, то есть также старший переводчик Ниси Кичибэй (1812–1855). Кичибэй представлял 11-е поколение переводчиков с голландского языка

<sup>8</sup> Накамура Тамэя — старший чиновник, первый в свите Кавадзи.



из дома Ниси. В 1832 году он принимал участие в составлении самого полного в то время «Голландско-японского словаря»; в 1848 году стал старшим переводчиком. Кичибэй работал переводчиком при прибытии голландского, французского, американского и русского кораблей в Японию. В «Нагасакском дневнике» Кавадзи есть интересное описание: «Кичибэй умом уступает Эйносукэ, но говорят, что в последнее время редко встретишь такого способного переводчика. Эйносукэ — ученик Кичибэя. Кичибэй добрый, не любит ссориться. Он больше всех оказывает внимания Эйносукэ и старается остаться в тени, уступая тому все заслуги. Кичибэй очень радуется, когда Эйносукэ пользуется благоволением. Он говорит, что близок к Эйносукэ, но никогда не называет его своим учеником. Эйносукэ часто говорит, что в 8 лет поступил в ученики к Кичибэю. Все это мелочи, но так вести себя крайне трудно» [4: с. 96–97].

Кичибэй тоже нередко упоминается во «Фрегате “Паллада”». В описании Гончарова нет ни слова о способном чиновнике. Напротив, этот японец, ровесник писателя, в противоположность Эйносукэ олицетворяет «сон». Кичибэй признается: «Я люблю ничего не делать, лежать на боку» [3: с. 389]. Его можно назвать «японским Обломовым». Да и пишет о нем Гончаров с неизменным юмором, а подтрунивание лишено язвительности: «Кичибэ не забывался: он показывал зубы, сидел в уголку и хихикал на все стороны. “Хи!” — откликнулся он, быстро оборачиваясь то к тому, то к другому японцу, когда кликали “Кичибэ!”». “Кичибэ!” — кликнул я однажды в шутку. “Хи!” — отозвался он на мою сторону и пополз ко мне, увидев ошибку, добродушно засмеялся и пополз назад» [3: с. 485]. Это «добродушие» как раз и совпадает с характеристикой в дневнике Кавадзи.

Итак, можно сказать, что образы Эйносукэ и Кичибэй являют собой еще один пример сопоставления «ума» и «сердца», которое Гончаров представил уже в «Обыкновенной истории» и затем использовал в последующих произведениях.



### Литература

1. Всеподданнейший отчет генерал-адъютанта графа Путятина о плавании отряда военных судов наших в Японию и Китай. 1852–1855 // Морской сборник. [СПб.], 1856. № 10. Отд. 2.
2. *Гончаров И.А.* Письмо Е.П. и Н.А. Майковым. Нагасаки, 16/27 сентября 1853 г. // Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия: в II т. Т. II. Л.: Наука, 1986. С. 676.
3. *Гончаров И.А.* Фрегат «Паллада» // Гончаров И.А. Полн. собр. соч.: в 20 т. Т. 2. СПб.: Наука, 1997. 747 с.
4. *Кавадзи Тосиакира.* Нагасакский дневник // Сборник древних актов Японии: Документы о внешних сношениях в последние годы правительства сёгуна. Приложения: на яп. яз. Т. 1. Токио: Историографический институт Токийского императорского университета, 1913.
5. *Кавадзи Тосиакира.* Нагасакский дневник. Симодский дневник: на яп. яз. Токио: Хэйбонша, 1986.
6. *Кога Кинъитиро.* Дневник командировки на Запад // Сборник древних актов Японии: Документы о внешних сношениях в последние годы правительства сёгуна. Приложения: на яп. яз. Т. 1. Токио: Историографический институт Токийского императорского университета, 1913.
7. *Сугитани Акира.* По поводу «Личных записок Сэйтэя» // Собрание исторических источников в последние годы правительства сёгуна и в эпоху реставрации Мэйдзи: на яп. яз. Токио: Даитихоки-сюппан, 1991.

### References

1. Vsepoddannejšij otchet general-ad'yutanta grafa Putyatina o plavanii otryada voenny'x sudov nashix v Yaponiyu i Kitaj. 1852–1855 // Morskoy sbornik. [SPb.], 1856. № 10. Otd. 2.
2. *Goncharov I.A.* Pis'mo E.P. i N.A. Majkovy'm. Nagasaki, 16/27 sentyabrya 1853 g. // Fregat «Pallada»: Ocherki puteshestviya: v II t. T. II. L.: Nauka, 1986. S. 676.
3. *Goncharov I.A.* Fregat «Pallada» // Goncharov I.A. Poln. sobr. soch.: v 20 t. T. 2. SPb.: Nauka, 1997. 747 s.
4. *Kavadzi Tosiakira.* Nagasakskij dnevnik // Sbornik drevnix aktov Yaponii: Dokumenty' o vneshnix snosheniyax v poslednie gody' pravitel'stva syoguna. Prilozheniya: na yap. yaz. T. 1. Tokio: Istoriograficheskij institut Tokijskogo imperatorskogo universiteta, 1913.
5. *Kavadzi Tosiakira.* Nagasakskij dnevnik. Simodskij dnevnik: na yap. yaz. Tokio: Xe'jbonsha, 1986.

6. *Koga Kin''itiro*. Dnevnik komandirovki na Zapad // Sbornik drevnix aktov Yaponii: Dokumenty' o vneshnix snosheniyax v poslednie gody' pravitel'stva syoguna. Prilozheniya: na yap. yaz. T. 1. Tokio: Istorio-graficheskij institut Tokijskogo imperatorskogo universiteta, 1913.

7. *Sugitani Akira*. Po povodu «Lichny'x zapisok Se'jte'ya» // Sobranie istoricheskix istochnikov v poslednie gody' pravitel'stva syoguna i v e'poxu restavracii Me'jdzi: na yap. yaz. Tokio: Daiitixoki-syuppan, 1991.

М.Б. Лоскутникова

Московский городской педагогический университет (Россия)

## МОТИВ ДРУГОГО В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Мотив *Другого* играет в романах И.А. Гончарова консолидирующую роль в организации художественного целого, создавая сплав двух уровней носителей стиля — структурно-композиционного и стилистического.

В статье рассмотрены представления о *Другом* главных героев романа «Обыкновенная история». Для Адуева-старшего *Другой* — это не друг и не враг. В его понимании следует жить, как все, при этом *Другой* помогает объективно оценить собственные возможности. Поэтому *Другого* надо уважать и прислушиваться к его мнению (особенно если это талантливый человек). Стратегический жизненный просчет Петра Ивановича состоит в том, что на пути к реализации личных целей он призывал отказаться от любых чувств.

В образе Адуева-младшего Гончаров намеревался развенчать ложно-романтические настроения. Однако писатель создал роман с более широкими смыслами. Дважды Александр идет на завоевание столицы — и оба раза терпит поражение, хотя во втором случае и ему самому, и окружающим восхождение по служебной лестнице представляется победой. Мир Адуева-младшего в результате «завоеваний» превращается в выжженную землю, на которой существует только его *Я* и нет и не может быть места для *Другого*.

*Ключевые слова:* И.А. Гончаров; «Обыкновенная история»; мотив *Другого*; стиль.

М. Loskutnikova

### Motif of the Other in I.A. Goncharov's Novel «An Ordinary Story»

The motive of *the Other* plays in the I.A. Goncharov's novels consolidating role for the art ensemble organization, creating an alloy of two levels of carriers of style — structurally-composite and stylistic.

Representations of protagonists of the novel «An Ordinary Story» about *the Other* are considered in the article. For Adujev-senior *the Other* is not

a friend and not an enemy. In his understanding, it is necessary to live like everybody, thus *the Other* helps to evaluate own possibilities objectively. Therefore one should respect *the Other* and listen to his opinion (especially if he is a talented person). Strategic vital miscalculation of Petr Ivanovich is that on the way to realization of the personal purposes he urged to refuse any feelings.

In the image of Aduiev-younger, Goncharov intended to discredit the false-romantic moods. However the writer had created the novel with broader senses. Twice Alexander goes to the conquest of the capital — and both times fails, though in the second case an ascension on the office ladder seems victory to him and to his surrounding. The world of Aduiev-younger as a result of the «conquests» is a scorched earth on which there is only his *I* and there is not and there can not be a place for *the Other*.

*Keywords:* I.A. Goncharov; «An Ordinary Story»; motif of *the Other*; style.

Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть статус и развитие мотива *Другого* в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Ракурсом исследования является стилевая организация произведения. Актуальность данного подхода к изучению романного творчества писателя определяется тем, что путь к достижению классического стиля, к образцам которого принадлежат романы «Обломов» и «Обрыв», был проложен в первом романе писателя.

Стиль как «последняя реальность художественного лика» [З: с. 153] — это система закономерностей художественной формы произведения, обусловленной авторским «заданием». Классический стиль предполагает, что те ценности, которые исторически выработаны в определенной национальной литературе, наиболее полно и многогранно выражены в творчестве крупных представителей этой культуры. Романное творчество Гончарова, наряду с прозой И.С. Тургенева, А.П. Чехова, И.А. Бунина, признано фактом пластического развития классического национального стиля в отечественной словесности. Вместе с тем названные великие авторы создали неповторимые художественные миры. Выявлению специфики стиля романов Гончарова и особенностей его формирования способствует исследование мотива *Другого*.

## Сравнение как детерминант носителей стиля в романах И.А. Гончарова

Телеология гончаровского романного стиля диктует обращение к сознанию *Другого* и фактам национального бытия. Отсюда значимые функции героя в сюжетосложении, предусматривающие взаимодействие с инокультурным восприятием действительности, и «всеведающие» функции повествователя. Такая авторская установка, идущая от стилевых факторов, находит адекватное разрешение в носителях стиля — на композиционно-архитектоническом и стилистическом уровнях. Гармоничность стиля в романах Гончарова обнаруживает себя в том, что на этих уровнях воплощения художественной идеи усилия автора подчиняются изоморфным требованиям: в поэтической природе романистики писателя на структурно-композиционном уровне заложены требования *сравнительно-сопоставительного изображения* всех характеров и объектов действительности, а на уровне стилистики как художественной ткани романов образ создается в первую очередь с использованием *речевой фигуры сравнения*.

О композиционно-архитектонических принципах организации романов Гончарова и заложенном в их структуре сопоставлении писали неоднократно. Наиболее последовательно этот вопрос рассмотрен В.А. Недзвецким, который писал о том, что «различные *сопоставления* и *противопоставления* основных структурных единиц», а также «*повторы* или вариации ряда опорных ситуаций и сцен» и романские «*лейтмотивы*» стали в романах Гончарова «самыми результативными» [7: с. 45]. Этот принцип сопоставления и противопоставления отличает «конструкцию» романов Гончарова от построения романов иных русских авторов.

Спецификой гармонизированного романного стиля Гончарова является то, что указанный композиционно-архитектонический принцип во всех трех романах поддержан сравнением как фигурой речи. В научной литературе отмечено наблюдение над стилистикой романа «Обломов» («вся повествовательная ткань» произведения «состоит из целой системы <...> сравнений» [8: с. 100]), но этот тезис в последующие десятилетия долгое время находился в тени.

В романе «Обыкновенная история» более 460 сравнений<sup>1</sup>. Для осознания этой цифры в отношении к массиву текста можно обратиться к аналогичным количественно-статистическим данным в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», в котором более 600 сравнений [2: с. 155].

### *Другой* в понимании Петра Адуева

Художественная идея романа «Обыкновенная история» вызвана и обеспечена противостоением вокруг позиции «быть или не быть» как *Другой*, как все. В первом крупном произведении писателя на этом основана концепция обыкновенности / необыкновенности. Напоминание о *Другом* становится структурообразующим в изображении борьбы двух миропониманий (прагматизма и романтических настроений): это сюжетные вехи, структурные метки на пути движения авторской мысли. «Необыкновенность» Петра Адуева остается вне романного действия (с момента его приезда в Петербург и до момента появления там племянника Александра прошло семнадцать лет). С началом сюжетного конфликтообразования Адуев-старший предлагает Александру помощь в сочинении письма и, характеризуя самого себя, диктует: «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как и все, <...> только не совсем похож на нас с тобой» [1: с. 217]. Петр Иванович внушает Александру: надо быть «попроще, как все», и «ты будешь любить, как и другие, ни глубже, ни сильнее», «ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю», и даже поэт не заклеял «особенною печатью» — это такой же человек, как все: «так же глядит, ходит, думает и делает глупости, как другие» [1: с. 208, 240, 268, 223]. Оценивая способности племянника, знающего, в частности, три языка, дядя с удовлетворением говорит: «Поздравляю тебя, давно бы ты сказал: из тебя можно многое сделать» и констатирует: «другие начинали и хуже», однако

---

<sup>1</sup> Уточним, что при подсчете фигур сравнения в романах Гончарова нет принципиальной необходимости входить в особенности разноречия, поскольку речь повествователя и речь персонажей находятся в постоянном взаимодействии (см.: [6; 9]).

уточняет и дважды повторяет: вот если обнаружится талант — «тогда другое дело» [1: с. 225]. Перед временным возвращением племянника домой, в Грачи, в разговоре о любви и привычке Петр Иванович заключает: «...ты не хуже других и не лучше, чего я и хотел от тебя»; «Делай все, как другие, — и судьба не обойдет тебя <...>. Смешно вообразать себя особенным, великим человеком»; «Чего я требовал от тебя — не я все это выдумал» [1: с. 423, 421].

Таким образом, в понимании Петра Ивановича, *Другой* — это спектр определенных характеристик, и прежде всего осознание, что это человек посторонний, но похожий на тебя самого: факт обыденно-привычный, житейский, рядовой, общепринятый. *Другой* — «это общий порядок» [1: с. 419]. Поэтому *Другой* вызывает в каждом, и тем более в оппоненте, необходимость соответствовать некой норме, в силу чего формируется потребность расти и добиваться целей. Более того, *Другой* может быть человеком талантливым, даже гениальным, вызывающим не только уважение, но и восхищение. В разговоре с племянником о творцах и ремесленниках, спровоцированном заявлением Александра о том, что только в поэте «таится присутствие высшей силы», Адуев-старший спокойно и со знанием дела утверждает, что эта сила есть «иногда и в других — и в математике, и в часовщике, и в нашем брате, заводчике» [1: с. 223]. Петр Иванович подчеркивает, что «Ньютон, Гутенберг, Вагт так же были одарены высшей силой, как Шекспир, Дант и прочие» [1: с. 223]. Отвергнув упрек племянника в смешении искусства и ремесла, Адуев-старший не столько размышляет, сколько резюмирует: «Искусство само по себе, ремесло само по себе, а творчество может быть и в том, и в другом, так же точно, как и не быть. Если нет его, так ремесленник так и называется ремесленник, а не творец, и поэт без творчества уж не поэт, а сочинитель...» [1: с. 223].

Петр Иванович утверждает, что надо всего добиваться в жизни самому, без оглядки на *Другого*: «Надо уметь и чувствовать и думать, словом, жить одному; со временем понадобится» [1: с. 207]. «Если ты думал что-нибудь другое, так объяснись...» [1: с. 207], — обращается он к Александру. И услышав, что это «другое» состав-

ляет для племянника желание «пользоваться жизнью», жестоко высмеивает его: «не стоило труда ездить так далеко», «напрасно ты приезжал» [1: с. 207]. Дядя настаивает: *Другой* (в том числе и он, дядя) «тебе не нянька» [1: с. 219]. Адуев-старший утверждает, что «мечтать здесь некогда», что в Петербург ездят «дело делать» [1: с. 209]. В проведении в жизнь этого своего девиза, являющегося целеполагающим лозунгом и для других (но «подобных нам», — говорит он [1: с. 209]) деловых людей, Петр Иванович видит смысл существования.

Вместе с тем дядя учит племянника, что надо разбираться в людях. «Глупая восторженность» [1: с. 211] Александра не позволяет ему видеть жизнь в ее настоящих пропорциях и масштабах, а людей — в истинном свете. К *Другому* необходимо внимательно-осмотрительное отношение. Может оказаться всякое, например то, что помощник столоначальника — картежник, а сам столоначальник берет деньги взаймы и не возвращает [1: с. 229]. Адуев-старший наставляет: «А ты думал, что <...> около тебя ангелы сидят! *Искренние излияния, особенное влечение!* Как, кажется, не подумать о том прежде: не мерзавцы ли какие-нибудь около?» [1: с. 229].

В любом случае, считает Петр Иванович, *Другой* подталкивает человека к четкости в формулировке мысли, к ясности видения перспектив, к трезвости взгляда на мир. В силу наделения Адуева-старшего таким рациональным осознанием человека и действительности Гончаров формирует кольцевую структуру в отношении понимания Петром Ивановичем степени близости с племянником. Так, если в день первой встречи Адуев-старший провозглашает: «...ты и я — большая разница», то в эпилоге признает: «Ты весь в меня»; если в первые минуты знакомства «мощной рукой» держит Александра «в некотором удалении от себя» и не позволяет ему ни в тот момент, ни во все последующие годы обнять себя, то в эпилоге впадает в «необыкновенный случай» — обнимает племянника [1: с. 208, 201, 468–469].

Однако программное невмешательство Петра Ивановича «в чужие дела» [1: с. 219] оборачивается холодностью и равнодушием, выжигающими живые начала и в душе Александра,



и в душе самого близкого из *Других* — жены Лизаветы Александровны. Утверждение о взаимоотношениях с Александром: «мы начинаем привыкать друг к другу» [1: с. 217] — исчерпывает для Адуева-старшего родственные связи; друзьями он называет тех, с кем чаще видится, кто доставляет «или пользу, или удовольствие», дружба для него тоже «привычка» [1: с. 250, 422]. В кульминационной сцене романа Лизавета Александровна спрашивает мужа, любит ли он людей, и получает ответ: «Привык... к ним» [1: с. 420]. Слово «привык» Лизавета Александровна повторила за мужем «монотонно»; но, когда Петр Иванович признался: «...очень люблю себя», она «холодно заметила»: «А! тут *любишь*, а не *привык!*» [1: с. 420].

Убежденный, что как в родственных и дружеских, так и в супружеских отношениях можно ограничиться привычкой и расчетом, сознательно избегнув любви, Петр Иванович в романном эпилоге показан растерянным — в связи с болезнью жены. Он с болью говорит, что знает о жене всё: «ее вкус, привычки», и, не реагируя на замечания доктора о «славном» доме, «чудесном» поваре, сигарах и хересе, который Адуеву-старшему регулярно присылают из Лондона, продолжает свою мысль о высоком (что категорически не сделал бы раньше), да еще и «с несвойственным ему жаром»: «Как коварна судьба, доктор! <...> при всех удачах, на такой карьере... А!» [1: с. 455].

В эпилоге Александр напоминает дяде его поучение: «...женишься по любви, <...> любовь пройдет, и будешь жить привычкой; женишься не по любви — и придешь к тому же результату: привыкнешь к жене» и заключает: «Из этого следует, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главным...» [1: с. 464]. Но дядя реагирует на это «свирепо», делая «зверское лицо»; повествователь как наблюдатель этой сцены указывает: «Лицо Петра Ивановича начало свирепеть» [1: с. 464, 467]. Действительно, Адуев-старший решил ради жены (которая «была необходима ему <...> наравне с прочими необходимостями жизни, необходима по привычке» [1: с. 460]) и выйти в отставку, и продать свой завод. Однако в ответ на свое утверждение: «...а ведь ты любишь же меня...» — он получает слова, произнесенные «рассеянно» и

с настораживающей и уязвляющей паузой: «Да, я очень... привыкла к тебе» [1: с. 466].

Таким образом, для делового человека, заводчика *Другой* — это не друг и не враг. Петр Иванович прагматически полагает, что следует жить, как все, — полагаясь на себя, трезво себя оценивая, однако при необходимости способствуя такому выстраиванию обстоятельств, чтобы они соответствовали тому, что лежит в узко-личных интересах человека. *Другой* помогает объективно и порой нелицеприятно оценить собственные возможности; *Другого* надо уважать и прислушиваться к его мнению (особенно если это талантливый человек). Однако, по мнению Петра Ивановича, на пути к реализации собственных целей следует совершенно отказаться от каких бы то ни было чувств и руководствоваться лишь расчетом.

В конечном итоге последнее оборачивается против Адуева-старшего, поскольку холодность Петра Ивановича вымораживает всё и всех, прежде всего из его близкого окружения. Его племянник Александр теряет способность чувствовать настроение и даже боль любого *Другого*, а Лизавета Александровна заболевает, лишившись интереса к такой — *другой*, не соответствующей ее представлениям — жизни. Расчет Петра Ивановича оказывается в конечном счете неверным.

Испытывая несомненную симпатию к трезво мыслящему, всю жизнь неустанно работающему, всего в своей жизни добившемуся собственным трудом, знаниями, силой воли Петру Ивановичу, Гончаров вместе с тем глубоко сочувствует ему как человеку, допустившему стратегический жизненный просчет.

### Представления Александра Адуева о *Другом* и их динамика

Расставание Александра Адуева с грезами о своей необыкновенности составляет романную фабулу и происходит на глазах у читателя. Уже провожая сына в Петербург, мать учит его: «Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь — ведь мы не хуже других» [1: с. 182]. Оказавшись в столице и постоянно сравнивая

жизнь в Петербурге и в родном губернском городе, Александр удручен: здесь «суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой», «здесь так взглядом и сталкивают прочь дороги, как будто все враги между собою» [1: с. 203, 204]. Однако Александр жаждет этой жизни: «И суматоха и толпа — всё в глазах его получило другое значение» [1: с. 206]. Хотя ему и «грустно в толпе», он восторженно рассказывает дяде, что «готов слиться» с нею — с «разумно-деятельной толпой» [1: с. 207, 209]. Но со временем Адуев-младший утрачивает свою открытость. «Толпа» вызывает у него презрение. В юношеском растерянном и одновременно высокомерном непонимании самого себя и расстановки сил Александр начинает избегать «толпы, как он говорил», «беседовать с своим я было для него высшею отрадой» [1: с. 265]. Наконец, даже дружба стала для него «другая глупость» [1: с. 389]. В результате *другие* для Александра — люди либо невзрачные, неяркие, неталантливые, серые, зашоренные, даже смешные (как Костюков с его «плоскими шутками» [1: с. 410]), не представляющие собой индивидуальности, а являющие только часть толпы, либо — как представители той же толпы — чужие, даже опасные и враждебные, вызывающие состояние беспокойства, настороженности, тревоги. Но и сам Александр воспринимается окружающими как человек, который поведет себя, «подобно множеству других», — «как вот тот, или <...> как этот» [1: с. 234].

Гончаров дает Александру право и возможность пережить то, что в романе «Обломов» станет для Ильи Ильича неразрешимой проблемой, — чиновничьи будни, и вводит мотив сна. Все Александру чужды, всё — «толпа» и «блеск мишуры, лжи, притворства» [1: с. 410]. Так, в разговоре с Лизаветой Александровной Адуев-младший сетует, что стал «мелок, ничтожен в собственных глазах»: «Я ничего не хочу, не ищу, кроме покоя, сна души» [1: с. 414, 415]. Однако, в отличие от Обломова, Адуев-младший романтически экзальтирован: «...не лучше ли спать и умом и сердцем? Я и сплю» [1: с. 414]. После замечательного концерта «европейской знаменитости» («худощавого немца») Александр исповедуется тетушке: «Я бежал толпы,

презирал ее, — а этот немец, с своей глубокой, сильной душой, с поэтической натурой, не отрекается от мира и не бежит от толпы» [1: с. 415, 412, 410].

Важнейшей частью жизни Александра являются чувства. В течение всего первого периода жизни в Петербурге (до временного отъезда в родные места, в Грачи) молодой человек лелеет надежды на свою необыкновенность, и в избраннице он по определению отрицает ординарность. Любовь к Наденьке Любецкой основана на том, что она «не совсем похожа на других» [1: с. 217], а разочарование в ней, вызванное ее непостоянством (связанным с графом Новинским), объясняется тем, что она «как другие, как все!...» [1: с. 283].

История с Юлией Тафаевой иная. Спровоцированное дядей знакомство с молодой женщиной, вдовой «обыкновенного мужа» — «делового человека» [1: с. 366], обнаруживает в Адуеве-младшем новые чувства. Александр думает о том, что *Другой* может быть таким «любимым существом», о котором говорят: «Это как будто двойник» [1: с. 360]. В таком случае «все поверяется впечатлением другого, своего двойника», при этом «двойник отказывается от собственных ощущений, если они не могут быть разделены или приняты другим. Он любит то, что любит другой, и ненавидит, что тот ненавидит» [1: с. 360]. Так мотив *Другого* трансформируется в мотив двойника.

Писатель использует прием наложения персонажного сознания на сознание повествователя (прием, который в дальнейшем, в романах «Обломов» и «Обрыв», получит широкое применение). Повествователь и тем самым Александр задаются вопросом: «Были ли он счастлив [во взаимоотношениях с Юлией]?». «Всеведущий» повествователь отвечает: «Про других можно сказать в таком случае и *да* и *нет*, а про него [Александра] *нет*» [1: с. 368]. Как в истории с Наденькой Любецкой, молодой человек ожидал, по его выражению, «удара судьбы», однако «ни измены, ни *удара судьбы* не было: случилось совсем другое» [1: с. 368]. По отношению друг к другу Юлия и Александр начинают вести себя как деспоты, причем «что значили ее ревность и деспотизм в сравне-

нии с деспотизмом Александра?» [1: с. 371]. Молодой человек говорит себе: «Желать и испытывать было нечего», избранница ведет себя «как жертва», как «бесхарактерная женщина» [1: с. 373]. Поначалу он боится признаться себе, что Юлия отныне для него — как все (т. е. уже неинтересна ему), и на ее вопрос: «Что с вами?» — отвечает «вяло»: «Я не знаю...», «мне что-то... как будто я...» [1: с. 374] — и не находит сравнения.

Наконец, в истории с Лизой (Антигоной) Александр ведет себя уже как соблазнитель, и в результате застигнут отцом девушки — «как и всякий вор, пойманный на деле» [1: с. 407]. Однако и для Лизы, привыкшей к вниманию молодых людей, встречи и не встречи с Александром — это нечто новое и «совсем другое»: ее «обыкновенный прием» завоевания внимания ей не удался [1: с. 390, 400]. Столкнулись два игрока чужими чувствами, и победил Александр.

Все эти годы в Петербурге Александр живет с «отрадной мыслью» «о другом, высшем призвании» — быть писателем [1: с. 234]. Однако реализовать себя в этом качестве ему не удалось. Молодой человек признается: «У меня таланта нет, решительно нет» [1: с. 417]. Обвиняя дядю в разрушении своих иллюзий, Александр бросает ему: «...вы научили меня не чувствовать, а разбирать, рассматривать и остерегаться людей», в результате «я рассмотрел их — и разлюбил!», равно как «возненавидел и себя» [1: с. 420]. На это Адуев-старший спокойно ответил: «Видишь, ведь ты какой прыткий: я думал, что ты <...> будешь только снисходительнее к ним [к людям]. Я вот знаю их, да не возненавидел» [1: с. 420]. Более того, дядя убежден: «Другой, на твоём месте, благословил бы судьбу», в том числе и потому, что «друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают: не фальшивые» [1: с. 421]. Адуев-старший настаивает, что в понятие «толпа», о которой постоянно говорит Александр, надо вкладывать иное содержание, нежели это делает племянник: «Посмотри кругом: рассмотри массу — *толпу*, как ты называешь ее — не ту, что в деревне живет: туда это долго не дойдет, а современную, образованную, мыслящую и действующую: чего она хочет и к чему

стремится? как мыслит?» [1: с. 421]. Адуев-старший произносит приговор: с такой «непривычкой к новому порядку», не преодоленной за восемь лет пребывания в Петербурге, лучше вернуться в родные края [1: с. 422].

Попытка штурма Петербурга не удалась. Возвратившись домой, в Грачи, Александр «узкий щегольской фрак <...> заменил широким халатом домашней работы» [1: с. 447]. Гончаров предвосхищает изображение конкретики обломовских традиций, введя не только эту костюмно-портретную деталь, но и указание на то, что «во двор *ходить за барином*» была взята девушка Маша [1: с. 447]. Однако если Обломов в дальнейшем будет произносить монолог о том, как он «гаснул» в Петербурге, Александр Адуев приходит к тому, что «гаснет» здесь, в родных местах: «...что я здесь делаю? <...> за что вяну? Зачем гаснут мои дарования?» [1: с. 448]. В Грачах Александр испытывает удивление: «другие» воспоминания, «другая картина» [1: с. 446] проходят перед глазами. Ему «скучно — по Петербургу» [1: с. 448]. Он хочет «блистать <...> своим трудом», тем более что в Петербурге «тот и другой — все вышли в люди» [1: с. 448].

В течение полутора лет, а потом нескольких месяцев после смерти матери [1: с. 348, 350] герой переосмысляет себя и обстановку (что остается вне широкого прямого изображения). Автором подается результат: спустя время в Петербург к дяде и к Лизавете Александровне летят два письма. В послании тетушке молодой человек пишет: «...к вам приедет не сумасброд, не мечтатель, не разочарованный, не провинциал, а просто человек, каких в Петербурге много и каким бы давно мне пора быть. Когда смотрю на прошлую жизнь, мне становится неловко, стыдно и других, и самого себя» [1: с. 449].

Эпилог романа отделен от финала произведения, завершающегося этими письмами и знаменующего возвращение Александра в Петербург, четырьмя годами. Адуев-младший в финале и он же в эпилоге значительно разнятся. Причем писатель подает эти разительные перемены, совершенные «по следам» [1: с. 463] Адуева-старшего, в сюжетном умолчании. В эпилоге Александр смеется над своей «глупой мечтательностью» [1: с. 467].

Теперь его карьера развивается успешно, он зарабатывает «много денег» [1: с. 468], а посватавшись к богатой невесте, получает радостное согласие ее отца. При этом чувства девушки его не интересуют: ведет себя «она... так, как, знаете, все девицы» [1: с. 463]. Более того, узнав, что дядя по причине болезни жены подает в отставку, «в изумлении» восклицает: «Что вы, дядюшка! <...> ведь вам нынешний год следует в тайные советники...» [1: с. 467], — и на этом его интерес к Лизавете Александровне заканчивается.

Таким образом, Гончаров, создавая произведение, в котором намеревался развенчать ложно-романтические, нежизнеспособные, противоречащие реальному бытию настроения, создал романное здание, наполненное гораздо более широкими смыслами. Дважды Александр Адуев идет на завоевание столицы — и оба раза терпит поражение, хотя во втором случае и ему самому, и окружающим (прежде всего дяде Петру Ивановичу, будущему тестю и проч.) восхождение по служебной лестнице и ожидаемая выгодная женитьба на девушке, чувства которой к нему, Александру, его даже не интересуют, представляется победой. В понимании Александра, годами воспитываемом в нем Петром Ивановичем, он добился цели — стал как все, а точнее — как *тот Другой*, который добился фортуны.

Однако «школа» родного дяди, согласно убеждениям которого следует идти по жизни только с прагматическим расчетом, выхолостила в Александре душу. Если в самом Петре Ивановиче живые чувства не угасли, то его насаждаемые «уроки» произвели в сердце и в сознании племянника разрушительно-опустошающее действие. Мир Адуева-младшего в результате «завоеваний» представляет собой выжженную землю, на которой существует только его *Я* и нет и не может быть места для *Другого*.

В результате, если к Петру Ивановичу создатель романа сохраняет теплые чувства, то Александр становится ему неинтересен — вследствие *обыкновенной*, как горько-иронически сетует автор, *истории* его жизненного пути.



### «Боковые» линии развития мотива *Другого*

Генеральная линия мотива *Другого* в образах старшего и младшего Адуевых сопровождается «боковыми» ответвлениями, преломляемыми прежде всего в образе Лизаветы Александровны. Она, указывает повествователь, «была свидетельницей двух страшных крайностей — в племяннике и муже»: «Один восторжен до сумасбродства, другой — ледян до ожесточения» [1: с. 315]. Гончарову было важно показать, что Лизавета Александровна «с героическим самоотвержением таила свою грусть, да еще находила довольно сил, чтоб утешать других» [1: с. 315]. Именно ей дано понять, что люди (и ее муж в том числе) оценивают *Другого* по себе. Суждение повествователя о Петре Ивановиче: «Он был враг всяких эффектов — это бы хорошо; но он не любил и искренних проявлений сердца, не верил этой потребности и в других» — находит свое продолжение в словах Лизаветы Александровны, обращенных к мужу: «...ты не хочешь верить существованию такой любви и в других» [1: с. 314, 325]. В эпилоге к Александру обращены ее слова: «...теперь вы умны и благородны по-другому, не по-моему...» [1: с. 467].

Мотив *Другого* переплетен с мотивом Судьбы. Лизавета Александровна в разговоре с мужем говорит о «насмешке судьбы» [1: с. 320]. Александр приходит к мысли о том, что «часто, в момент достижения желаемого, судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не хочешь» [1: с. 390]. Петр Иванович, в связи с нездоровьем жены выходя в отставку, позиционирует себя фаталистом: «...судьба не велит идти дальше...» [1: с. 468]. Повествователь с горькой иронией солидаризируется с героями: «судьба не дремала» [1: с. 410].

Наряду с развитием мотива *Другого* в трех центральных характерах Гончарову важен ряд иных разноплановых акцентов. В стилистической маркировке местоимением «другой» на первый план выдвинуты многообразные суждения повествователя, сценических и внесценических персонажей: от суждений о «другом» деле до размышления о «другой, высшей красоте» в «северных красавицах» и др. [1: с. 335, 456].

## Единство и различия мотива *Другого* в романах писателя

Мотив *Другого* получает глубинную разработку в романе «Обломов». Пунктирная стилистическая маркировка мотива местоимением «другой», как и в романе «Обыкновенная история», отмечает сюжетные вехи произведения. Однако вектор изображения диаметрально противоположен вектору первого романа: Обломов не хочет быть, как все, — хотя такая прямолинейная дешифровка мотива ни в коей мере не исчерпывает произведения, поскольку семантика мотива качественно наращена [4].

В романе «Обрыв» картина иная. Изображаемая эпоха ознменована отрешением от «сна». Центральной проблемой произведения становится осознание персонажами свободы — у каждого человека разной, *Другой*. В силу этого Гончаров сравнивает всех со всеми, горстями разбрасывая маркеры «другой». Мелькание этого маркера простирается на понимание героями судьбы и случая, ценностей любви и дружбы, труда и творчества. В этом последнем гончаровском романе мощно звучат интертекстуальные мотивы, которые были намечены в первом романе и актуализированы во втором [5].

Таким образом, гармонизированное воплощение Гончаровым своего художественного мира происходит на путях структурно-композиционных сопоставлений и противопоставлений при поддержке этого приема сравнением как стилистическим приемом. В результате мотив сравнения с *Другим* играет консолидирующую роль в организации художественного целого в романах писателя, создавая сплав двух уровней носителей стиля — структурно-композиционного и стилистического.

### Литература

1. Гончаров И.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. / Ред. колл.: В.А. Котельников, Е.А. Краснощекова, Т.И. Орнатская, М.В. Отрадин, К. Савада, Н.Н. Скатов, П. Тигрен, В.А. Туниманов. Т. 1. СПб.: Наука, 1997. С. 172–469.

2. Громова О.Ю. Сравнения в «Войне и мире» Л.Н. Толстого // Поэтика литературного произведения / Под ред. Г.И. Романовой. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 154–168.

3. *Лосев А.Ф.* Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стил. Выражение / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ. ред. А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1995. С. 5–296.
4. *Лоскутникова М.Б.* Мотив *Другого* в романе И.А. Гончарова «Обломов» // Вестник ЦМО МГУ. Серия Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2010. № 3. С. 95–100.
5. *Лоскутникова М.Б.* Мотив *Другого* в романе И.А. Гончарова «Обрыв» (в свете становления функциональных особенностей мотива в трилогии писателя) // *Literatūra: Rusistica Vilnensis: Mokslo darbai*. Vilnius: VU leidykla, 2012. Nr. 54 (2). P. 75–87.
6. *Маркович В.М.* «Чужая» речь и взаимодействие речевых манер в романе Гончарова «Обыкновенная история» // Научные доклады высшей школы: Филологические науки. 1982. № 2. С. 58–66.
7. *Недзвецкий В.А.* Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 224 с.
8. *Пруцков Н.И.* Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 235 с.
9. *Фаворин В.К.* О взаимодействии авторской речи и речи персонажей в языке трилогии Гончарова // Известия АН СССР. Отд-е лит. и языка. 1950. Т. IX. Вып. 5. С. 351–361.

### References

1. *Goncharov I.A.* Poln. sobr. soch. i pisem: v 20 t. / Red. koll.: V.A. Kotel'nikov, E.A. Krasnoshheкова, T.I. Ornatskaya, M.V. Otradin, K. Savada, N.N. Skatov, P. Tigren, V.A. Tunimanov. T. 1. SPb.: Nauka, 1997. S. 172–469.
2. *Gromova O.Yu.* Sravneniya v «Vojne i mire» L.N. Tolstogo // *Poe'tika literaturnogo proizvedeniya / Pod red. G.I. Romanovoj*. M.: MAKSPress, 2010. S. 154–168.
3. *Losev A.F.* Dialektika xudozhestvennoj formy' // Losev A.F. Forma. Stil'. Vy'razhenie / Sost. A.A. Taxo-Godi; obshh. red. A.A. Taxo-Godi i I.I. Maxan'kova. M.: My'sl', 1995. S. 5–296.
4. *Loskutnikova M.B.* Motiv Drugogo v romane I.A. Goncharova «Oblomov» // Vestnik CMO MGU. Seriya Filologiya. Kul'turologiya. Pedagogika. Metodika. 2010. № 3. S. 95–100.
5. *Loskutnikova M.B.* Motiv Drugogo v romane I.A. Goncharova «Obryv'v» (v svete stanovleniya funkcional'ny'x osobennostej motiva v trilogii pisatelya) // *Literatūra: Rusistica Vilnensis: Mokslo darbai*. Vilnius: VU leidykla, 2012. Nr. 54 (2). R. 75–87.

6. *Markovich V.M.* «Chuzhaya» rech' i vzaimodejstvie rechevy'x maner v romane Goncharova «Oby'knovennaya istoriya» // Nauchny'e doklady' vy'sshej shkoly': Filologicheskie nauki. 1982. № 2. S. 58–66.

7. *Nedzveczkij V.A.* Roman I.A. Goncharova «Oblomov»: Putevoditel' po tekstu. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2010. 224 s.

8. *Pruczkov N.I.* Masterstvo Goncharova-romanista. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1962. 235 s.

9. *Favorin V.K.* O vzaimodejstvii avtorskoj rechi i rechi personazhej v yazy'ke trilogii Goncharova // Izvestiya AN SSSR. Otd-e lit. i yazy'ka. 1950. T. IX. Vy'p. 5. S. 351–361.

*М. Романенкова*

Литовский эдукологический университет (Литва)

## **НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ (на материале русской и литовской литератур)**

В статье, в качестве вводных замечаний к раскрытию темы, рассматривается актуальность проблемы национальной идентичности в гуманитарной научной сфере. Предметом рассмотрения являются некоторые современные литературоведческие тенденции (методы и методологические подходы) в изучении этой проблемы. Разделяя точку зрения на литературу как на релевантный источник материала для изучения национальной идентичности (М.К. Попова) и учитывая современные российские и литовские литературоведческие интерпретации, в данной статье проводится сравнительный анализ произведений русской и литовской постмодернистской литературы (Вен. Ерофеева, Р. Гавялиса, Ю. Кунчинаса) с целью представить национальные варианты «конструирования» идентичности в советском обществе 1960–1980-х годов XX века. Объектом анализа является художественная функция столичных городов — Москвы и Вильнюса: анализируется корреляция архитектурных метафор государственной власти и этнокультурного своеобразия — как советского идентификационного пространства в проекции на личностную национальную идентичность. Как показало исследование, критерии национальной идентификации в художественном произведении трансформируются в знаки культурного пространства, и этот процесс в значительной степени реализуется как идентификация этнокультурная, что может быть интерпретировано как компенсирующая и защитная реакция на кризис «советской» идентичности. Представляется, что проведенный анализ произведений двух литератур позволит уточнить представление о культурной составляющей в компаративном литературоведческом исследовании, а также сделать новые наблюдения над соотношением тенденций глобализма и национального в перспективе изучения типов национальной идентичности в европейской литературе и культуре.

*Ключевые слова:* национальная идентичность; русско-литовские литературные связи; советская столица; постмодернистское культурное пространство.

*M. Romanenkova*

### **National Identity in Comparative Research (of Lithuanian and Russian Literatures)**

This article opens up with an account of topicality of the issue of national identity in humanities. The subject of the analysis are some contemporary trends (methods and methodological approaches) of the research of this problem. Sharing the point of view that literature is a relevant data source for a research into national identity (M.K. Popova) including both contemporary Russian and Lithuanian literary critical interpretations, the comparative analysis of several works of Russian and Lithuanian postmodernist fiction (Ven. Erofeyev, R. Gavelis, J. Kunčinas) is presented in this article with an intention of representing national variants of the identity “engineering” in the Soviet society of 1960–1980-es. The object of the analysis is the artistic function of capital cities: Moscow and Vilnius. The analysis is focused on correlations of architectural metaphors of state power and ethnocultural specificities, and particularly, the projection of the Soviet identification space on personal national identity. It follows from this research that the criteria of national identification within an artwork are transformed into signs of cultural space; this process mostly appears as an ethnocultural identification, which fact may be interpreted as a compensatory and protective reaction to the crisis of the “Soviet” identity. This analysis of works of two different literatures enables to specify the notion of the cultural component in comparative literary research and to reassess the correlation of the globalist and nationalist tendencies in the perspective of studying the types of national identity in the European literature and culture.

*Keywords:* national identity; Russian-Lithuanian literary connections; Soviet capital; postmodernist cultural space.

### **Вводные замечания**

Статья обращена к анализу национальной идентичности в художественном произведении, и потому вначале необходимо сделать несколько замечаний относительно связи гуманитарных и, в частности, литературоведческих проблем с насущными для современности проблемами глобализации и культуры. Оживление интереса к проблеме национальной идентичности и ее осмыслению в гуманитарных науках последнего десятилетия — важная и интересная исследовательская тенденция, отражающая

новые приоритеты и направления. Это вызвано прежде всего происходящими геополитическими процессами. По словам философа и культуролога В. Куренного, «очевидно, что сейчас мы наблюдаем в Европе очень мощную волну националистических настроений. В каких-то странах она поднялась раньше, где-то только набирает обороты. <...> Национализм <...> — неотъемлемый элемент современности. Сказать, что Европа упразднила национализм своим проектом единого европейского пространства, конечно, неверно. Напротив, внутри этого проекта мы видим где-то возрождение, а где-то и рождение национализма. На фоне возрастающих экономических и миграционных проблем все громче звучат голоса, призывающие к той или иной форме восстановления национальных границ» [6]. Стремление граждан европейских стран во что бы то ни стало сохранить национальную идентичность заставляет философов, политологов, социологов, культурологов и других гуманитариев ставить под сомнение методы политики мультикультурализма и выявлять причины актуализации идеи национализма. Очевидно, что речь идет не о возврате к крайним формулировкам в трактовке национального, но об учете ретроспективной составляющей проблемы, а также о необходимости формирования каких-то новых видов и форм национальной идентичности в современной западноевропейской культуре [6].

Из актуальных публикаций последнего времени отметим сборник «Нация, язык и идентичность» («Tauta, kalba ir tapatybė», 2013) [29], посвященный проблемам национальной идентичности в Литве, ее динамики, значению языка как основы национального (само)сознания. В аннотации автор книги А. Норвилас подчеркивает, что ее появление было вызвано новой волной интереса к вопросам идентичности.

### **Теоретические предпосылки**

Современные процессы позволяют глубже осознать сложность и многоаспектность проблемы национальной идентичности и литературы. Постмодернистское мышление, разрушившее



идею системной иерархии как организационной непреложности, внесло в понятия культуры, культурной целостности, культурного пространства семантику процессуальности, гетерогенности. По словам Н.В. Тишуниной, «в современном понимании целостность — это готовность к взаимодействию элементов структуры или системы. И поэтому целостность содержит в себе ту множественность, которая в динамике развития культуры все время будет разворачиваться в “веер возможностей”, а не в линейный процесс» [16: с. 6–7]. В центр научных интересов переместился феномен субъективного в культуре, в частности, проблема этнокультурного сознания, специфика исторической ментальности и др. Претендовавшие «на безусловную объективность, на фиксацию неких научно обоснованных данных о той или иной нации привычные формулировки, такие как «национальное своеобразие», «национальный характер», при обсуждении проблемы нации и национализма вытеснились иными — «национальная идентичность», «национальный стереотип» [18: с. 141]. Эти категории содержат в себе потенциал субъективного фактора, который и позволяет разворачивать дискурсивный «веер возможностей» как осознание своей инаковости по сравнению с Другим. Имеется в виду процесс (само)идентификации индивида с так называемыми коллективными нарративами. В этом случае, «поднимая проблему национальной идентичности, исследователь должен взглянуть на нацию не со стороны, а изнутри, показать, <...> что значит смотреть на мир глазами этого сообщества, через призму его ценностей» [18: с. 142]. Проблема выявления ценностей, далее, предполагает овладение современными методами литературоведческого и культурологического анализа, которые позволяют исследователю прочитать и «расшифровать» «спрятанные» в произведении культурные коды [13: с. 47].

Очень важна при этом роль базовых кодов культуры, которые «соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями культуры, в них фиксированы “наивные” представления о мироздании» [5: с. 297]. В художественном произведении такие коды создают тончайшие концептуальные нюансы художественных

образов «культурного пространства», в координатах которого и происходит этнокультурная и национальная идентификация, приобретающая статус ценности<sup>1</sup>. Представляется, что дискурсивная природа категории «национальная идентичность» позволяет выявлять функциональность культурных кодов как референтов «русскости», «украинскости», «литовскости», дефиниций, соотносящихся с субъективным восприятием нацией самой себя.

Особое значение проблема национальной идентичности приобретает как предмет сравнительных исследований литературы в контексте поиска новых подходов к исследованию национальных и межкультурных процессов. Признание неэффективности традиционной компаративистики с ее «узкой литературностью» [20: с. 639], констатация того, что «литературоведческая компаративистика, изучающая взаимообмен духовными ценностями, постепенно отходит от традиционно используемых терминов («влияние», «восприятие», «заимствование»)» [9: с. 23] — общее место в литературоведении. Каковы новые решения? В литовском литературоведении в течение семи лет осуществляется научный проект «Исследование компаративного метода европейской литературы» на основе нового понимания целостности культурного пространства как множественности. Выделились два направления исследований: теоретическое обсуждение концепта «Европейская литература» как «духовного и интеллектуального состояния Европы — общественно интегрального, но национально индивидуального» [30: р. 67] и исследование необходимого для литуанистики соотношения литовского и европейского канонов исторической поэтики [30: р. 64], принципов интеграции литовской и других европейских литератур с целью «продемонстрировать, как на многокультурном фоне проявляется национальное

---

<sup>1</sup> См. сборник научных статей «Проблема идентичности в литовской литературе XX века» («Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje», 2008 [28]), посвященный различным аспектам индивидуальной и коллективной идентичности в творчестве, автобиографии писателей, а также проблеме идентичности в теории знака А.Ю. Греймаса. Перевод с литовского языка в статье мой. — *М.Р.*

своеобразие» литовской литературы [30: р. 65]. В российской науке интенции как будто те же, но критерии другие. Высказывая полемический тезис о том, что «глобализация отрицает индивидуальность культуры», И. Шайтанов считает «глобальной посылкой современной компаративной теории» восходящую к идеям А. Веселовского и М. Бахтина концепцию «диалога культур» [20: с. 636–637]. Стремясь удержать и локализовать литературную составляющую в новой программе компаративного исследования, то есть «не терять из виду природы поэтического слова», подход, нацеленный на выявление «продуктивной разности» [20: с. 237, 639] поэтического слова отдельных культур, ученый концептуализировал как «Сравнительная поэтика». Другая тенденция, ставя акцент на динамике междисциплинарных исследований, «тяготеет в своих поисках к комплексному описанию механизмов межкультурных и литературных взаимодействий в их развитии» [9: с. 23]. Именно фактор динамики, «веер возможностей» (Н.В. Тишунина) в исследовании литературных взаимодействий обуславливает «необходимость создания иного (нетрадиционного) сравнительного литературоведения, способного выразить особенность нового подхода к литературному тексту — внутренне подвижной структуре, способной полностью развернуть свой смысл только «на перекрестке» культур» (цит. по: [9: с. 23]). Такой подход известен как метод культурного трансфера<sup>2</sup>. Применим ли его ракурс к изучению национальной идентичности в художественном произведении? Объектом исследования в теории культурного трансфера являются такие актуальные категории, как «нация», «гражданин», «патриотизм», «цивилизация», «культура» (референтно соотносимые с персонажами

---

<sup>2</sup> Теория культурного трансфера зародилась в середине 1980-х годов в среде французских филологов-германистов, работавших над изданием хранящихся во Франции рукописей Г. Гейне. К сущностным характеристикам метода культурного трансфера исследователи относят осмысление необходимости связей с периферией культурного пространства, культурных и национальных вкраплений «чужого» в «свое» и т. д. Е. Дмитриева признает, что между теорией культурного трансфера и «более традиционной компаративистикой, например, школой Веселовского», различие номинальное, «трудно вычленимое» [2: с. 302–313].

и проблематикой произведений). В межкультурной перспективе «общество рассматривается не как коллективный и неизменный концепт, а как динамическое образование, в котором постоянно происходят процессы закрепления коллективных и личных идентичностей в зависимости от ситуации, контекста и исходных условий. Подобно этому и субъект представляет собой сплав языков, норм, дискурсов, систем <...>. Генерируемые этими ситуациями пограничные социокультурные явления, воспроизведенные в структурах вторичных моделирующих систем (языка и литературы), обладают наибольшим познавательным потенциалом» [9: с. 26].

Некоторые из изложенных положений о теории культурного трансфера обнаруживают близость к идеям Ю.М. Лотмана о семиосфере: понятие периферии культуры и центра, понятие границ культуры и образование знаков для перевода значений из одной культуры в другую. Самое главное, Ю.М. Лотман иллюстрировал свою концепцию примерами из художественной литературы<sup>3</sup>. Продуктивная перспектива сравнительного изучения литератур содержится в вопросе, в свое время сформулированном Ю.М. Лотманом: «Почему и в каких условиях в определенных культурных ситуациях чужой текст делается необходимым?» [10: с. 605]. Вспомним некоторые из рассуждений Ю.М. Лотмана о существенных параметрах сравнительного изучения культур. Катализатором развития любой культуры ученый считал фактор усложнения структуры личности, индивидуализации присущих ей, кодирующих информацию механизмов; интенсивность проявления этого фактора, по мнению Ю.М. Лотмана, возрастает в «эпохи наибольшего развития и усложнения социокультурной жизни» [10: с. 606]. Важнейшим условием осуществления данного процесса ученый считал «акт обмена», предполагающий наличие «другого» — партнера в обмене. «Наименее приспособ-

---

<sup>3</sup> Как показывают новейшие исследования, «логика теории Лотмана» делает возможным применение ее и в современном политическом мышлении. По словам Д. Монтичелли, «то, к чему приходит Лотман через анализ функционирования культуры, — фактически обобщающий семиотический механизм», позволяющий выяснить истоки проблем в современной политике идентичностей, проблем, которые нередко рассматриваются как незначительная реакция на «побочные эффекты» глобализации [11: с. 40–55].

собленным для передачи», согласно мысли ученого, оказываются художественные тексты, представляющие собой «системы с большой внутренней неопределенностью» [10: с. 613]. В этом случае для осуществления обмена актуализируется «механизм неадекватного, условно-эквивалентного перевода», релевантный и традициям внутри данной культуры, и ее метаописаниям, что в конечном результате служит созданию новых текстов. Таковым представлялся ученому механизм творческого мышления: каждый новый факт культурного контакта увеличивает информационную ценность воспринимающей культуры, потому что «интериоризированный» ею текст «способен в новом контексте раскрываться совершенно новыми смыслами» [10: с. 608, 610, 613].

Процитированные рассуждения побуждают учитывать в сравнительном изучении национальной идентичности информационную ценность текстов обеих культур и перераспределение смыслов в соответствии с усложнением как структуры конкретной творческой личности, так и механизмов, кодирующих информацию ее культуры. Такой подход организует, как представляется, структурирует и функционально поддерживает литературоведческая парадигма (идентичность автора произведения, героя произведения или самого произведения как феномена национальной литературы), и в этом случае литературное произведение анализируется и как собственно жанрово-структурное словесное образование (о чем писали М.К. Попова, И.О. Шайтанов), и как текст культуры (в лотмановском понимании — как «интериоризация» ценностей одной культуры в ценностную систему координат другой).

### Полученные результаты

Задолго до того как началась открытая дискуссия о соотношении культуры и глобализации, в первых произведениях русской и литовской литературы, позднее названных постмодернистскими, уже было ощущение, что они написаны с целью изображения нивелировки культурных ценностей и стирания идентичностей советской действительностью. Выбор трех произведений —

«Москва – Петушки» (1970) Венедикта Ерофеева [3, 4], «Вильнюсский покер» (1989) Ричардаса Гавялиса [22] и «Тула» (1991) Юргиса Кунчинаса [26] — обусловлен сходством проблематики: идеей множественности (вследствие стирания или утраты) субъектной идентичности: социальной, исторической, национальной, этнической, гендерной в условиях советского общества. Наличие проблемы национально-культурной идентичности зафиксировано и осмыслено русскими и литовскими писателями в ракурсе этнонациональных ценностей своей культуры. Литовские романисты напрямую связывали торжество тоталитарной системы с разрушением личности, забвением духовного богатства нации. Современный исследователь отмечает в русском постмодернизме «осязаемую «русскость», либо «советскость», либо то и другое одновременно» [7: с. 9]. Характерной чертой русского постмодернизма 1960–1970-х годов XX века было использование авторской маски, благодаря чему «преодолевался тоталитаризм языка, разрушался культ писателя-пророка <...>» вследствие утвердившейся тенденции применять прием постмодернистского уничтожения принципа индивидуальности: [15: с. 86, с. 198]. Этот существенный аспект сформировал особую романную ситуацию (личность, микросреду и среду) в указанных произведениях, на основании чего можно выделить сходство и различия в создании субъективного образа советского столичного города — Москвы и Вильнюса как референта личности<sup>4</sup>: оценить топографические, архитектурные предпочтения урбанистического мира и соответственно модель изображения в аспекте соотношения с осознаваемой субъектом идентичностью.

«В конце XX в. один из ведущих акцентов в интерпретации поэмы “Москва – Петушки” был сделан на пародийно-абсурдирующей деконструкции коммунистического метанарратива [15: с. 115]. Спустя десятилетие «<...> ассоциации с советской

---

<sup>4</sup> «<...> к пространствам, с которыми сосуществует культурное пространство, можно отнести: пространство социума, пространство личности, природы, жизненное пространство, пространство города, политики, национальное пространство» [12].

властью уже кажутся устаревшими, слишком примитивными в сложном контексте поэмы» [7: с. 312]. М. Липовецкий понимает (пред)постмодернистский тип мышления как «отталкивание от советских метанарративов», приводящее к формированию «особой структуры постмодернистского дискурса — паралогического дискурса» [7: с. 46], соотносимого с трансцендентальным измерением бытия и мира. Вен. Ерофеев наметил основные параметры романной ситуации нового типа: это — неординарный главный герой, лишенный возможности общения с подобным типом сознания, максимально суженная, зыбкая микросреда и неутомимо создаваемая воображением романная (гипертекстуальная) среда. Вслед за Ерофеевым подобный тип романной ситуации утвердился и в других произведениях российских авторов.

Предпосылкой для возникновения литовского постмодернистского романа 1980–1990-х годов XX века явился тип романа с обширным спектром признаков нравственно-психологической ориентации, получивший широкую известность в 1960–1970-е годы как литовский роман «внутреннего монолога»<sup>5</sup>. Сохранение жанровой преемственности предопределило такой вариант романной ситуации, когда и в постмодернистском романе была возможна дифференциация персонажей и выделение двух-трех главных героев, то есть вводился уровень микросреды. Избегая рассуждений о влияниях и заимствованиях, думается, нельзя не учитывать значитель-

---

<sup>5</sup> Оригинальную интерпретацию личности через призму ценностей литовской культуры еще в 1980-е гг. XX в. предложил А. Шлэгерис, предприняв попытку охарактеризовать идентичность героя в аспекте экзистенциальной философии. Выстраивая свою концепцию понимания Homo soveticus и отмечая потерянность и идеализирование прошлого как сущностные черты в сознании героя литовского романа, А. Шлэгерис связывал их с социально-исторической и культурной ситуацией: «уходом Литвы из деревни в большой город» [27: р. 38]. А. Шлэгерис утверждал, что интеллектуальные и экзистенциальные метания современного героя между прошлым и настоящим были порождены несоответствием безгранично встревоженного сознания (потерявшего прежнюю опору) и ограниченной, упрощенной средой его существования в условиях города — пространства, онтологически чуждого ему. И в такой ситуации значение памяти для литовцев определяется как наилучший инструмент деструкции бытия и обретает статус безусловной ценности [27: р. 61].



ности резонанса поэмы «Москва – Петушки» как произведения, стоявшего у истоков русского постмодернистского сознания, для всего пространства советской литературы; нельзя отрицать, что этот резонанс не достиг литовской литературы. Думается, что «Москва – Петушки» как текст культуры, относящийся к «системам с большой внутренней неопределенностью» (Ю.М. Лотман), вполне мог быть интериоризирован в некоторых существенных аспектах и литовской прозой. С точки зрения деконструктивистского подхода к этим романам, осуществленного М. Григайтисом, у Гавялиса как у автора (то есть как текстообразующей функции) единый нарратив расщепился на несколько проекций, на четыре способа письма, благодаря чему стало возможным создать «субъекта, не идентифицируемого ни с какой идеологией» [23: р. 71]. Это разделение достаточно условно, искусственно, так как «ситуацию конфликта между насильственной «объективацией» и постоянной не-идентичностью» [23: р. 79] особенно остро переживает всего один субъект из четырех, претендующий на статус главного героя, Витаутас Варгалис. Именно с его точки зрения основы жизни подвергаются тотальному обличению, например: «Но город (Вильнюс. — *М.Р.*) уже давно все потерял — даже самоуважение. Здесь остались только ложь, абсурд и страх» [22: р. 76]. Таким образом, русские и литовские романы сближаются и в отдельных аспектах жанровой проблематики критики советского, и в постмодернистских приемах и формах повествования, с помощью которых дематериализуется мир произведения. Город как эквивалент этого концепта становится по-своему рафинированной формой выражения экзистенциальной усталости не-идентифицируемого человека. Рассмотрим связи человека и города с учетом трех параметров романной ситуации. Какой человек (субъект) обитает в московском и вильнюсском пространстве? Какова эпистемологическая функция столичных городов Москвы и Вильнюса (советской столицей Вильнюс был в 1940–1991 годах) с точки зрения возможности для индивида идентифицировать и структурировать «свое» свободное пространство? Можно ли интерпретировать поиск формы

идентичности только как стратегию сопротивления тоталитарной системе, осуществляемую как отрицание (или деконструкцию) идентичности советской?

Художественное пространство социалистического города, городская топография моделируются с позиции персонажей, относящихся к категории социально неполноценных граждан, аутсайдеров, обживающих городские окраины или районы, принципиально удаленные от центра города. Функциональность художественного пространства проясняется с учетом так называемого советского проекта, ориентированного на идею разумного и сознательного планирования пространства, в центре которого — зона общественная, ставшая повсеместно, а особенно во всех советских столицах, по примеру Москвы, мощным средством воздействия на массовое сознание, а также разъяснения политических идей через наглядность архитектурных образов. У Ерофеева исторический и советский центр Москвы един — Кремль, Красная площадь, Мавзолей Ленина, памятник Минину и Пожарскому.

В романах литовских авторов у Вильнюса два центра: исторический и советский. Исторический центр — гора и замок князя Гядиминаса, основателя города, и Кафедральная площадь у подножия горы, ассоциирующиеся с культурными ценностями не только города, но и самой Литвы, — оказывается периферией. Значимость такой перемены ощущал каждый литовец: «Делалось решительно все, чтобы выкорчевать прошлое и привить новый образ мышления. Конечно, это не ограничивалось снятием крестов и неожиданным переименованием кинотеатров “Казино” и “Адриа” в “Москву” и “Октябрь” <...>. Новую идеологию насаждали всевозможными способами, при этом так, чтобы унизить побольнее, показать человеку, что он ничего не стоит <...>. Достаточно рано я начал воспринимать вильнюсскую архитектуру как знак. <...> Это было высокое прошлое посреди странного и ненадежного настоящего, традиция в мире, внезапно лишенном традиций, культура в мире не-культуры» [19: с. 194–195]. Для советского центра Вильнюса было характерно внедрение матрицы привилегированного места для советских символов власти. Это площадь, «где царит Ленин» (памятник Ленину

напротив здания литовского КГБ), где, как и на Красной площади, отводилось место для трибуны, на которой во время демонстрации стояли первые и лучшие люди государства — «марионетки» [22: р. 23]. Авторы-персонажи всех романов отвергают принудительные навыки освоения и использования советского пространства, в частности, обязательное посещение советским человеком Красной площади, в Вильнюсе — площади Ленина. Герои начинают движение к своей «иллюзии идентичности», укладываясь в схему удаления от советского центра. Веничка как житель вообще не имеет своего места в Москве и устремляется прочь из нее, в его пьяном сознании зафиксирован устойчивый вектор: в поисках Кремля он «неизменно» движется в сторону Курского вокзала через ресторан и «к поезду через магазин» [3: с. 123, 128]. Столичные жители у Гавялиса и Кунчинаса, отвергая советский центр, обитают на окраинах Вильнюса, не в силах покинуть город: на берегу реки Нерис, «реки времени и памяти», из Нерис «можно зачерпнуть воды, видевшей основание Вильнюса» [22: р. 23] и т. д.

Благодаря ассоциациям с литературным, философским, библейским дискурсами, российское литературоведение немало сделало для интерпретации маршрута Москва – Петушки и направления движения «туда и обратно» как бегства «из ада в рай». В таком контексте московское знаковое пространство интерпретируется критикой как «адское». Поездки Венички принимают своеобразную форму бегства, осложненную «исторически сложившимся в России “синдромом убегания от власти”» [18: с. 155].

В литовской постсоветской критике общим местом является взгляд на Вильнюс как на «пространство, травмированное оккупацией, разрушающее и уничтожающее субъекта изнутри» и наружно<sup>6</sup> [23: р. 32]. У Гавялиса оно «фокусирует все начала зла» [31: р. 75], физические и метафизические: населено «канукай» (кровососущими сущностями) в человеческом обличьи, «надзирателями», «наблюдателями», «смотрителями» [22: р. 40], а управляемо — «Вильнюсским драконом», у которого головы говорят (и ругаются) на разных язы-

---

<sup>6</sup> «Телесный аспект» в интерпретации романа — один из самых популярных в критике [24: р. 82–89].

ках: литовском, польском, русском [22: р. 24]. У Кунчинаса советская ипостась Вильнюса — «органы» (КГБ), пациенты наркологического отделения клинической больницы (будущие самоубийцы, шизофреники) [26: р. 113], пациенты и сотрудники ЛТП, «тюрьмы для алкоголиков» [26: р. 135]: хронические алкоголики «синюгос» (*siniūgos*) и «шустрякай» (*šustriakai*), таблеточные наркоманы «замурованные» (*zamurovanųj*) [26: р. 139] и огромное количество маргиналов всех мастей. Маршрут движения в обход центральных мест — бесконечный лабиринт, а конфигурация пространства исторического Вильнюса — «средневекова: сеть улочек, все здесь криво, стиснуто и запутано» [19: с. 194], здесь блуждающие герои и теряют ощущение времени и пространства. Для героя Гавялиса современный Вильнюс мертв, потому что он потерял свою историю и бывшее величие. В романе Кунчинаса город жив, но места в нем для героя нет.

Поиск идентичности включает в себя и попытки приобщения к этнонациональным ценностям и происходит на улицах Старого города, слившегося с историческим центром Вильнюса. В отличие от Москвы, из которой герой Ерофеева периодически выезжает, внутри Вильнюса, литовской столицы, «обжитой другими — евреями, поляками, русскими, но не литовцами», этого «ужасного коктейля» [22: р. 77] из Востока и Запада, как бы находится некое идеальное этнонациональное пространство, в котором актуализируются смысловые пласты, связанные с ностальгией о гордом и мощном духе литовских князей, о Великом княжестве Литовском, эквиваленте литовской идентичности и важнейшем архетипе литовской культуры. Однако такого экзистенциального пространства в советском Вильнюсе герою Гавялиса, представителю исчезающих видов *homo lituanicus* и *homo Vilnensis*, найти не суждено, он слышит, как «по ночам надрывно воет и просит о помощи Железный Волк»<sup>7</sup> [22: р. 77]. Кунчинас, сохраняя яркие приметы реального Вильнюса 1970–1980-х годов, создает образ

---

<sup>7</sup> В легенде об основании Вильнюса говорится, что князю Гядиминасу приснился сон: на горе выл одетый в железные доспехи волк. По толкованию жрецов, на том месте должен был быть построен крепкий замок и город — столица государства.

города-мифа «по логике ощущений» [23: р. 99]: «Вильнюс — город богемы, город обреченных, город тумана» [26: р. 12, 49], что, по мнению исследователя, никак не идеологизировано.

«Нетрезвый герой» сближает произведения, особенно Ерофеева и Кунчинаса. С одной стороны, советские времена с этой точки зрения — «эпоха всеобщей невменяемости» [7: с. 315]. Одним из «веселых кошунств пьянства» [7: с. 297] является его сакрализация: «А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны» [3: с. 131]. Но что для русского — культурная традиция, то для литовца просто тяжкое состояние, болезнь, мотивированная непереносимостью советской системы: «Искал *правды*, с головой уходя в самый дешевый алкоголь. Искал ответа <...>, губя себя. Другого пути, возможно, и нет» [22: р. 79]. От болезни же алкоголик-интеллигент у Кунчинаса должен был принудительно лечиться в ЛТП. «Алкоголизм в Европе не вводился в систему художественно-философской мифологии искусства» [21], в этом смысле пьющему литовцу нечего было наследовать<sup>8</sup>. И если в критике 1980–1990-х годов отношение к нему было весьма настороженное и даже саркастическое (откуда он такой взялся?), то при деконструктивистском подходе это состояние героя оказывается своего рода формой письма как способом «сигнификации действительности» [23: р. 99]. Тяжкое состояние героев также мотивирует их выбор мест обитания в Вильнюсе. Следовательно, во всех трех произведениях децентрированный субъект отчужден от столичного города, центра тоталитарной власти, репрессий, порядка. Веничка стремится покинуть это пространство (вернувшись в него, гибнет), а литовские персонажи в нем остаются и ищут свои «досоветские» ниши.

Помимо разрушения и отрицания идеологического тела столицы для каждого автора город маркирован гендерно. В отличие от русского образа Москвы как города-девы (невесты), Москва

---

<sup>8</sup> Впрочем, релевантным (наряду с поэмой Ерофеева) текстом для Кунчинаса мог стать и роман Ханса Фаллады «Пьяница», который Кунчинас перевел с немецкого на литовский язык в 1993 году.

у Ерофеева метонимизирована в Кремль<sup>9</sup> как воплощение репрессивного маскулинизма (имплицитно на это указывают детали — памятник Минину и Пожарскому, четверо в переулке, герой Ерофеева бежит прочь в поисках уголка, «где не всегда есть место подвигу» [3: с. 128]).

В отличие от маскулинизации образа Москвы, угасание Вильнюса мыслится как следствие его «феминизации». В связи с этим возникает образ кастрированного — бесполого — тела города. В восприятии персонажа Гавялиса прошлое Вильнюса — маскулинное, гордое и славное. Настоящее — кастрация сакрального городского пространства: горы и башни замка Гядиминаса: «Неотвратно реальный только старый замок в новом городе: одинокая башня, вынырнувшая из обросших скатах горы — фаллический символ Вильнюса. Он выдает все тайны. Символический *phallos* Вильнюса: короткий, тупой и бессильный <...> Великий знак кастрированного города и кастрированной Литвы» [22: р. 58]. По словам И. Ведрицкайте, гротескное видение Гавялисом гендерных элементов мотивировано эстетикой абсурда и «связано с латентным человеческим страхом стать жертвой агрессии или обратить свою агрессию против других» [31: с. 76]. Заданные Гавялисом жесткие координаты абсурдистской дискредитации всего и вся (советской системы, пола, города с его национальной историей) коррелируют и с идентичностью героя.

Гендерный аспект идентификации позволяет анализировать традиционный для романной ситуации уровень микросреды, реализующий сексуальные и любовные отношения. В поэме Ерофеева вне Москвы появляется образ «той самой, в Петушках» [3: с. 148], являющийся важным условием субъективации для героя. Согласно

---

<sup>9</sup> В статье В. Топорова, посвященной культурным моделям освоения женских ипостасей городского пространства, встречается и такое интересное замечание: «Более сложная (и здесь не рассматриваемая) картина возникает в том случае, когда городу (*fem.*) противопоставляется его ядро, сердцевина — бург, крепость, детинец, кремль (*masc.*), ср. выше — о храме, с одной стороны, и об алтаре-*vagina* и пламени-*membrum virile*, с другой» [17: с. 131]. Эта «более сложная картина», как видим, присутствует и в поэме Ерофеева, и в романе Гавялиса, но выполняет разные функции.

Липовецкому, «устремленность к трансцендентальному означаемому в сочетании с алкогольным “священным безумием” подчеркивает гротескность его миссии: хранителем слова как логоса, смысла как несбыточного обещания трансценденции, Царем, а в пределе — Христом оказывается в буквальном смысле “последний из людей”, последний пропойца, кабацкий ярыжка, юродивый» [7: с. 315]. Аналогично решение и женской сущности, вообще предполагающей дифференцирующий момент, связанный с полом. Устремленный к трансцендентности соловьевский инвариант<sup>10</sup> классического литературного кода Вечная Женственность у Ерофеева представлен гротескно сниженным образом «чего-то там такого женского» [4: с. 58]. Ограничусь примерами: «Подруга вечная», «Лазурь кругом, лазурь в душе моей» [14] трансформированы в гротескную альтернативу маскулинному как «бесстыжей царицы с глазами, как облака», «гармонической суки» [4: с. 48, 52]. А с точки зрения романного пространства устремленность героя «к ней» можно толковать и как несбыточное стремление к избавлению: «Вы спросите: “Да где ты, Веничка, ее откопал <...>? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?” — Может! — говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. — В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! <...>» [4: с. 52]. Дискурсивный характер идентичности включает в себя появление абсурдных коннотаций (не)возможного мужского гендерного самоопределения героя: «Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого “милая странница”? С чего он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!» [4: с. 147].

Стремление героя Гавялиса найти истинное пространство города, как бы найти корень идентичности, превращается в его стремление овладеть телом женщины: прекрасным телом «ведьмы бестелесного вымершего, парализованного Вильнюса» [22: р. 278].

---

<sup>10</sup> Множество аллюзий на поэму «Три свидания» обнаруживаются у Ерофеева начиная с главы «Реутово – Никольское»: мотив заветного свиданья, путешествие (в Каир), попутчики, мотив райского блаженства, сверхпрозрения и тайны и др.



Видимо, поэтому в любовных отношениях проявляется деструктивный потенциал коллективной психики, вызывающий как бы ничем не мотивированный приступ агрессивности; любовное свидание моделируется как разрушение женского тела: «<...> он уродовал тело Лолки совсем не садистски <...> делал свое дело, как призрак, тщательно и внимательно, он что-то искал, коверкал то тело не просто так, а словно что-то ища, что там, он это знал наверняка, там есть, словно копал землю, стараясь что-то найти, только не клад <...> скорее, страшную бомбу, которой можно взорвать весь Вильнюс <...> медленно поднялся, равнодушно глядя вниз на изуродованное тело <...>» [22: р. 370]. Гавялис воспринимает женский элемент как олицетворение и противоречие тоталитарного порядка Вильнюса. Вновь заметим, что женское ассоциируется с больным, слабым, демоническим, умирающим. Настоящее Вильнюса для героя ассоциируется с уродливыми женщинами (сходство женского и кастрированного). Женщина понимается только как объект, «биологическая» идентичность, фон для процесса становления новой мужской идентичности. Маскулинный Вильнюс якобы восстанавливается благодаря подчинению и преодолению женского. Уничтожив женское тело, герой, однако, лишается возможности контакта с объективной реальностью или другим субъектом; не будучи в состоянии быть мужчиной, он попадает в лабиринт безумия, блуждая по лабиринту вильнюсских улиц: «Вильнюс — абсолютный лабиринт, из которого никогда не выйти на свободу» [22: р. 43].

В романе Кунчинаса образ Вильнюса также феминизированный: и здесь советский Вильнюс ассоциируется с больным, инвалидным женским телом. Только Старый город, и особенно запущенный в советские годы район Старого города — Ужупис (Заречье), символично связаны с телом возлюбленной — Тулой. Старинные здания и прекрасные храмы там полуразрушены, в них обитают маргиналы, но именно в этом месте главный герой переживает недолгое счастье. Возлюбленная героя романа также выступает в двух ипостасях: она и реальная женщина, и субъект, в котором герой способен прозревать надличные трансцендентные смыслы. Можно сказать, что Кунчинас воспринимает женское и как объект, и как субъект, ассоциируя женское качество с эмоциональностью,

телесностью, любовью. «Тело» героя Кунчинаса превращается в «тело» города после любовной сцены с женщиной. Переживая несколько кризисов идентификации, герой сосредоточен не столько на разрушении, насилии, деструкции, сколько на создании своего пространства. «Мое» (наше с тобой) место» [4: с. 230] — это дом Тулы (по ул. Малуну 3, домом с апсидой на берегу реки Вильняле), в котором герой почти по-язычески хоронит возлюбленную. Связь героя и такого города — это переживание и восстановление мифа о литовском Вильнюсе, но в ином, трансцендентом, ракурсе: «Как настойчиво искал я хотя бы хрупких намеков на свою связь с Вильнюсом» [26: р. 40]. Конечно, основная цель — освоение постсоветским литовцем экзистенциального пространства города, что предполагает получение своего духовного наследия, а также буквально одомашнивание этого пространства. Связь литовца с миром, как положительная сторона экзистенции, возможна в том случае, если он «смотрит на мир с порога родного дома» [8: с. 36]. Наличие «замкнутого» пространства родного дома — важнейший элемент самоидентификации литовца. Превращаясь в летучую мышь, рассказчик аннигилирует себя как субъекта советского общества и, наконец, идентифицируется с городом, гротескно утверждая свое право на наследство: он обретает свободу в небе над городом.

Таким образом, интерпретируя утрату героями трех произведений символических признаков их гендерной, социальной идентичности на уровне «перераспределения смыслов» (Ю.М. Лотман), и в романной микросреде можно зафиксировать тенденцию использования устойчивых знаков русского или литовского культурного пространства, релевантных метаописаниям национальной культуры.

### Выводы

Изображение проблематики идентичности в указанных произведениях является свидетельством сходных и различных потребностей в идентификации как в стремлении к относительно устойчивой и одновременно гетерогенной целостности, несовместимой с дихотомией «социалистического» содержания и «национальной» формы в советской литературе. Писатели 1960–1990-х годов показали, что в советские времена национальная идентичность едва не превра-

тилась в миф. Процесс идентификации проанализирован с учетом романной структуры, и данный критерий позволил сосредоточиться на дискурсивной идентификации героя благодаря вовлечению периферии, окраин города в процесс деабсолютизирующей переоценки ценностей: сакральности советской столицы — центра системы. Устройство, прагматика и мифология города вписываются в новую эпистемологию, ориентирующую на преодоление тоталитарного мышления и языка. Сохраняя свои топографические приметы и выполняя эпистемологическую функцию «адского» пространства, Москва и Вильнюс, так сказать, децентрированы изнутри сквозь призму «русскости» и «литовскости», что наводит на мысль о закономерности ориентира на онтологически устойчивую ценность — этнокультурную идентичность. Для Ерофеева Москва расположена в координатах русского архетипического пространства: в качестве фрагмента внешнего мира она осознается героем как пространство «чужое» (провинциальные Петушки в качестве фрагмента внешнего мира осознаются как близкое и родное, но недостижимое пространство). Подобный аспект отношений человека и города у Ерофеева мыслится как метафизический, или паралогический (М. Липовецкий): герой переживает несколько (недо)воплотившихся идентичностей. У Гавялиса и Кунчинаса — метафизический аспект отношений человека и города включает в себя и (не)возможность физического обживания, они хотели бы присвоить Вильнюс как свое — литовское — пространство для жизни. Соответственно герой Ерофеева совмещает все аспекты субъектной (и трансцендентной) идентичности в русском культурном образе юродивого – странника – пьяницы – мудреца, а децентрированные интеллектуалы Гавялиса и Кунчинаса — *Lituanus* с акцентированными национальными ценностями, которые могли бы сказать: Вильнюс — это я<sup>11</sup>. Подобное в устах Венички

---

<sup>11</sup> «Для литовцев Вильнюс — это символ исторической непрерывности и единства, нечто вроде Иерусалима. <...> Когда спорят о Вильнюсе, спорят об историческом ранге этого города: региональный ли это центр или одна из традиционных восточно-европейских столиц. Речь также идет о ранге и выживании Литвы. Потому что без Вильнюса Литва — эфемерное государство, а с Вильнюсом она обретает все свое прошлое и всю историческую ответственность» [19: с. 199–200].

невозможно представить. Обращение к художественным произведениям прошлых лет предоставляет возможность осмыслить причины и обстоятельства, которые могут быть учтены в контексте рассмотренных выше аспектов дискуссии о современных проблемах культуры и общества. Имеется в виду сходство возникновения этой проблемы: 1) в результате предписывания идеологии и культуры в тоталитарном обществе и 2) в результате современных глобализационных процессов с их декларируемой ориентацией на плюрализм культур, что в некоторых случаях сопровождается ощущением угрозы стабильности национальной культуры<sup>12</sup>. Настойчивость, с которой отвергалась «прививка» советского нивелирующего элемента, может быть учтена при прогнозе ожиданий и решения проблем в едином европейском культурном пространстве.

### *Литература*

1. *Ананова Л.В.* Проблема исследования национальной идентичности в современной западноевропейской культуре // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (Философия). 2007. № 11 (74). С. 98–100. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/problema-issledovaniya-natsionalnoy-identichnosti-v-sovremennoy-zapadno-evropeyskoy-kulture>.
2. *Дмитриева Е.* Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 302–313.
3. *Ерофеев В.В.* Москва – Петушки // Ерофеев В.В. Мой очень жизненный путь. М.: Вагриус, 2003. С. 119–218.
4. *Ерофеев В.В.* Москва – Петушки: поэма. М.: Вагриус, 2007. 188 с.
5. *Красных В.В.* «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: Гнозис, 2003. 354 с.
6. *Куренной В.* Конструктивный национализм: В основе этнических конфликтов — столкновение городской и негородской культур // Российская газета. 2011. 22 апреля.

---

<sup>12</sup> Еще в 2003 г., намечая перспективы развития «литовской литературы, живущей в параметрах европейского пространства и открытой культуре Запада», авторитетнейший литуанист В. Кубилиус делал оговорку: «<...> если в жерновах глобализации нация сумеет остаться собой и не отвернуться от национальной / народной культуры» («<...> jei globalizacijos malūne tauta pajęgs išlikti savimi ir nenusigręš nuo tautinės kultūros») [25: p. 95].

7. *Липовецкий М.* Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов // Новое литературное обозрение. 2008. С. XXIX–848.
8. Литература в новой ситуации (Диалог: Витаутас Кубилиус и Юстинас Марцинкявичюс) // Вопросы литературы. 1988. № 11. С. 3–45.
9. *Лобачёва Д.В.* Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 8 (98). С. 23–27.
10. *Лотман Ю.М.* К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Семиосфера / Сост. М.Ю. Лотман. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. С. 603–614.
11. *Монтичелли Д.* Самоописание, диалог и периферия у позднего Лотмана // Новое литературное обозрение. 2012. № 115. С. 40–55.
12. *Орлова Е.В.* Культурное пространство: определение, специфика, структура // Аналитика культурологии. 2010. № 3 (18). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kulturnoe-prostranstvo-opredelenie-spetsifika-struktura>.
13. *Попова М.К.* Проблема национальной идентичности и литература // Вестник ВГУ. Серия 1. Гуманитарные науки. 2001. № 2. С. 45–48.
14. *Соловьев В.С.* Три свидания. URL: <http://scanpoetry.ru/poetry/10976>.
15. *Скоропанова И.С.* Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. Минск: Институт современных знаний, 2000. 350 с.
16. *Тишунина Н.В.* Современные представления о глобальном характере социокультурного развития человечества // Глобализм в системе категорий современной культурологической мысли. СПб.: Янус, 2005. С. 3–28.
17. *Топоров В.Н.* Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 121–132.
18. *Филошкина С.* Национальный стереотип в массовом сознании и литературе // Логос. 2004. № 4 (49). С. 141–155.
19. *Чеслав Милош, Томас Венцлова.* Вильнюс как форма духовной жизни / Пер. с польск. А. Израилевич // Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277). С. 188–201.
20. *Шайтанов И.О.* Компаративистика и/или поэтика. М.: РГГУ, 2010. 642 с.
21. *Ястребов А.Л.* В. Ерофеев: риторика и мифология национального характера. URL: [http://moskva-petushki.ru/articles/3mkttg/v\\_erofeev\\_ritorika\\_i\\_mifologija\\_natsionalnogo\\_xaraktera/1](http://moskva-petushki.ru/articles/3mkttg/v_erofeev_ritorika_i_mifologija_natsionalnogo_xaraktera/1).

22. *Gavelis R.* Vilniaus pokeris: romanas. Vilnius: Vaga, 1989. 398 p.
23. *Grigaitis M.* Rašymų įvairovė Broniaus Radzevičiaus, Ričardo Gavelio, Jurgio Kunčino romanuose // Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2012. 130 p. URL: [http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D\\_20121214\\_110754-99406](http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20121214_110754-99406).
24. *Čerškutė J.* Ričardas Gavelis: dekonstrukciniai žaidimai miesto kūne / kūno mieste // *Metai*. 2008. № 1. P. 82–89.
25. *Kubilius V.* Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje // Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje. Kaunas, 2003. P. 80–95.
26. *Kunčinas J.* Tūla. Vilnius: Vaga, 1993. 193 p.
27. *Šliogeris A.* Žmogaus egzistencija ir dabartinis romanas // Šiuolaikinės literatūros pasaulis. Vilnius: Vaga, 1989. P. 32–62.
28. Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje: Mokslo straipsniai // Sudarytoja G. Vanagaitė. Vilnius: VPU I-la, 2008. 205 p.
29. Tauta, kalba ir tapatybė: [straipsnių rinkinys] / Algis Norvilas; [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas. 2-asis leid. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. 148 p.
30. *Vaičiulėnaitė N.E., Radzevičienė S., Pabarčienė R.* Komparatyvinis Europos literatūros matmuo: mokslo studija. Vilnius: VPU leidykla, 2010. 84 p.
30. *Vedrickaitė I.* Harmoniją sapnuojantis groteskas // *Lituanistica*. 2009. Tomas 55. № 1–2 (77–78). P. 68–84.

### *References*

1. *Ananova L.V.* Problema issledovaniya nacional'noj identichnosti v sovremennoj zapadnoevropejskoj kul'ture // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*. Seriya: Gumanitarny'e nauki (Filosofiya). 2007. № 11 (74). S. 98–100. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/problema-issledovaniya-natsionalnoy-identichnosti-v-sovremennoy-zapadno-evropejskoj-kulture>.
2. *Dmitrieva E.* Teoriya kul'turnogo transfera i komparativny'j metod v gumanitarny'x issledovaniyax: oppoziciya ili preemstvennost'? // *Voprosy' literatury'*. 2011. № 4. S. 302–313.
3. *Erofeev V.V.* Moskva – Petushki // *Erofeev V.V. Moj ochen' zhiznenny'j put'*. M.: Vagrius, 2003. S. 119–218.
4. *Erofeev V.V.* Moskva – Petushki: poe'ma. M.: Vagrius, 2007. 188 s.
5. *Krasny'x V.V.* «Svoj» sredi «chuzhix»: mif ili real'nost'? M.: Gnozis, 2003. 354 s.

6. *Kurennoj V.* Konstruktivny'j nacionalizm: V osnove e'tnicheskix konfliktov — stolkovenie gorodskoj i negorodskoj kul'tur // Rossijskaya gazeta. 2011. 22 aprelya.

7. *Lipoveczkij M.* Paralogii: Transformacii (post)modernistskogo diskursa v russkoj kul'ture 1920–2000-x godov // Novoe literaturnoe obozrenie. 2008. S. XXIX–848.

8. Literatura v novoj situacii (Dialog: Vitautas Kubilyus i Yustinas Marcinkyavichyus) // Voprosy' literatury'. 1988. № 11. S. 3–45.

9. *Lobachyova D.V.* Kul'turny'j transfer: opredelenie, struktura, rol' v sisteme literaturny'x vzaimodejstvij // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2010. № 8 (98). S. 23–27.

10. *Lotman Yu.M.* K postroeniyu teorii vzaimodejstviya kul'tur (semioticheskij aspekt) // Semiosfera / Sost. M.Yu. Lotman. SPb.: Iskustvo – SPB, 2000. S. 603–614.

11. *Montichelli D.* Samoopisanie, dialog i periferiya u pozdnego Lotmana // Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. № 115. S. 40–55.

12. *Orlova E.V.* Kul'turnoe prostranstvo: opredelenie, specifika, struktura // Analitika kul'turologii. 2010. № 3 (18). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kulturnoe-prostranstvo-opredelenie-spetsifika-struktura>.

13. *Popova M.K.* Problema nacional'noj identichnosti i literatura // Vestnik VGU. Seriya 1. Gumanitarny'e nauki. 2001. № 2. S. 45–48.

14. *Solov'yov V.S.* Tri svidaniya. URL: <http://scanpoetry.ru/poetry/10976>.

15. *Skoropanova I.S.* Russkaya postmodernistskaya literatura: novaya filosofiya, novy'j yazy'k. Minsk: Institut sovremenny'x znaniy, 2000. 350 s.

16. *Tishunina N.V.* Sovremenny'e predstavleniya o global'nom xaraktere sociokul'turnogo razvitiya chelovechestva // Globalizm v sisteme kategorij sovremennoj kul'turologicheskoy my'sli. SPb.: Yanus, 2005. S. 3–28.

17. *Toporov V.N.* Tekst goroda-devy' i goroda-bludniczy' v mifologicheskom aspekte // Issledovaniya po strukture teksta. M.: Nauka, 1987. S. 121–132.

18. *Filyushkina S.* Nacional'ny'j stereotip v massovom soznanii i literature // Logos. 2004. № 4 (49). S. 141–155.

19. *Cheslav Milosh, Tomas Venczlova.* Vil'nyus kak forma duxovnoj zhizni / Per. s pol'sk. A. Izrailevich // Staroe literaturnoe obozrenie. 2001. № 1 (277). S. 188–201.

20. *Shajtanov I.O.* Komparativistika i/ili poe'tika. M.: RGGU, 2010. 642 s.

21. *Yastrebov A.L.* V. Erofeev: ritorika i mifologiya nacional'nogo xaraktera. URL: [http://moskva-petushki.ru/articles/3mktgu/v\\_erofeev\\_ritorika\\_i\\_mifologija\\_natsionalnogo\\_xaraktera/1](http://moskva-petushki.ru/articles/3mktgu/v_erofeev_ritorika_i_mifologija_natsionalnogo_xaraktera/1).



22. *Gavelis R.* Vilniaus pokeris: romanas. Vilnius: Vaga, 1989. 398 p.
23. *Grigaitis M.* Rašymų įvairovė Broniaus Radzevičiaus, Ričardo Gavelio, Jurgio Kunčino romanuose // Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2012. 130 p. URL: [http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D\\_20121214\\_110754-99406](http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20121214_110754-99406).
24. *Čerškutė J.* Ričardas Gavelis: dekonstrukciniai žaidimai miesto kūne / kūno mieste // Metai. 2008. № 1. P. 82–89.
25. *Kubilius V.* Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje // Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje. Kaunas, 2003. P. 80–95.
26. *Kunčinas J.* Tūla. Vilnius: Vaga, 1993. 193 p.
27. *Šliogeris A.* Žmogaus egzistencija ir dabartinis romanas // Šiuolaikinės literatūros pasaulis. Vilnius: Vaga, 1989. P. 32–62.
28. Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje: Mokslo straipsniai // Sudarytoja G. Vanagaitė. Vilnius: VPU I-Ia, 2008. 205 p.
29. Tauta, kalba ir tapatybė: [straipsnių rinkinys] / Algis Norvilas; [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas. 2-asis leid. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2013. 148 p.
30. *Vaičiulėnaitė N.E., Radzevičienė S., Pabarčienė R.* Komparatyvinis Europos literatūros matmuo: mokslo studija. Vilnius: VPU leidykla, 2010. 84 p.
30. *Vedrickaitė I.* Harmoniją sapnuojantis groteskas // Lituanistica. 2009. Tomas 55. № 1–2 (77–78). P. 68–84.

## ТВОРЧЕСТВО Л. ТОЛСТОГО: ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ТИПОЛОГИИ

*Е.Ю. Полтавец*

Московский городской педагогический университет (Россия)

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОТИВ КОЛЕСНИЦЫ И ЕГО МИФО-РИТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ (на примере произведений Л. Толстого)

Современные зарубежные и отечественные исследователи мифа и литературы (Р. Барт, В.В. Иванов, А.М. Пятигорский, М.Ф. Мурьянов, С.М. Телегин) зачастую выбирают колесничный миф в качестве иллюстрации преемственности смыслов. Библейская и платоновская тема в образе «птицы тройки» в поэме Гоголя «Мертвые души» наиболее подробно рассматривалась в работах Е.А. Смирновой и М. Вайскопфа. М.Ф. Мурьянов рассматривает мотив колесницы в поэзии Пушкина в русле античной символики. Однако изображение средств передвижения в русском реалистическом романе также нуждается в пристальном рассмотрении. Необходимо выявление символических функций этих деталей во многих произведениях русских писателей. В статье рассматривается мифо-ритуальная семантика колесницы в литературных произведениях (в основном на примере творчества Л. Толстого). Мотив колесницы репрезентируется различными видами колесных экипажей: «каре́та», «кибиточка», «коляска», «бричка», «тарантас», «дрожки», «линейка» и т. д. Они упоминаются в «Войне и мире», в повести «Ходите в свете, пока есть свет», рассказах «Хозяин и работник», «За что?», «Божеское и человеческое» и других произведениях Толстого. Символика колесницы в произведениях Толстого рассматривается на фоне соответствующей символики в «Ригведе», в «Махабхарате», в диалогах Платона, в памятнике буддийской мысли «Вопросы Милинды». Колесничная мифологема рассматривается также в связи с мифологемой ковчега и гимническими структурами. Автор статьи опирается на мифореставрационный метод С.М. Телегина и теорию трансцендентного единства религий Ю. Эволы.

*Ключевые слова:* колесница; литературный мотив; миф; ритуал; соляренный; погребальный; гимн; Лев Толстой.

### **Literary Motif of a Chariot and its Mythic and Ritual Base (Illustrated by L. Tolstoy's Works)**

Modern foreign and domestic researchers of myth and literature (R. Bart, V.V. Ivanov, A.M. Pyatigorsky, M.F. Muryanov, S.M. Telegin) often choose the chariot myth to illustrate the continuity of meanings. Biblical and Plato theme in the image of «The bird of Troika» in Gogol's poem «Dead Souls» is most thoroughly considered in E. A. Smirnova's and M. Vajskopf's works. M.F. Muryanov considers the motif of a chariot in Pushkin's poetry in ancient symbolism line. However, the image of vehicles in the Russian realistic novel also needs careful consideration. It is necessary to identify the symbolic functions of these parts in many works of Russian writers. The article considers the mythological and ritual semantics of a chariot in literary works (for example, works of Tolstoy mainly). The motif of a chariot is represented by different types of wheeled vehicles: «carriage», «kibitka», «cart», «trap», «tarantas», «drozhky» «lineika» etc. They are mentioned in «War and Peace», in the story «Walk in the Light while There is Light», in the stories «Master and Man», «What For?», «The Divine and The Human» and other works of Tolstoy. The symbolism of the chariots in the works of Tolstoy is considered against the corresponding symbols in «Rig Veda», «Mahabharata», Plato's dialogues, and in the monument of Buddhist thought «The Questions of Milinda». Chariot myth is also seen in connection with the myth of the ark and the hymn structures. The author of the article relies on S.M. Telegin's method of mythological restoration and on the theory of transcendental unity of religions by J. Evola.

*Keywords:* chariot; literary motif; myth; ritual; solar; funeral; hymn; Leo Tolstoy.

Герои классической литературы отправляются в свои сухопутные поездки, как правило, в колесном экипаже. С развитием железных дорог и поезд как бытовая деталь наследовал многие функции литературных экипажей, в том числе, конечно, и многообразную символику средств передвижения, а железная дорога превратилась в один из мощных культурологических концептов (в наши дни часть этих функций переходит к автомобилю). О различиях в конструкции разнообразных «карет», «колясок», «дрожек», «линеек», «бричек» и пр., а также о соотношении эки-

пажа с социальным статусом и достатком владельца транспортного средства, равно как и об этикетных особенностях любого передвижения в пространстве, «выезда», можно найти немало интересного в изданиях, поясняющих, «что не понятно у классиков». Задачей же настоящей статьи является мифореставрационный (по методу С.М. Телегина) анализ мотива «колесницы», репрезентантами какого будем считать упоминания о любом колесном транспортном средстве на гужевой тяге (упряжке животных).

Колесничная символика многообразна: чичиковская бричка с «птицей тройкой», образ жизненного пути в «Телеге жизни» А.С. Пушкина. Даже тарантас в повести В.А. Соллогуба превращен в литературный образ не без некоторой символической функции, хотя преображение тарантаса в птицу происходит только для погруженного в сон героя повести. Однако реконструкция мифо-ритуального значения «колесничного» мотива и в русском реалистическом романе, где упоминания о средствах передвижения ничем не отличаются (на первый взгляд) от других незначительных подробностей, также может обнаружить немаловажную в контексте всего произведения семантику. В этой связи нельзя не заметить, что сама мифологема колесницы оказывается интересным предметом изучения для исследователей, обращающих свой взор к примерам переосмысления и преемственности мифологических традиций, закономерностям проявления мифологических и обрядовых смыслов. Так, Вяч.Вс. Иванов видит в сравнении обрядовой функции колесничных состязаний с функционированием соответствующего мотива в «Илиаде» ту методологическую основу, модель, на которую можно опираться и в ходе других сравнений реконструируемого архаического материала «с результатами его античной переработки» [5: с. 9].

И не только античной. Говоря о символах и аллегориях в поэзии Пушкина, а по сути — о трансцендентности мифопоэтических образов, М.Ф. Мурьянов как бы мимоходом добавляет: «Принцип преемственности действует подчас невидимо: историки техники искренне удивлялись, обнаружив, что ширина желез-

нодорожной колеи, принятая в Западной Европе (1435 мм), равна расстоянию между колесами телеги античного Средиземноморья, хотя в XIX веке создатели железнодорожного транспорта, вычисляя конструктивный оптимум ширины колеи для устойчивости движущегося вагона, руководствовались уравнениями теоретической механики, а не данными археологии. Со своей стороны, создатели древних телег, будучи чистыми практиками, не знали уравнений теоретической механики. Совпадение нового и древнего размеров колеи — чудо преемственности, состоявшееся помимо воли действующих лиц» [7: с. 172]. А.М. Пятигорский, неоднократно обращаясь к универсальности мифологемы колесницы, не устает подчеркивать особую роль героев «Махабхараты» Санджай и Кришны как колесничих, наделенных в силу этой особой функции сверхзнанием: «“Колесничий” является практически универсальной мифологической *метафорой души*, поскольку это Божественная Душа передает свою мудрость через сверхъестественность колесничего» [9: с. 182].

Облюбовав мифологему колесницы в качестве убедительного примера преемственности традиций, а то и в качестве метафоры «“посредника” между естественным (знанием) и его Божественным соответствием, Абсолютом» [9: с. 183], филологи, по-видимому, бессознательно отдают дань какому-то трансцендентальному закону, согласно которому возникший и упряжка коней уже много столетий назад оказались метафорой души (в индийском религиозно-дидактическом эпосе «Махабхарата» и в «Федре» Платона<sup>1</sup>), а сама колесница — еще и философским примером иллюзии существования и даже древней метафорой упражнений в семиотике; об этом ниже. Для филологии также немаловажно, что колесничие не только правили лошадьми в бою, они часто являлись *сутами* («Махабхарата»), певцами героических подвигов, сказителями и поэтами, провидцами и мудрецами (причем не только в древнеиндийском эпосе: вспомним прозвище

---

<sup>1</sup> Тема платонизма Гоголя и восходящий к «Федру» мотив гоголевской «птицы тройки» подробно рассмотрены в работах Е.А. Смирновой и М. Вайскопфа.

мудрого Нестора — «конник», колесницу Ильи-пророка, легенды об Александре Македонском, приписывающие ему исполнение пророчества о власти над всей Азией вследствие разрубания гордиева узла, который, как известно, был элементом колесницы). В буддизме колесничему также принадлежит почетное место. Согласно биографии Сиддхартхи Гаутамы, именно его возница открыл ему глаза на существование человеческого страдания.

Герои «Махабхараты» Арджуна и его возничий Кришна — это отголосок мифа о близнецах Ашвинах. Согласно «Ригведе», Ашвины, небесные божества, чье название происходит от «ашва» («конь»), правят космической колесницей, разгоняющей тьму. (Для «Махабхараты» близнечный миф чрезвычайно актуален.) Чуть ли не каждая деталь колесницы и упряжи наделялась аллегорическим значением: кузов означал праведность, навес — совестливость, кони — чувства, бич возницы — священные книги, колесничий — разум и т. д. Эта символика в индуизме охватывает даже более обширный круг деталей, чем в философии Платона; А. Кумарасвами называет символизм колесницы «индийским в той же степени, как и платоновским» [6: с. 261]. «'Я' — пассажир, которому принадлежит колесница <...>, Ум — кучер <...>, из-за своей двойственной природы, человеческой и божественной, чистой и нечистой, может либо позволить коням свернуть с прямого пути <...> в область язычества <...> или направлять их согласно воле Духа» [6: с. 261–262]. Поэтому колесничий, обладавший таким набором священных предметов и руководивший такими священными действиями, наделен сверхспособностями или даже является богом, как Кришна (Кришна, в свою очередь, может пониматься как аватара Вишну). Упряжь в эпическом санскрите называется *йогой*. Многозначное санскритское слово «йога», одно из ключевых понятий в «Махабхарате», чаще всего переводят словом «сопряжение». В «Войне и мире» Л. Толстого это тоже очень важное понятие, усиленное игрой смыслов («запрягать» – «сопрягать»). Это соотношение значений сопоставимо с соотношением в эпическом санскрите: слово «йога» в значении «упряжь» породило русское «иго» — ярмо. *Запрягая*, колесничий одновременно *сопрягает*, т. е. выполняет важнейшее

сотериальное действие — является спасителем мира, который погибнет, если возница остановится. Учение Кришны велит сопрягать «личный социальный долг» с «всеобщим долгом, универсальной гармонией мира» [4: с. 327].

В «Войне и мире» именно берейтор будит Пьера Безухова на постоялом дворе со словами «запрягать надо», которые не вполне проснувшийся Пьер воспринимает как голос свыше, повторяющий требование «сопрягать». Эта фонетическая и смысловая близость лексем «запрягать» и «сопрягать» — не просто игра слов, виртуозно демонстрирующая еще один прием психологической характеристики, а знак важнейшего йогического подтекста эпизода. Берейтор, конечно, не крепостной возница-кучер, он мог быть свободным человеком, иностранцем (в «Анне Карениной» — англичанин), исполнявшим обязанности учителя верховой езды; берейтор также тренировал лошадей и т. д. И все же берейтор имеет отношение к *управлению лошадьми*, он, как и кучер, «наследник» мифологического колесничего, поэтому оказывается, что сакральные слова произносит тот, кому это и полагается по мифологической традиции. Берейтор же помогает Пьеру добраться до постоялого двора в Можайске. Все это паломничество Пьера на поле Бородина отмечено важной ролью способствовавших его передвижению «колесничих» и «колесниц». Так, перед отъездом Пьер отдает приказания своему «все знающему, все умеющему, известному всей Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск к войску» [13: Т. VI, с. 190]. В Можайске *телеги* с ранеными загораживают дорогу, встречается *бричка* доктора, Пьер отдает свою *коляску* знакомому раненому генералу. Встреча возвратившегося в Москву Пьера с Наташей у Сухаревой башни тоже связана с *каретой*. «Автомедоны наши бойки», но это не самое главное их качество. Вообще роль кучера, возницы, стремянного в «Капитанской дочке» (у Пушкина воспитатель Гринева Савельич не только бывший стремянный, но и имя носит соответствующее — Архип, в переводе с греческого — «начальник лошадей», «старший над лошадьми»), в «Мертвых душах» (кучер Селифан носит имя одного из семидесяти апостолов — Силуана) и, конечно, в «Войне и



мире» (несмотря на погруженность в контекст бытовых деталей) обозначена именно как роль не только «бойкого», но и «знающего». О старом кучере Ростовых Ефиме, «с которым одним только решалась ездить графиня», говорится примерно так же, как о Кутузове: «Он тридцатилетним опытом знал...» [13: Т. VI, с. 330].

В этом контексте особенно уничтожающий смысл приобретает знаменитое толстовское сравнение Наполеона с мальчиком, который, дергая за веревочки внутри кареты, думает, что он правит лошадьми. Наполеон здесь высмеивается не только как глупец, вообразивший, что он правит миром, а и как ничтожество, вообразившее, что он и есть божество.

Скорее всего, платоновская упряжка является реминисцентным фоном не только для «птицы тройки» в «Мертвых душах», но и для описания отчаянного ямщика Балаги в «Воине и мире». В эпизод подготовки Анатоля и Долохова к увозу Наташи встроены рассказы о преступлениях Балаги на службе у Анатоля и Долохова, о риске, которому не однажды подвергался и он сам. И не только Балага, но и Наташа во всей истории ее увлечения Анатодем соотносится с увлекаемым разрушительной страстью конем платоновской упряжки, который несется, не разбирая дороги. Закономерно также, что решимости Наташи бежать с Анатодем предшествует верховая езда на охоте и вся «хьюбристическая» семантика охотничьего мифа, вплоть до охотничьей пляски у «дядюшки».

В начале 1880-х годов Толстой задумывает «христианскую повесть» под названием «Ходите в свете, пока есть свет» (в России издана лишь в 1893 году), действие которой происходит во времена первых христиан, сюжет же ее может быть отнесен не столько к историческим, сколько к притчевым временам. «Колесничные ристалища» на Олимпийских играх, в которых участвует герой повести Юлий, заканчиваются для него плачевно: «колесница его на одну толщину пальца взяла влево» [12: Т. XXVI, с. 280], столкнулась с другой, он упал и получил серьезные травмы, зато во время болезни он «имел досуг обдумывать свою жизнь» [12: Т. XXVI, с. 279], склоняясь к принятию христианства. И хотя нравственный переворот произошел не сразу, случай

с колесницей был одной из важных вех на пути нравственного возрождения героя (в связи с этим нельзя не вспомнить эпизод Аустерлица и его значение в сюжетной линии Андрея Болконского). Таким образом, античный (языческий) символизм «колесничных ристалищ» в повести Толстого о первых христианах подвергся инверсии: «падение» не замедляет, а ускоряет духовный рост. В «Войне и мире» Пьер Безухов говорит: «Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее» [13: Т. VII, с. 235].

А вот в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского сон Раскольников об убийстве лошадки содержит отсылку к еще более архаической, т. е. близнечной, семантике колесничного мифа. Запряженную в непосильный воз лошадку убивает один Миколка, а другой Миколка становится героем «заместительного страдания», хочет взять на себя преступление, которого не совершал, становясь, таким образом, жертвенным «близнецом» Раскольникова, в противовес его преступному «близнецу» — Миколке, совершившему заклание коня (принесение коня в жертву, например, древнеиндийский обряд «ашвамедха», — один из распространеннейших архаических ритуалов).

В «Войне и мире» упоминаются кареты, коляски, кибитки, телеги, фуры, подводы. Ростовы едут на бал и в театр, как и полагалось по этикету, в карете, а с охоты возвращаются на «линейке» и в «дрожжах». В «коляске» ездит Кутузов. Побег Наташи с Анатолом задуман «на тройке» (вид экипажа не обозначен; зимой по расчищенной от снега Москве могли ездить и в колесном экипаже). «Подводы», на которых Ростовы собирались увозить имущество и которые были отданы раненым, — просто телеги. Упоминаются, конечно, и «сани», но колесные экипажи более разнообразны и встречаются гораздо чаще.

В классических произведениях нет «неговорящих» имен (Ю.Н. Тынянов), нет в них и незначительных деталей. Мифологическая подсветка эпизода выезда Ростовых из Москвы усилена подробными, намеренно затянутыми описаниями графининой кареты, кучера, лошадей, возвращения за забытыми вещами, настав-

лений кучеру. Всё это — своеобразные подробности приготовления ковчега, причем, как и в упоминании о том, что после охоты «Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку» [13: Т. V, с. 278], будущее Пети опять предсказывается как опасное: Пете не хватает места в карете, «сомневались о том, куда сядет Петр Ильич» [13: Т. VI, с. 328]. Забота Берга о погрузке «шифоньерочки» на этом фоне праведных сборов в ковчег придает смысловую законченность мифологическому сюжету, так как в «ковчезном» и «потопном» мифе спасительное транспортное средство, как правило, подвергается атаке со стороны злых, вредоносных сил. Праведные противопоставляются неправедным, в средство спасения (ковчег, тыкву) забирается хтоническое существо (например, мышь); порой ковчег или другое «плавсредство», наоборот, покидается эгоистическим животным (например, вороном, который вместо того, чтобы осуществлять разведку земли, занимается своим любимым делом — поеданием падали). Иногда средство спасения — стрелы, которые праведник посылает к туче, чтобы, ухватившись за них, вознестись над потопом. Хорошие люди и звери спасаются таким образом, но злые стремятся помешать (из мифов североамериканских индейцев).

Бедствие — нарушение «освоенности пространства» [1: с. 105], придание нового, экзотического облика привычным вещам. Все это ощущалось и в доме Ростовых перед отъездом в 1812 году из Москвы и сообщило Наташе душевные силы для выхода из кризиса после истории с Анатодем. Экзистенциальная катастрофа еще не катарсис, но условие выхода из него. Катарсисом будет смерть Болконского.

Энергичный подъем, помощь раненым — все это явилось понятным порывом к установлению солидарности с другими людьми, сплоченными опасностью. Раненых, которых приютили в доме на ночь, утром закономерно забирают в семейный ковчег. Р. Барт называет такую эйфорию «эйфорией удачного приема — все равно как успеть убрать урожай или сохнувшее белье до начала грозы, или когда в приключенческом романе в последний момент поднимают крепостной мост» [1: с. 107]. «Миф о ковчеге — бла-

женный миф, в ковчеге человечество отделяет себя от стихии, в нем оно сплачивается и вырабатывает необходимое сознание своих способностей, из самой беды добывая уверенность в том, что мир можно переустроить по своей воле» [1: с. 107]. Чувство сплоченности генерирует чувство сострадания. «Блаженный миф ковчег» наконец научил Наташу страдать и сострадать. И закономерно, что в «Воине и мире» ковчегный миф соединяется с колесничным. В рассказе же «За что?» (1906) ситуация «исхода» оказывается не спасением, а ловушкой, и таранас не прячет, а предательски являет живого Мигурского вместо детских гробов. При всем безусловном авторском сочувствии Мигурским и несмотря на известную реальную прототипическую ситуацию, замена мертвых на живого (но считающегося мертвым) не удаётся, видимо, в силу той самой погребальной семантики колесницы, неумолимого архетипического значения, которое на сюжетном уровне герои рассказа не осознают.

М.Ф. Мурьянов замечает: «Архаический ум должен был уловить в абстрагированном понятии о движущемся экипаже нечто достойное удивления и поклонения, принадлежащее миру горнему. Эту догадку мы выводим из того, что высокопоставленный египетский сановник изображался передвигающимся на колеснице и в тех ситуациях, когда проще и естественнее было бы пройти пешком» [7: с. 171]. Сакральное значение *чакры* (круга, колеса, центра) перешло и на колесницу. В битве потеря колеса, а тем более всей колесницы равносильна позору и поражению (особенно в ведийском мифе, в «Махабхарате»). В Библии колесница может символизировать престол Бога. Во всех индоевропейских традициях присутствовало представление о колеснице солнца, в связи с чем похоронный обряд с колесницей (трупосожжение на колеснице) обеспечивал путь на небо к божественным предкам. Еще и поэтому образ возницы, колесничего, погонщика упряжки разделялся особой семантикой, огненное же колесо имело смысл не только солярный, но и посвятельный. Образ колесницы Ашвинов, вывозящих солнце из тьмы, соотнесен и с обрядом посвящения, с лиминальным локусом. «Это инициационное путе-

шествие оказывается необходимым, чтобы, победив все ночные страхи собственного бессознательного, переродиться и достичь более высокого уровня сознания, вхождение в который и подобно рассвету», — пишет С.М. Телегин [11: с. 101].

Один из наиболее таинственных гимнов «Ригведы», «непомянутый во многом и знатокам Ригведы из-за глубокой архаичности основы его» [3: с. 18], называется «Разговор мальчика и умершего отца» (в переводе Т.Я. Елизаренковой — «Мальчик и колесница. Голос отца»). Мальчик тоскует по отцу, ушедшему в страну предков, и получает от него такой ответ:

*Голос отца:*

О мальчик, новая колесница  
Без колес, которую ты создал в воображении,  
У которой одно дышло, но едет она во все стороны, —  
Ты стоишь на ней, не видя (этого).  
За колесницей, которую, о мальчик,  
Ты покатишь от вдохновенных,  
За ней катилось вслед песнопение:  
Отсюда оно было помещено на корабль.

*Автор:*

Кто породил мальчика?  
Кто выкатил колесницу?  
Кто сможет нам сегодня сказать:  
Как произошла передача?  
Это обитель Ямы... [2].

По интерпретации индологов, основное содержание гимна — космогоническое, а также указывающее на тайну смерти. Колесница означает поминальное жертвоприношение, сопровождающееся прославлением царства Ямы (это не только царство смерти, но и вечный мир, Вселенная — жилище богов). Н.Н. Велецкая приводит многочисленные аналоги этого гимна в славянском фольклоре (добавим, что этот фольклор был хорошо известен автору «Войны и мира»), подчеркивая, что образы колесницы, корабля связаны с представлениями о пути на «тот свет», т. е. возвращении к космическим предкам. Согласно авторитетному словарю, данные славян-

ских языков свидетельствуют, что древнейшая символика колесницы связана с космосом. «Номинации телеги и ее частей участвуют в формировании астронимов, ср. названия Большой Медведицы: рус. *Воз, Повозка, Телега, Арба*» [10: с. 243].

«Древнейший текст, отразивший общеиндоевропейские представления о тайнах соотношения живущих на земле с предками в потустороннем мире, имеет многосторонние параллели в славянском фольклоре (сказки, причитания, былички, эпические песни и т. п.). <...> Устами осиротевшего излагается взгляд на участь умершего, достойно проведшего жизнь <...>. Отклик тоскующему сыну, при всей многосложной образности, смысл которой по-настоящему был понятен лишь посвященным, способствует пониманию представлений о загробном царстве, о путях его достижения, модели мироздания в целом, об извечном кругообороте жизни и смерти. Не ведающему тайн мироустройства отроку открывается лучшая участь смертных — владения первопредка Ямы, царя в мире священных предков», — считает Н.Н. Велецкая [3: с. 18–19]. Следы этой архаической гимнической структуры обнаруживаются в тексте сна Николеньки Болконского и в его обращении к отцу. Колесница в этом эпизоде не упоминается, но достаточно вспомнить, что князь Андрей в «коляске» совершает свой последний путь от Бородина до Ярославля. В рассказе «Божеское и человеческое» телега, увозящая на казнь Светлогуба, представляется «стариком раскольнику» «колесницей». Два деифицированных персонажа в творчестве Толстого — князь Андрей и Светлогуб — уезжают на смерть на колеснице, что соответствует не только общемифологической погребальной семантике колесницы, но и ведическим представлениям о возвращении во внеземной мир предков, куда можно добраться на огненной колеснице, возносящейся на небеса.

На колеснице («фуре»), да еще трофейной, создает свой победный и одновременно предсмертный гимн Петя Ростов. Пьер после Бородинского сражения видит символический сон, ночуя в колеснице, в «коляске». А в плену, сидя у колеса отпряженной повозки, Пьер проникается чувством связи со всей Вселенной.

Знаком воинской доблести был и пушечный лафет — на него клали тело погибшего героя (как в Спарте на щит). (В стихотворении К.М. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» (1941) сохранено это значение, усиленное тем, что на лафете — ребенок.) У Толстого героический капитан Тушин предлагает Николаю Ростову (в котором нет ничего героического) место на лафете Матвевны просто в силу человеческого сочувствия.

В буддийском философском диалоге «Вопросы Милинды» образ колесницы используется как пример иллюзии существования. Колесницы не существует, пока она не собрана из отдельно существующих ее частей, и точно так же она не будет существовать, когда развалится на части. Но за этим примером стоит еще более глубокое толкование, имеющее отношение к семиотике: «“Колесница” есть слово, употребляющееся в связи с предметом, состоящим из колес, дышла, кузова и других частей, но из самого слова нельзя заключить, что это за предмет и из чего он составлен» [8: с. 51]. У Платона в «Теэтете» Сократ с этой же целью называет составные части «повозки». В «Воине и мире» приводятся различные мнения о природе движения паровоза. На составные части как бы раскладывается само объяснение движения: один мужик называет причиной движения черта, другой — немца, третий — колеса, дым, пар и т. д. У Толстого рассуждения о средстве передвижения, как и в древних философских системах, избираются для пояснения весьма отвлеченных понятий. В индустриальных и платоновских текстах речь идет об а) «устройстве» души; б) закономерностях человеческого мышления и языка; в «Воине и мире» — о закономерностях развития человечества и истории. Как универсальный символ колесница означает еще и власть, поэтому проблема власти, поставленная в 3-й главе второй части «Эпилога», связана с рассуждениями о паровозе. Остается сделать вывод, что мифо-ритуальная семантика колесницы проявлена в «Воине и мире» в полной мере. «Различные символы, мифы, обряды, догмы и учения несут в себе тождественное значение, но это тождество возникает не в результате внешнего заимствования или исторической преемственности, а обусловлено главным



образом их общим метафизическим и вневременным содержанием», — пишет Ю. Эвола о «трансцендентном единстве религий» [14: с. 180], распространяя эту точку зрения на миф и обряд. Судьба колесничной мифологемы является яркой иллюстрацией этого тезиса.

### *Литература*

1. *Барт Р.* Мифологии. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 2004. 320 с.
2. Веды / Тексты Вед на русском. URL: [http://scriptures.ru/vedas/rigveda10\\_118\\_146.htm](http://scriptures.ru/vedas/rigveda10_118_146.htm) (дата обращения: 16.05.2013 г.).
3. *Велецкая Н.Н.* Символы славянского язычества. М.: Вече, 2009. 320 с.
4. *Гринцер П.А.* Древнеиндийский эпос. М.: Наука, 1974. 420 с.
5. *Иванов Вяч.Вс.* Античное переосмысление архаических мифов // Жизнь мифа в античности: мат-лы науч. конф. «Випперовские чтения – 1985» / Под общ. ред. И.Е. Даниловой. Вып. 18. Ч. 1. М.: Сов. художник, 1988. 304 с.
6. *Кумарасвами А.К.* Об индийской и традиционной психологии, или, вернее, пневматологии // Волшебная гора. XV. М.: Волшебная Гора, 2009. 552 с.
7. *Мурьянов М.Ф.* Из символов и аллегорий Пушкина. М.: Наследие, 1996. 280 с.
8. *Парибок А.В.* «Вопросы Милинды» и их место в истории буддийской мысли // Вопросы Милинды (Milindapan'ha). М.: Наука, 1989. 485 с.
9. *Пятигорский А.М.* Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М.: Языки русской культуры, 1996. 280 с.
10. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 5. М.: Международные отношения, 2012. 736 с.
11. *Телегин С.М.* Возвращение Гипербореи. М.: Амрита, 2012. 208 с.
12. *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное). М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958.
13. *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: в 22 т. М.: Художественная литература, 1978–1985.
14. *Эвола Ю.* Лук и булава. СПб.: Владимир Даль, 2009. 384 с.

### References

1. *Bart R.* Mifologii. M.: Izd-vo imeni Sabashnikov'y'x, 2004. 320 s.
2. *Vedy' / Teksty' Ved na russkom.* URL: [http://scriptures.ru/vedas/rigveda10\\_118\\_146.htm](http://scriptures.ru/vedas/rigveda10_118_146.htm) (data obrashheniya: 16.05.2013 g.).
3. *Veletzka N.N.* Simvoly' slavyanskogo yazy'chestva. M.: Veche, 2009. 320 s.
4. *Grincer P.A.* Drevneindijskij e'pos. M.: Nauka, 1974. 420 s.
5. *Ivanov Vyach.Vs.* Antichnoe pereosmy'slenie arxaicheskix mifov // Zhizn' mifa v antichnosti: mat-ly' nauch. konf. «Vipperovskie chteniya – 1985» / Pod obshh. red. I.E. Danilovoj. Vy'p. 18. Ch. 1. M.: Sov. xudozhnik, 1988. 304 s.
6. *Kumarasvami A.K.* Ob indijskoj i tradicionnoj psixologii, ili, vernee, pnevmatologii // Volshebnaya gora. XV. M.: Volshebnaya Gora, 2009. 552 s.
7. *Mur'yanov M.F.* Iz simvolov i allegorij Pushkina. M.: Nasledie, 1996. 280 s.
8. *Paribok A.V.* «Voprosy' Milindy'» i ix mesto v istorii buddijskoj my'sli // Voprosy' Milindy' (Milindapan'ha). M.: Nauka, 1989. 485 s.
9. *Pyatigorskij A.M.* Mifologicheskie razmy'shleniya. Lekcii po fenomenologii mifa. M.: Yazy'ki russkoj kul'tury', 1996. 280 s.
10. Slavyanskije drevnosti. E'tnolingvisticheskiy slovar'. T. 5. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 2012. 736 s.
11. *Telegin S.M.* Vozvrashhenie Giperborei. M.: Amrita, 2012. 208 s.
12. *Tolstoj L.N.* Sobr. soch.: v 90 t. (Yubilejnoe). M.; L: Goslitizdat, 1928–1958.
13. *Tolstoj L.N.* Sobr. soch.: v 22 t. M.: Xudozhestvennaya literatura, 1978–1985.
14. *E'vola Yu.* Luk i bulava. SPb.: Vladimir Dal', 2009. 384 s.

*А. Молнар*

Университетский центр «Савария» (Венгрия)

**НАИМЕНОВАНИЕ СМЕРТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
Л. ТОЛСТОГО («СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»)  
И М. УГАРОВА («СМЕРТЬ ИЛЬИ ИЛЬИЧА»)**

Сопоставительный анализ повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и пьесы М. Угарова «Смерть Ильи Ильича» раскрывает общий план произведений сквозь призму действия и мотивики. Затронуты такие образы, как врач, слуга и предметные детали. В произведениях получает исчерпывающее метафорическое освещение не только присвоение имени жизни и смерти, но и многопланово разворачивается проблема физической и душевной болезни как самоосмысления.

*Ключевые слова:* Л. Толстой; М. Угаров; общие мотивы и образы; наименование смерти.

*A. Molnár*

**The Name of Death in Works  
of L. Tolstoy («The Death of Ivan Ilyich»)  
and of M. Ugarov («The Death of Ilya Ilyich»)**

The comparison of the story “The Death of Ivan Ilyich” by L. Tolstoy and the play “The Death of Ilya Ilyich” by M. Ugarov demonstrates the general plan of works through the aspects of the naming of the action and motifs. It affects such images, as the doctor, the servant and the subject details. The works have a comprehensive metaphorical enlightening not only the naming of life and death, as well as the multifocused problem of deploying the physical and mental illness as self-understanding.

*Keywords:* L. Tolstoy; M. Ugarov; general motifs and images; naming of death.

**В** статье рассматриваются пути активизации смыслового плана повести позапрошлого века — «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого — в постмодернистском произведении — в пьесе М. Угарова «Смерть Ильи Ильича». Диалог пьесы с претекстами понимается не как простое заимствование литературных тем или их влияние, а как творческое переосмыс-

ление, порождающее новый «продукт». Форма цитации произведения XIX века создает конфронтацию с ситуацией, в которой находится современный человек. Взаимодействие «старого» и «нового» слова в произведении рубежа XX–XXI века предстает как драматический дискурс.

У анализируемого произведения Угарова больше источников, и оно может быть соотносимо не с одним претекстом (так, ранее нами были рассмотрены интертекстуальные связи романа И. Гончарова «Обломов» и пьесы М. Угарова «Смерть Ильи Ильича» [1]). Как и Толстой в повести «Смерть Ивана Ильича», Угаров в своей пьесе обращается к проблемам жизни и смерти, в том числе оба автора ведут поиски наиболее правильного наименования болезни, с одной стороны, и смерти, с другой.

Отказ гончаровского Обломова от суетности жизни позволяет ему не утруждаться, тогда как любовь заставляет увидеть жизненные трудности. Эта же проблема возникает в жизни Ивана Ильича в начале повести Толстого. Если жизнь героя до болезни была связана с радостью движения, то болезнь лишила его этого удовольствия. Текст- и смыслообразование современной модернистской пьесы проецируется прежде всего на роман «Обломов». Рекомендации «докторов», а также Штольца и Ольги в отношении болезни Ильи Ильича в пьесе Угарова не отвечают интересам Обломова: «Утреннее умывание... Мокрое полотенце... Гимнастика...» [3].

Доктор в романе Гончарова показан как человек, внимательный к пациенту. Позже и Толстой покажет в докторях профессионализм поведения. Угаровский доктор Аркадий молод, но старается показать себя лицом значительным: «Представиться по полной форме, не торопясь, не волнуясь. Говорить нужно медленно, как бы обдумывая сказанное. Очки нужно завести для солидности, вот что!» [3]. Он выражается категорично («веско», «горячо»), подобно врачам-судьям в повести Толстого: «Всякий человек в чем-нибудь да виноват» [3]. Аркадий убежден, что другие доктора из-за недостаточности своей квалификации не обнаружили у Обломова никакой болезни: они разглядели только физические симптомы ипохондрии, но «не нашли ей [болезни] названия» [3].

Аркадий отказывается лечить больного, но обещает определить его болезнь. Такой подход подается как новейший метод душевного анализа: «Наука показывает, — как только больной узнает название своей болезни, — у него тотчас же все как рукой снимает!» [3]. В результате поиска наименования болезни Обломова и посвящена пьеса Угарова.

Самая естественная, с прагматической точки зрения, причина болезни угаровского Обломова — как и его необычности, исключительности и странности — состоит в том, что он 14 раз ударился головой, когда катался с горки на санях. Обломов в пьесе рассуждает о том, на какие части делится голова, и доказывает «умному» Штольцу, что для коммерческой деятельности требуется только часть человека. Источником этой модернистской сентенции может быть и идея Толстого, согласно которой при жизни люди не отличаются друг от друга, и только смерть вызывает необходимость их разграничения.

В пьесе Угарова неполнота существования свойственна любви. Любовь в этом произведении определяется как болезнь. Угаров обыгрывает сцену из гончаровского романа, когда герой смотрится в зеркало и пытается понять, достоин ли он Ольги. В зеркале же ищет изменения в своем физическом облике и герой Толстого, осознавая эти изменения как результат смертельной болезни. Главное событие в жизни Обломова кроется в его поступке: испытывая чувство любви, он духовно оживает, встает с дивана и начинает действовать. Иван Ильич в результате своей болезни прозревает и осознает необходимость любви к ближнему, выраженной в форме принятия смерти.

Герой Угарова чувствует себя смертельно больным, боится умереть и требует лечения. Доктор Аркадий утверждает, что любые болезни — следствие душевных травм: «Сделал что-то худое. И сам себя наказал» [3]. Он называет болезнь Обломова «невидимой» и заключает: «все от головы» [3]. Однако в дальнейшем он утверждает, что «причина и следствие не имеют связи» [3]. Связь «причина – следствие» роднят модернистскую пьесу с повестью Толстого, поскольку болезнь и смерть Ивана Ильича показаны

как длительный, мучительный процесс, являющийся наказанием за неправильно прожитую жизнь.

Мотивы «души» и «головы» играют важную роль в повести Толстого, в которой показано, что физическая, душевная и ментальная болезнь Ивана Ильича начинается с удара в левый бок. В эпиграфе к пьесе Угарова дана фальшивая справка о здоровье главного героя (для его увольнения со службы). Она дословно взята из романа Гончарова. В ней утверждается, что у героя «отолщение сердца с расширением левого желудочка», что предписывает ему воздержание «от умственного занятия и всякой деятельности» [3]. Болезнь сердца становится причиной ухода героя со службы и постоянного пребывания на диване.

Для титульных героев указанных произведений характерна малоподвижность, что способствует как процессам осмысления жизни, так и демонстрации своей обособленности от общества. Угаровский Обломов отрицает дело: «...мало тут человека-то нужно — дело делать!» [3]. Симптомы болезни пациента обнаруживаются и у врача: он все лежит на диване, и ему не хочется больше вставать. Если в гончаровском Обломове показывается неустанное осмысление жизни, а также если Илья Ильич находится в постоянных метаниях, угаровский герой незамысловат: «Накрыл голову ладонями, и оказался “в домике”. И сразу успокоился, выражение лица сделалось ровным. И — родилась мысль» [3].

В пьесе Угарова в ответ на вопрос Штольца о смысле жизни без труда и страстей герой находит виноватых: «Ведь это только литераторы делают себе вопрос: зачем дана жизнь? И отвечают на него. А добрые люди? Добрые люди живут, зная себя, в покое и бездействии» [3]. Такое объяснение у Гончарова, безусловно, отсутствует. Современный же драматург-модернист переставляет акценты. В разговоре с Ольгой Обломов рассуждает пессимистически, что у него «жизнь ненужная» [3]. Подтверждение или отрицание этих слов остается за пределами пьесы. Литературным источником в данном случае является скорее повесть Толстого, в которой размышления Ивана Ильича подчеркнута связаны с экзистенциальными проблемами переосмысления жизни.

Несомненна связь сцены смерти героя Угарова со сценой смерти героя в романе Гончарова: «Никто не видал, как умер, и стоны предсмертного не слышали. Без мучений. Удар, говорят. <...> Только руку успел прижать к сердцу. Видно, болело» [3]. Однако ее литературным источником служит скорее повесть Толстого. Слова и выражения «винтит», «колет», «в левом боку», «тяжелое дыхание» в пьесе Угарова получают развитие: «Что-то шевелится и толкает? <...> И в левом боку — будто колышек?» [3]. Даже боль любви сопряжена с болью умирающего человека: «У сердца, в левом боку, как будто болит. Даже дышать тяжело» [3]. Последствия этих ударов — ограниченность движения, онемение в теле, страх смерти — детализуются как в повести Толстого, так и в пьесе Угарова. Наименование болезни и смерти Обломова в пьесе Угарова — «тотус». Такое присвоение имени становится особенно значимым в свете повести Толстого, в которой ни болезнь, ни смерть не получают особого наименования. Повествователь сообщает о видимой стороне смертельной болезни Ивана Ильича через восприятие окружающих людей: «знали, что его болезнь неизлечима», «ему не подняться», хотя «казалось, что он поправится» [2: с. 137–138]. Описание симптомов и физических страданий как процесс умирания развертывается в повести постепенно.

Для изображения болезни Ивана Ильича Толстой вводит двойное отрицание: болезнь (с симптоматикой странного вкуса во рту и неловкости в левой стороне живота) на первых порах «нельзя было назвать нездоровьем» [2: с. 155]. Однако показано, что состояние героя стало портить ему «приятность легкой и приятной жизни» [2: с. 155]. С нарастанием неловкости (как отрицания прежней подвижности) происходит осознание «постоянной тяжести в боку» (как отрицание прежней легкости), в результате возникает вечно «дурное расположение духа» (как отрицание прежней веселости). Оказывается, что вкус (приторный и безнадежный) лучше других инструментов формирования чувства информирует человека о внутренней дестабилизации.

В дальнейшем в повести говорится о том, что герой Толстого находит временное облегчение благодаря лекарствам, т. е. с ис-



полнением врачебных предписаний. При этом главный интерес его жизни сдвигается в сторону изучения людских болезней, чтения медицинских книг и усвоения этого языка, на котором он старается назвать свою болезнь. Не осознавая безысходности своего состояния, он стремится найти выход («исправлю», «поборю»), но эти проявления воли оказываются неэффективными. Герой «падает в отчаяние», злится на свое несчастье, на людей, на врачей, которые «убивают», «раздражают» его. Нарушается привычное спокойствие. Не помогают ни гомеопатия, ни целительство с помощью иконы. Стираются грани жизни: «всё было всё равно, всё было одно и то же: ноющая, <...> мучительная боль; сознание безнадежно уходящей <...> жизни» [2: с. 169]. Вместе с тем герой стонет не только от физической боли, но и от тоски. Мучительнее всего он переживает то, что теперь видит ложь, на которую закрывал глаза. Героя начинает занимать вопрос о смысле существования («зачем?»). Это обозначено метафорическим предикатом действия «черной дыры», которая «поглощает» его. Перед неминуемым («на краю пропасти») человек начинает размышлять о жизни и чувствовать свое одиночество, заброшенность, утрату всякой связи как с людьми, так и с Богом. Иван Ильич продолжает обвинять какого-то другого — какое-то высшее существо, не понимая, что прежде отступил от него. Поэтому герой не находит истинного определения того, что с ним происходит.

По мере нарастания болезни усиливаются признаки превращения Ивана Ильича в ребенка. Герасим выполняет обязанности няни, сиделки. Он и кормит больного, и берет на себя самую грязную работу — выносит «судно за Иваном Ильичем». Только Герасим понимает, что перед смертью все равны, и в свою очередь «надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд» [2: с. 168].

На первый взгляд, комические сцены между Обломовым и Захаром не имеют ничего общего со сценами с участием Ивана Ильича и Герасима. Толстовский Герасим при Иване Ильиче выполняет более действенную роль, чем гончаровский Захар при Обломове. Угаров в своей пьесе еще более усиливает этот мотив.

И Гончаров, и Толстой подчеркивают в героях, находящихся на определенных этапах своего жизненного существования, некую детскость. В повести Толстого больной Иван Ильич требует к себе внимания и жалости, как ребенок. Страдает его самолюбие, ему хочется ласки, утешения. При этом он забывает о своем высоком положении члена судебной палаты и о том, что он постаревший человек с седеющей бородой. В воспоминаниях он возвращается в свое счастливое детство. Требуется переоценка прежней жизни — ее переименование. Мучения и смерть будут лишены смысла, пока герой полностью не отвергнет «всю законность, правильность и приличие своей жизни» [2: с. 177]. В герое начинается процесс переосмысления собственного прошлого. После вспрыскивания болеутоляющего Иван Ильич забывается. Моменты прозрения и просветления происходят во мраке. Метафора темноты подчеркивает недостоверность того, что человек воспринимает с помощью зрения. По мере приобретения героем настоящего видения в повести сильнее акцентируется визуальный эффект: «...с глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть» [2: с. 166]. В диалог с неизвестным, неназванным нельзя вступить при помощи зрения. Но главный акцент в высказывании падает на то, как — с использованием местоимения — переименовывается смерть.

Иван Ильич начинает осознавать, что страшное и ужасное то, что «неминуемо». Для умирающего это «ужасный», «страшный торжественный акт», а для других, живых, этот акт низводится до уровня светских визитов и обедов, т. е. того, что покрывается ложью: «...страшная, ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё так же ложь» [2: с. 169]. Имя данной силы не должно быть произнесено. Героя захлестывает «невидимая непреодолимая сила». Возникает метафора черного мешка, которая интерпретируется исследователями по-разному — как могила, лоно, дыра / тоннель смерти в иное бытие и др. Обращает на себя внимание связь этого образа с проходным, казалось бы, образом из романа «Анна Каренина»: это человек, ковыряющийся в мешке, который предвещает смерть.

Повествователь в произведении Толстого подробно, в деталях описывает состояние героя, подчеркивая заслуженность такого умирания. Мучение получает предметную метафоризацию, которая пронизывает текст: с приближением конца герой чувствует, что его «с болью суют куда-то в узкий черный мешок» [2: с. 174]. Герою представляется, что он находится в полете: «я лечу...», тогда как на самом деле он лежит навзничь и не может видеть окружающего («глядел на спинку дивана»); приходят моменты «страшного падения, толчка и разрушения» [2: с. 177].

Герой повести Толстого становится готовым к смерти не только благодаря «отречению от всей прежней жизни» и осознанию своей вины, но и потому, что он пришел к необходимости просить прощения и пожертвовать собой ради других: «...вдруг какая-то сила толкнула его в грудь [в сердце], в бок [место боли], еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то» [2: с. 180]. Снова возникает отсылка к «Анне Карениной» через средство метафоры железной дороги как разрушающего начала человеческого пути: «...с ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление» [2: с. 180]. Перемещение из одного мира в другой отмечается обратным направлением в движении поезда.

Возможность «поправления» кроется в открытом принятии правды и проявлении глубоких чувств. Герой осознает необходимость любить и жалеть близких, но уже вербально оформить свои желания, выговорить их не успеваает. Он понимает, что должен сделать, чтобы это правильно выразить и принести прощение за страдание, причиненное своим близким. Он почувствует жалость и к жене, у которой вид тоже «неприличный», «необычный»: «с неотертыми слезами» [2: с. 180]. Произнесенные слова кажутся несущественными, однако они отражают уже новый — метафорический смысл происходящего. Скрытое до сих пор под местоимениями имя болезни и смерти здесь именуется как «конец», обозначающий окончание текста, а существование смерти отрицается как начало новой жизни.

Именно эту мысль о наименовании смерти подхватывает Угаров, оформив ее как «тотус», — и на ее основе создает свою пьесу.

### *Литература*

1. *Молнар А.* Болезнь и игра в романе И.А. Гончарова «Обломов» и в пьесе М. Угарова «Смерть Ильи Ильича» // Русистика и компаративистика: сб. науч. ст. Вып. VIII. Вильнюс: Edukologija, 2013. С. 36–46.
2. *Толстой Л.Н.* Смерть Ивана Ильича // Толстой Л.Н. Повести и рассказы. М.: Сов. Россия, 1984. С. 137–181.
3. *Угаров М.Ю.* Смерть Ильи Ильича. URL: [http://www.theatre-library.ru/files/u/ugarov/ugarov\\_3.html](http://www.theatre-library.ru/files/u/ugarov/ugarov_3.html) (дата обращения: 15.01.2014 г.).

### *References*

1. *Molnar A.* Bolezn' i igra v romane I.A. Goncharova «Oblomov» i v p'ese M. Ugarova «Smert' Il'i Il'icha» // Rusistika i komparativistika: sb. nauch. st. Vy'p. VIII. Vil'nyus: Edukologija, 2013. S. 36–46.
2. *Tolstoj L.N.* Smert' Ivana Il'icha // Tolstoj L.N. Povesti i rasskazy'. M.: Sov. Rossiya, 1984. S. 137–181.
3. *Ugarov M.Yu.* Smert' Il'i Il'icha. URL: [http://www.theatre-library.ru/files/u/ugarov/ugarov\\_3.html](http://www.theatre-library.ru/files/u/ugarov/ugarov_3.html) (data obrashheniya: 15.01.2014 g.).

*Г.И. Романова*

Московский городской педагогический университет (Россия)

**М. ГЕМФРИ УОРД И Л. ТОЛСТОЙ**

В статье дан краткий обзор творчества английской писательницы М. Гемфри Уорд, книги которой входили в круг чтения Л. Толстого. В его дневнике, в письмах нередко упоминания об этой писательнице и ее произведениях. В мемуарах М. Гемфри Уорд выделены страницы, на которых упомянуто имя русского писателя-классика. Поставлен вопрос о возможных литературных переключках, дан краткий обзор просветительской и общественной деятельности английской писательницы — современницы русского классика. Указаны некоторые сходства в их общественной и просветительской деятельности, а также в проблематике произведений двух писателей, признаки влияния произведений Л. Толстого на сочинения М. Гемфри Уорд. Основу проблематики романов английской писательницы («Роберт Элсмер», «Модный брак», «Давид Грив») составляют вопросы веры и религии, семейных отношений. Общность социально-политического, идеологического контекста обусловила как взаимный интерес этих писателей к творчеству друг друга, так и некоторые собственно литературные сходства, которые можно обнаружить в их произведениях. Сделан вывод о том, что в данном случае речь может идти не столько о литературном влиянии, сколько о проявлении историко-литературных аналогий. Открытые русским писателем темы и проблемы спустя несколько десятилетий продолжали ставиться и решаться в английской литературе на ином материале, что подтверждает их художественную и этическую значимость.

*Ключевые слова:* особенности восприятия литературы; викторианская эпоха; морально-нравственные проблемы; литературное влияние и сходство; идеологический контекст; литературные аналогии.

*G. Romanova***M. Humphry Ward and L. Tolstoy**

The article offers a brief overview of creative works of the British writer M. Humphry Ward, whose books were included in the reading circle of L. Tolstoy. In his diary and letters he mentions her works rather frequently. In M. Humphry Ward memoirs, in turn, dedicated pages are highlighted, on which the names of the Russian classic writer are mentioned.

The question of a possible literary exchange is raised, and a brief review of educational and social activities of the English writer — contemporary of the Russian classic is given. The similarities in their social and educational activities and the topical conformities in the work of L. Tolstoy and M. Humphry Ward are shown, indicating the influence of L. Tolstoy's works on the books by M. Humphry Ward. The issues of faith, religion and of the family relationships comprise the basics of the novels by the English writer («Robert Elsmere», «The History of David Grieve»). The similarities of the socio-political and ideological context of the two writers induced the interest of both, Tolstoy and Humphry Ward, to the works of the other. Furthermore, quite a few literary resemblances can be found in the works of the two writers. The conclusion is made, not only literary influence, but rather the manifestation of literary and historical analogies should be considered. The topics and problems, which were started first by the Russian writer stayed actual, although based on a different material, in the English literature even few decades later, which supports there artistic and ethical importance.

*Keywords:* perception of literature; the Victorian age; the moral problems of literary influence and similarity; ideological context; literary analogy.

В России популярность английской писательницы Мэри Гемфри Уорд (1851–1920) приходится на конец XIX – начало XX века, когда активно переводились и издавались ее романы. Среди читателей, высоко оценивших ее творчество, — Л.Н. Толстой. В его дневнике, в письмах нередко упоминаются об английской писательнице и ее произведениях. В свою очередь, о знакомстве М. Гемфри Уорд с творчеством Л. Толстого свидетельствуют ее «Воспоминания писателя» [7], где несколько раз упоминается его имя. Все это дает основания для постановки вопроса о возможных литературных переключках, объясняет интерес к просветительской и творческой деятельности английской писательницы — современницы русского классика.

В истории англоязычной литературы произведения М. Гемфри Уорд занимают довольно видное место, ее общественная деятельность — крупное явление в истории общественной жизни Англии и Америки, об этом свидетельствуют историко-литературные работы [6; 8–10]. В российском литературоведении эта страница

истории английской литературы освещена менее подробно. Так, в «Литературной энциклопедии» о М. Гемфри Уорд сказано всего несколько строк, о ее творчестве не упоминается в «Истории всемирной литературы». Думается, такая особенность восприятия творчества английской писательницы на русскоязычном пространстве связана с тем, что социальный аспект (особенно важный для отечественного литературоведения в XX веке) в ее романах только намечен и исчерпывается указанием на проблемы бедности и нищеты, решать которые можно только путем филантропии и благотворительности. Особое внимание в ее романах уделено вопросам веры и религии, возможности сочетания их с научным мировоззрением. Кроме того, М. Гемфри Уорд мало наследовала традиции своих знаменитых в России предшественниц — писательниц викторианской эпохи: сестер Бронте, Э. Гаскелл. В ее произведениях нет напряженных любовных историй, овеянных романтизмом; изображение любовных переживаний занимает скромное место. Не краткий период восторгов, отчаяния и взлеты к вершинам человеческих отношений и совершение счастливого брака как награда за добродетель в центре ее внимания. Будни семейной жизни, повседневное общение и отношения супругов, «притирка» двух различных духовных миров друг к другу — все это составляет основу проблематики романов М. Гемфри Уорд. С позиций морали викторианской эпохи ее персонажи решают нравственные, семейные проблемы, актуальные для среднего класса. Вся ее жизнь явилась демонстрацией и утверждением этих ценностей.

Мери Арнолд происходила из семьи, давшей Англии выдающихся литераторов и педагогов своего времени (она была племянницей Мэтью Арнолда). В двадцать лет Мери вышла замуж за тьютора в оксфордском Брейзнуоз-колледже Гемфри Уорда. Имея троих детей, она занималась социально-педагогической и журналистской работой. В 1881 году вышла ее первая книга «Милли и Олли», подписанная фамилией мужа — Гемфри Уорд. Большой успех имел ее роман «Роберт Элсмер» (1888), переведенный на несколько языков, в том числе на русский (под названием «Отщепенец»). Последующие романы Гемфри Уорд:

«История Давида Грива» (1892), «Марцелла» (1894), «Сэр Георг Тресдей» (1896) и «Хельбек из Баннисдэля» (1898) и др. — способствовали распространению ее популярности в Америке, где романы «Дочь леди Розы» и «Женитьба Уильяма Эша» стали бестселлерами. Слава писательницы помогала М. Гемфри Уорд в ее общественной деятельности. Она приняла предложение американских политиков и возглавила первую антисуфражистскую лигу (Women's National Anti-Suffrage League), манифест которой был опубликован в 1908 году. Во время Первой мировой войны президент США Т. Рузвельт предложил М. Гемфри Уорд написать цикл статей, объясняющих американцам, что на самом деле происходит в Великобритании. В ответ были написаны книги «Усилие Англии. 6 писем американскому другу» (1916), «К цели» (1917), «Поля победы» (1919).

В Англии Гемфри Уорд занималась просветительской деятельностью, решала проблемы образования бедноты. Она основала центры для обучения взрослых, которые функционируют до сих пор и носят ее имя: «Mary Ward Centre». Таким образом, писательская популярность, репутация просветительницы, общественный авторитет — все это свидетельствует о некоторых общих тенденциях в жизни современников: М. Гемфри Уорд и Л. Толстого.

В письмах Л. Толстого содержатся многочисленные подтверждения того, что он читал и высоко ценил произведения Гемфри Уорд. Так, на протяжении января 1889 года он читал роман «Роберт Элсмер», о чем остались многочисленные заметки: «Читал “Robert Elsmer” — хорошо, тонко» [5: Т. 50, с. 19]; «Вечером читал “Robert Elsmer” — очень хорошо» [5: Т. 50, с. 25]; «Читаю Elsmera и о мормонах...» [5: Т. 50, с. 26]; «...читал Elsmera и письма...» [5: Т. 50, с. 29]. В феврале появилась запись: «Читал в Our Day критики на Elsmera — поучительно. Можно ли возражать таким?» [5: Т. 50, с. 36]. Определенная оценка романа Гемфри Уорд звучит и в письме от 14 ноября 1890 года: «Я предложил Л.П. Никифорову перевести роман Э. Лайэль “Донаван”... Роман этот интересен по серьезности содержания: этический и



религиозный вопрос в их взаимоотношениях. Это роман вроде Роберта Элмера и, по-моему, даже лучше его» [5: Т. 65, с. 184].

В 1892 году Толстой читает «The history of David Grieve» («История Давида Грива»), что отмечает в письме С.А. Толстой от 2 мая 1892 года [5: Т. 84, с. 148]. В том же году он читал другой роман Гемфри Уорд — «Miss Bretherton» («Мисс Бретертон»), экземпляр которого сохранился в яснополянской библиотеке [5: Т. 84, с. 175]. В письме своей жене от 18 ноября 1892 года Л.Толстой пишет о нем: «Я читаю очень хорошую книгу автора Robert Elsmere. Задача автора: показать обманчивость, подкупание людей женской красотой. Очень тонко и умно» [5: Т. 84, с. 174]. В 1895 году Толстой рекомендовал Л.П. Никифорову для перевода роман Гемфри Уорд «Бесси Кострелл» (письмо от 29 августа 1895 года). Однако на русский язык роман не был переведен. В произведениях Гемфри Уорд звучали размышления о трудном постижении истинной сущности христианства, о необходимости очищения этого учения от искажений и ошибок, характерные для творчества Толстого позднего периода.

О том, что М. Гемфри Уорд была знакома с произведениями русского писателя, свидетельствует суждение о писательской манере Л. Толстого, высказанное ею в своих «Воспоминаниях». Например, в 1918 году, размышляя об особенностях стиля Г. Джеймса (с которым много общалась), писательница отмечает: «Техника, изображение были очень важны для него. Важны так, как они никогда не были важны для Толстого, который, вероятно, очень мало размышлял над ними» [7: р. 229]. Сопоставляя литературную технику (стилистику) Г. Джеймса и Л. Толстого, Уорд касается вопроса о «небрежности» стиля Толстого. О русском классике она вспоминает в связи с историей публикации своего романа «Роберт Элмер», который писала три года, а не один, как намеревалась. Роман получился очень объемным, и в этом заключалась главная сложность его публикации. Издатель, с которым писательница сотрудничала много лет, готов был отказаться от работы: «Боюсь, мадам, что Вы принесли замечательный роман, который мы не сможем продать», — сказал он [7: р. 65].

С этим связаны рассуждения Гемфри Уорд о форме романа и допустимых его объемах. Она пишет: «Были замечательные прецеденты — “Немезида веры” Фруда, “Потери и приобретения” Ньюмана, “Олтон Локк” Кингсли — романы, посвященные религиозной или социальной проблематике. И я считала, что форма романа способна воссоздать реальный опыт любого рода, влияние действительности на жизнь мужчин и женщин. Это самая упругая, наиболее гибкая форма. Никто не имеет права устанавливать границы ее диапазона. Для нее есть только один окончательный критерий: насколько это интересно? Но от себя могу добавить еще один вопрос: красиво ли это? Работает ли это в долгосрочной перспективе на *красоту*? Красоту, понятую в высшем и наиболее общем смысле — включающую разлад, разногласия, которые обогащают в конечном счете, — но все же Красоту — которую мастерски создавал Толстой?» [7: р. 85]. Эти слова отдаленно напоминают рассуждения Л. Толстого о жанровых особенностях «Войны и мира», также обращающегося к опыту своих предшественников, подтверждающему мысль о свободных границах жанров: «...в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести» [5: Т. 16, с. 7].

Как это характерно для большей части «женской» литературы начала XX века, в произведениях Гемфри Уорд ощущается «мужской» взгляд на брак. Писательница считала, что сфера деятельности женщин должна ограничиваться семейной жизнью. Близость тематики, сходство поставленных вопросов и осмысление современной жизни, в частности, «женского вопроса» — эти содержательные особенности сближают творчество Гемфри Уорд с некоторыми произведениями Л. Толстого. Тот факт, что открытые русским писателем темы и проблемы спустя несколько десятилетий продолжали ставиться и решаться в английской литературе на ином материале, подтверждает их художественную и этическую значимость.

Так, некоторое сходство с романом «Семейное счастье» (1859) обнаруживается в романе «Давид Грив. Рассказ о том, как человек

нашел дорогу в жизни», сокращенный перевод которого на русский язык был опубликован в 1897 году [1]. Английская писательница утверждает здесь прагматизм среднего класса, его главные добродетели: трудолюбие, самоограничение, порядочность и честность. Главный герой с юного возраста отказывает себе в самом необходимом, чтобы скопить немного денег и начать свое дело. Из идейных соображений и из экономии он становится вегетарианцем. Его жизненный идеал — труд, работа, учение. Став успешным издателем, Давид Грив начал публиковать и распространять дешевые книги, помогающие молодежи найти правильную дорогу в жизни. Он помнил, как в детстве хорошие книги помогли ему избавиться от гнета обстоятельств и устроить жизнь свободную и полезную для других. «Он обладал и знанием, и чутьем, а главное — несокрушимой энергией; при таких качествах успех обеспечен» [1: с. 95]. Книга заканчивается тем, что крепкий хозяин книжного магазина и типографии Давид Грив устроил и свою семейную жизнь. Однако здесь появляются трудности. Проблемы супружеских отношений, затронутые в повести Гемфри Уорд, в значительной мере остаются теми же, что были поставлены в романе Л. Толстого «Семейное счастье» (1859): разочарование, некоторое охлаждение в отношениях супругов. Произведение сближает мотив неудовлетворенности жизнью в четырех стенах, легкомыслие и тщеславие жены, притягательность для нее светских развлечений, пагубных для семейной жизни.

Как известно, «Семейное счастье» — единственное произведение Л. Толстого, написанное от лица молодой женщины. Изображая оттенки ее переживаний, автор утверждает свой взгляд на проблемы семьи и брака. В «Давиде Гриве» повествование ведется от третьего лица. Английская писательница максимально сближает позиции повествователя и главного героя. Это точка зрения, которую можно охарактеризовать как определенно «мужскую». Писательница утверждает мужской взгляд на картину мира в целом и, в частности, на иерархию семейных отношений. В этом отношении М. Гемфри Уорд максимально близка взглядам Л. Толстого на женский вопрос.

Для героя Толстого вращение в светском кругу подозрительно в нравственном отношении, вызывает ревность и недовольство. И Давид Грив сталкивается с подобной проблемой, но не осуждает жену, а расценивает как типичную женскую слабость, которую легко можно устранить, увеличив долю внимания. В дневнике Давид Грив оставляет запись: «Вот бедная жена моя так плохо понимает меня, сколько ни стараюсь я объяснить свои желания. А под счастьем она подразумевает, насколько я понимаю ее, богатую обстановку, много слуг, экипаж, званые обеды, наконец, переселение в Лондон и новый круг знакомств, который бы не знал о моем происхождении. В сущности, она сама не знает, чего хочет, и я заметил, что всякое расширение наших знакомств и нашего образа жизни приносит ей одни беспокойства. Впрочем, она отчасти вправе жаловаться на меня: я слишком увлекаюсь делом, а ей не доставляет удовольствия именно то, что доставляет удовольствие мне. Я должен поболее прилаживаться к ее вкусам» [1: с. 109].

В обоих произведениях муж занимает положение «руководителя» своей жены. Различие заключается только в частности: герой Толстого имеет опыт в светской жизни, герой М. Гемфри Уорд — в предпринимательской. Изначальные интеллектуальные и нравственные качества мужей являются основой их превосходства в обоих случаях. Повествователь «Давида Грива» акцентирует прагматичность героя, озабоченного тем, чтобы удержать в равновесии семейную и деловую стороны жизни. Поскольку семейное благополучие в романе М. Гемфри Уорд — результат и следствие выбора верного пути в жизни, то и восстановить мир в семье ему необходимо прежде всего из прагматических соображений о благосостоянии семьи, которая является, по сути, частью его «дела». Благополучное разрешение конфликта способствует укреплению нравственных качеств жены и доказывает дальновидность и опытность мужа. «Постоянная борьба за осуществление своих идеалов среди неблагоприятных семейных условий, постепенное отречение от блестящих надежд на обогащение ради удовлетворения своей совести, не идущей ни на какие сделки, безмолвная решимость человека, выдвинувшегося из народа,

остаться с народом, — такова была в итоге жизнь Давида Грива, и таким он остался и до конца жизни» [1: с. 110] — так заканчивается русский перевод романа «Давид Грив». Примирением под давлением обстоятельств, приятием женой будничного течения жизни завершается и роман Толстого.

Проблема современного отношения к браку, ослабления семейных уз становится центральной в романе М. Гемфри Уорд «Модный брак» [3], где показаны негативные последствия решения разводов. «Брак есть непостижимое таинство; это высшее испытание для мужчин и для женщин. Если мы оскорбляем и презираем его, то мы искажаем в себе божественное начало» [3: с. 137]. С точки зрения автора, крушение понятий о нерушимости брачных уз означает потакание страстям, опустошает душу и делает жизнь бесплодной и бессмысленной. При этом осмысление семейных проблем в романе дается по большей части декларативно и риторически. Разрешение основного конфликта, завершение сюжетной линии гибелью героя и горькими сожалениями героини должны привести читателя к мысли о том, что развод ведет к моральной деградации. «Она не была счастлива после развода. Она утратила прежние яркие краски и свою пленительную грацию. Он подумал, что полная свобода, очевидно, не особенно красит женщину» [3: с. 146].

В «Модном браке» наиболее выразительны мотивы, которые могут вызвать у современного читателя ассоциации с толстовскими произведениями. Один из самых значительных в романе — мотив ревности-ненависти, осмысляемой очень близко к тому, что заявлено в «Крейцеровой сонате» (1889) Л. Толстого. Это и ссоры супругов по всякому, по словам Толстого, «самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег...» [5: Т. 27, с. 32]. Сходно изображаются основные проявления ревности-злости, которая охватывает внезапно персонажей (у Толстого — мужа, у М. Гемфри Уорд — жену). Повествователь в «Модном браке» подчеркивает, что героиня «чувствовала, что в ней поднимается смешанная страсть ревнивой женщины, состоящая наполовину из любви, наполовину из ненависти» [3: с. 77]. Неоднократно го-

ворит о том же и герой Толстого Позднышев: «Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная!» [5: Т. 27, с. 44]. Используется и прием показа нелогичного поведения с соперником (соперницей): Позднышев рассказывает: «...странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить...» [5: Т. 27, с. 53]. То же и у М. Гемфри Уорд: «Было не понятно, почему миссис Барнет при всей своей чудовищной ревности сама способствовала их встречам» [3: с. 78]. В суждении о том, что «средняя женщина, вступая в брак, меньше знает свет и жизнь, чем средний мужчина. Поэтому они так часто ошибаются» [3: с. 94], — также слышны отголоски суждений Л. Толстого.

Не менее значимы в «Модном браке» и отголоски толстовского сюжета в романе «Анна Каренина», прозвучавшие в побочном сюжете, — в рассказе о жизни приятельницы главной героини. История изложена схематично, но в ней угадываются мотивы, положения и ситуации, составляющие сюжет знаменитого романа: любовь, не одобряемая «светом», демонстративное презрение общества и отчаяние, поезд, самоубийство. Варьирование этих сюжетных элементов, изменение мотивации, перестановка героев (самоубийство совершает мужчина) оставляет соответствие очевидным. Мисс Верьер вышла замуж на нью-йоркского еврея, «переменившего имя». «Вы знаете, — рассказывает мисс Флойд главному герою, — у нас евреи не приняты в так называемом обществе. Мадлэн была влюблена в него и думала, что сможет обойтись без общества. Но через некоторое время она начала скучать. Он убедил ее попытаться возобновить прежние связи. Она сделала несколько визитов, но прием, который она встретила, отбил у нее охоту от подобных опытов. Тогда Мадлэн впала в совершенное отчаяние, а ее родные заговорили с ним о разводе, они, конечно, и раньше были против ее брака. Он сказал: пусть будет так, как хочет она и ее родные. И вот однажды ночью, около года тому назад, он сел на поезд, шедший к Ниагаре, а два дня спустя его труп нашли выброшенным водоворотом, знаете, на том месте, где находят всех самоубийц...» [3: с. 17].

Отмеченные сходства в произведениях русского классика и английской писательницы свидетельствуют о том, что проблематика произведений Л. Толстого, затронутая в его произведениях в 1860–1890-е годы, оставалась важной и насущной в британском обществе на исходе викторианской эпохи. Это, в частности, вопросы семейного законодательства и соответственно положения женщины в семье и в обществе; вопросы свободы выбора веры, точнее, принятия церковных догм или отказа от них; отношения интеллигенции и так называемого простого народа, нуждающегося в помощи со стороны обеспеченных слоев, — вопросы, связанные с распространением социалистических идей. Л. Толстой и М. Гемфри Уорд — современники, представляющие аристократическую интеллигенцию в общественной жизни своих стран, и этот факт во многом объясняет единство их позиций по многим вопросам. Общность социально-политического, идеологического контекста обусловила как взаимный интерес этих писателей к творчеству друг друга, так и некоторые собственно литературные сходства, которые можно обнаружить в их произведениях. В данном случае речь может идти не столько о литературном влиянии, сколько о проявлении историко-литературных аналогий.

В России произведения М. Гемфри Уорд переиздаются до сих пор. Правда, со временем книги, считавшиеся интеллектуальными, перешли в серию «Сентиментального романа» [4], что можно рассматривать как косвенную оценку их художественных достоинств.

### *Литература*

1. *Гемфри Уорд М.* Давид Грив. Рассказ о том, как человек нашел дорогу в жизни / Пер. (в сокращении) с англ. А. Каррик. СПб.: Издание О.Н. Поповой, 1897. 110 с.
2. *Гемфри Уорд М.* Отщепенец // Книжки недели. 1889. № 1–10.
3. *Гемфри Уорд М.* Модный брак. М.: Издание А. Вербицкой, 1913. 153 с.
4. *Гемфри Уорд М.* Дочь леди Розы. Курск: ГУИПП «Курск», 1996. 349 с. (Б-ка сентиментального романа).

5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958.
6. *Bindslev A.M.* Mrs. Humphry Ward: A Study in Late-Victorian Feminine Consciousness and Creative Expression. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1985.
7. *Humphry Ward.* A Writer's Recollections. L.: Collins Sons & Co., 1918. V. 2. 373 p.
8. *Sutherland J.* Mrs Humphry Ward. Oxford: Clarendon Press, 1990. 432 p.
9. *Walters J.S.* Mrs Humphry Ward, her work and influence. L.: K. Paul, Trench, Trubner, 1912. 224 p.
10. *Wilt J.* Behind Her Times: Transition England in the Novels of Mary Arnold Ward. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2005.

### *References*

1. *Gemfri Uord M.* David Griv. Rasskaz o tom, kak chelovek nashel dorogu v zhizni / Per. (v sokrashhenii) s angl. A. Karrik. SPb.: Izdanie O.N. Popovoj, 1897. 110 s.
2. *Gemfri Uord M.* Otshhepenecz // Knizhki nedeli. 1889. № 1–10.
3. *Gemfri Uord M.* Modny'j brak. M.: Izdanie A. Verbiczkoy, 1913. 153 s.
4. *Gemfri Uord M.* Doch' ledi Rozy'. Kursk: GUIPP «Kursk», 1996. 349 s. (B-ka sentimental'nogo romana).
5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958.
6. *Bindslev A.M.* Mrs. Humphry Ward: A Study in Late-Victorian Feminine Consciousness and Creative Expression. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 1985.
7. *Humphry Ward.* A Writer's Recollections. L.: Collins Sons & Co., 1918. V. 2. 373 p.
8. *Sutherland J.* Mrs Humphry Ward. Oxford: Clarendon Press, 1990. 432 p.
9. *Walters J.S.* Mrs Humphry Ward, her work and influence. L.: K. Paul, Trench, Trubner, 1912. 224 p.
10. *Wilt J.* Behind Her Times: Transition England in the Novels of Mary Arnold Ward. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2005.



## ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРАТУР И ЛИТЕРАТУРНО-ФОЛЬКЛОРНЫЕ СВЯЗИ

*Т.А. Алпатова*

Московский государственный областной университет (Россия)

### ЭДВАРД ЮНГ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Г. ДЕРЖАВИНА И Н. КАРАМЗИНА

Статья посвящена проблемам рецепции творчества Э. Юнга в русской литературе конца XVIII века. Популярность английского поэта-предромантика в России была очень велика, что доказывают разнообразными переводами, среди которых наиболее известный был выполнен русским мыслителем-масоном А. Кутузовым и опубликован в журнале «Утренний свет» в 1778 году. Эта публикация способствовала повышению интереса к творчеству Юнга. Реминисценции из его произведений появляются в творчестве Г. Державина («На смерть князя Мещерского», «Бог») и Н. Карамзина («Поэзия», «Письма русского путешественника», «Прогулка», «Ночь» и др.). Однако усвоение художественного опыта английского поэта происходит у каждого из них по-разному. Для Державина на первом месте оказывается религиозно-философский пафос произведений Юнга, в то время как для Карамзина большее значение имеет лирическое, психологическое начало. Анализ реминисценций из Юнга в творчестве Державина и Карамзина позволяет сделать выводы о специфике усвоения традиций английской литературы в России на рубеже XVIII–XIX веков.

*Ключевые слова:* Э. Юнг; Г. Державин; Н. Карамзин; философская поэзия; русская литература XVIII века; компаративистика; рецепция английской литературы в России.

*T. Alpatova*

#### **Edward Young in the Art World of G. Derzhavin and N. Karamzin**

This article is devoted to the problems of reception by E. Young's creativity in the Russian literature of the end of the XVIII<sup>th</sup> century. As an English poet-preromantic he was very popular in Russia that the various translations prove, among other the most known was executed by the Russian philoso-

pher and mason A. Kutuzov and was published in 1778 in the magazine "Utrenjij svet". This publication promoted increase of interest to Jung's creativity. Reminiscences from its works appear in G. Derzhavin's creativity ("On the death of the prince Meshchersky", "God") and in N. Karamzin's ("Poetry", "Letters of the Russian traveler", "Walk", "Night", etc.) however assimilation of art experience of the English poet take place differently. For Derzhavin on the first place there is a religious and philosophical pathos of Young's works while for Karamzin bigger value has the lyrical, psychological beginning. The analysis of reminiscences from Young in Derzhavin's and Karamzin's creativity allows to draw conclusions on specifics of assimilation by traditions of English literature in Russia at a boundary of the XVIII–XIX centuries.

*Keywords:* E. Yung; G. Derzhavin; N. Karamzin; philosophical poetry; Russian literature of the XVIII<sup>th</sup> century; comparative studies; reception of the English literature in Russia.

Для русской поэзии последней трети XVIII века имя Э. Юнга обретает особое значение. Наряду с другими авторами, прежде не входившими в круг «образцовых» с точки зрения теории классицизма и в этом смысле как бы «неправильными» (У. Шекспиром, Дж. Томсоном, Т. Греем и др.), Юнг и его поэзия обретали в тот период значение «новых образцов», следование которым, однако, предполагало новый взгляд на сам процесс «подражания и соревнования», столь важный для нормативно-традиционалистской литературной эпохи и неизбежно трансформировавшийся в ходе становления принципов индивидуально-творческой поэтики, в том числе сентиментализма и предромантизма.

В центре внимания этой статьи — специфика восприятия поэзии Э. Юнга в творчестве Г.Р. Державина и Н.М. Карамзина, предложивших, по существу, две основные авторские стратегии, определившие становление индивидуально-творческого типа художественного сознания как для ближайших современников, так и для более отдаленных последователей — поэтов первых десятилетий XIX века. Державин и Карамзин не раз рассматривались в подобном сопоставительном ключе. Уже П.А. Вяземский с уверенностью утверждал, что сам тип их мировосприятия противо-

положен: яркости и сочности поэтического видения Державина противостоит бóльшая стройность, строгость, едва ли не аскетичность изображений Карамзина. Поэты равновелики по дарованию, но природа этого дарования различна, и потому каждый из них наследовал определенной ветви художественной традиции XVIII столетия и порождал собственную школу в веке XIX.

Анализ того, какими путями идет в творчестве Державина и Карамзина усвоение единой в своей природе поэтической традиции, представляется полезным именно потому, что позволяет увидеть в судьбе этой традиции, в специфике ее трансформации особенности авторского выстраивания собственного поэтического «космоса». «Чужое слово» в его разнообразных формах — от переводов, подражаний до более или менее свободных «пересказов» и «переложений», «игры» прямыми и скрытыми цитатами, реминисценциями из текстов-предшественников — в изобилии присутствует в русской литературе XVIII века, причем как в период нормативно-традиционалистский, так и ближе к концу столетия, в период растущего ощущения кризиса нормативности. С ее падением сменялись поэтические авторитеты. «Резервуаром», откуда черпались необходимые для творческого диалога элементы «чужого слова», делались иные авторы, усвоение же их поэтических «уроков» становилось все более свободным. Интерпретация при этом определялась не только выбором тем, мотивов, образно-символических единиц, которые «припоминались». Трансформировался и переоформлялся сам жанровый строй текста, его поэтические интонации. Творческая трансформация столь глубоко меняла усваиваемые мотивы текста-источника, что в результате возникал совершенно новый «образ традиции», свободный диалог с которой и становился содержанием нового произведения.

Эдвард Юнг и его “The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality” (1742–1745) были одним из знаковых для новой русской литературы явлений. Их рецепцию на русской почве исследовали П.Р. Заборов [3: с. 169–179], Ю.Д. Левин [10: с. 249–290], В.Н. Топоров [13] и др. Однако исследователи, как правило, обращались к рассмотрению именно переводов из Юнга, в первую очередь перевода, выполненного А.М. Куту-

зовым [19]<sup>1</sup>, а также (значительно реже) — М.В. Сушковой [15], П. Политковского [16], М. Паренаго [17], С. Джунковского [18], С.Н. Глинки [21]. Проблемы усвоения юнговской традиции в творчестве поэтов, создававших не переводы и даже не переложения его «ночей», но предлагавших именно «диалог» с этой традицией, допускаявший достаточно вольное обращение с нею, рассматривались в науке значительно реже. Однако, как представляется, именно эти примеры могут быть интересны как для осмысления собственно юнговской традиции в истории русской поэзии, так и для рассмотрения глубинных процессов, происходивших в ней на рубеже веков.

Державинская рецепция Юнга представлена главным образом в стихотворениях «На смерть князя Мещерского» и «Бог». Она опиралась на основные мотивы «Ночи Первой» Юнга (по-видимому, в переводе А.М. Кутузова); при этом само сочинение английского поэта трактуется Державиным как философская ода. Уже выбор жанра в данном случае говорил о переосмыслении поэтики Юнга, произведение которого представляло собой образец медитативно-дидактической поэмы [1]. Державина привлекают прежде всего возможности «лирической ситуации» «ночного размышления», тот текстопорождающий потенциал, который таит в себе мрачно-загадочное ощущение «древней ночи» («ancient Night»), «молчания и мрака» («silence and darkness») [21: p. 5] как ее неизменных спутников. Именно это особое ощущение позволяет обратиться к собственно философским размышлениям: о творении и Творце, о трагизме, который неразрывно связан с осознанием неизбежности смерти, и в то же время с поиском смысла в ней: смерть разрывает пути, сковывающие человека, привязывающие его к несовершенному земному существованию, и позволяет «возвратиться» в небесную отчизну, в отеческие объятия Создателя.

---

<sup>1</sup> Первая публикация восьми «Ночей» в переводе с немецкого А.М. Кутузова под заглавием «Юнговы ноши» и поэмы «Торжество веры над любовью» под заглавием «Могущество веры, или Любовь побежденная» появилась в журнале «Утренний свет» (Ч. 4. 1778. С. 229–286; Ч. 5. 1779. С. 161–189; Ч. 6. 1779. С. 175–271; Ч. 7. 1779. С. 1–41, 269–343; Ч. 8. 1780, С. 99–172, 236–264).

Этот единый в «Ночи первой» Юнга идейно-образный комплекс, будучи творчески усвоен Державиным, словно бы разделяется между двумя различными по философской проблематике одами: «На смерть князя Мещерского» развертывает в основном юнговскую тему смерти, ода же «Бог» — размышления о соотношенности творения и Творца, Бога и человека. И в той, и в другой оде особое значение имеет образ ночи: не повторяя характерных для Юнга поэтических обращений к ночи и связанных с нею аллегорических образов — сна, молчания, мрака («Tired Nature's sweet restorer, balmy Sleep!», «Night, sable goddess! From her ebon throne», «Silence and darkness: solemn sisters!» [22: p. 5–6] и т. д.), избегая несколько архаичных персонификаций, Державин, тем не менее, насыщает стихотворение символическими деталями, связанными с «ночной» семантикой и в этом смысле не позволяющими двусмысленно толковать лирическую ситуацию — восходящую к Юнгу ситуацию «ночных размышлений». В стихотворении «На смерть князя Мещерского» она задана уже в первой строфе, восходящей к мотиву Юнга, где и появляется столь важный для Державина образ боя часов как символа уходящего, уносящегося в бездну времени. Его звуковая насыщенность позволяла превратить поэтическую аллегорию в более непосредственное, лирически напряженное переживание, вызванное минутным впечатлением, к тому же прямо внушенным читателю при помощи звукописи («Глагол времен! металла звон! // Твой страшный глас меня смущает, // Зовет меня, зовет твой стон, // Зовет, — и к гробу приближает» [2: с. 124]). Это ощущение «здесь и сейчас» происходящего, практически утраченное в прозаическом переводе Кутузова, возникло у Юнга — пусть в не столь развернутом звуковом соответствии внутренней рифмы:

The bell strikes one. We take no note of time  
 But from its loss. To give it then a tongue  
 Is wise in man. As if an angel spoke,  
 I feel the solemn sound. If heard aright,  
 It is the knell of my departed hours:  
 Where are they? [22: p. 7].

Ср.: «Я слышу час бьет: мы примечаем время по единой оною утрате. Премудро поступил человек, дав колоколу язык.

Я чувствую важный звук сей, яко бы слова Ангела. Не обманываюсь я: се есть смертный звон скончавшихся моих часов. Где же они?» [20: с. 231–232].

«Ночным» колоритом проникнута и ода «Бог»: не случайно в автопримечаниях к ней Державин подчеркивал, что стихотворение было завершено благодаря чудесному видению раскрывшегося ему небесного света. Это видение позволило в итоге связать воедино казавшиеся несоединимыми мотивы: бесконечно большого и малого, общего и частного, земного и небесного, и сделало единственно возможными столь сложные и на рациональный взгляд совершенно запутанные «определения» Божества, вроде хрестоматийно известного «Себя собою составляя, // Собою из себя сияя, // Ты свет, откуда свет истек» [2: с. 56].

Юнгова «ночь» становится для оды «Бог» источником не только проблемно-тематического комплекса (соотношение творения и Творца), но и некоторых образных доминант — в первую очередь развернутого рассуждения о двуединой природе человека, в которой слилось бесконечно большое и малое, величественное и слабое, смертное и нетленное. Это в конечном итоге воплощается в афористичной формуле: «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!» [2: с. 58], отличающейся в державинской интерпретации Юнга в первую очередь эмоциональной установкой не просто на отвлеченные размышления, но именно на живейшую и крайне эмоциональную попытку понять свою природу, свою творческую и метафизическую судьбу. Именно поэтому формы первого лица столь прочно занимают в державинской оде место размышлений в третьем лице, принятых у Юнга и у его переводчика-интерпретатора А.М. Кутузова:

How poor, how rich, how abject, how august,  
 How complicate, how wonderful, is man!  
 How passing wonder He who made him such!  
 Who centred in our make such strange extremes!  
 From different natures marvelously mix'd,  
 Connexion exquisite of distant worlds!  
 Distinguish'd link in being's endless chain!  
 Midway from nothing to the Deity!  
 A beam ethereal, sullied and absorb'd!  
 Though sullied and dishonour'd, still divine!

Dim miniature of greatness absolute!  
An heir of glory! a frail child of dust!  
Helpless immortal! insect infinite!  
A worm! a god! ... [22: p. 7].

Ср.: «Сколь беден, богат, мал, величествен, сколь искусно составлен, сколь чудно сотворен человек!.. Но сколь же Тот всякое удивление привосходит, который в существе нашем столь чуждые един другому и отдаленные пределы соединил в едином средоточии! Преудивительное смешение природ различных! Прекрасное соединение миров отдаленных! Знатнейший член в бесконечной цепи вещей! Половина пути от ничтожества к божеству! Небесный луч, оскверненный и потушенный! Но хотя оскверненный, однакож еще божественный! Мрачный образ! Слабое подобие совершеннейших великостей! Наследник славы! Слабое чадо праха! Беспомощный! Бессмертный! Бесконечное насекомое! Червь! Бог!» [20: с. 232].

«Державинский» Юнг, если возможно такое метафорическое обозначение, оказывается более эмоционален и страстен. Следуя символично-метафорическому строю поэтических размышлений Юнга, Державин тем не менее трансформирует их таким образом, чтобы сделать органичной частью собственного художественного мира, превращая медитацию в непосредственное переживание «встречи» — вначале со смертным ужасом от осознания неизбежности, а затем и с Божеством, в котором разрешаются и примиряются все противоречия.

Еще более причудливой трансформации подвергается «образ Юнга» в творчестве Н.М. Карамзина. Думается, что в данном случае возможно говорить именно об «образе» английского поэта, так как, в отличие от Державина, Карамзин практически не обращался непосредственно к реминисценциям из Юнга; его интересует именно динамика восприятия Юнговой поэзии читателем-современником, место Юнга и его поэтического наследия в творческом сознании новой эпохи. В этом качестве, думается, Юнг приближается к столь же обобщенным образам других писателей, нередко представленным в творчестве Карамзина в афористичной формуле или в виде эмоциональной читательской харак-

теристики, как своего рода синтез литературных и историко-культурных ассоциаций, с ними связанных (ср. Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерн, Дж. Мильтон, А. Поуп, У. Шекспир и мн. др.).

Образ Юнга в стихотворении Карамзина «Поэзия» — это одно из воплощений подлинного творческого духа, который наследует Англия от народов, ранее прославившихся на стезе словесности:

Британия есть мать поэтов величайших <...>  
 О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!  
 Ты бальзам в сердце льешь, сушишь источник слез,  
 И, с смертию дружа, дружишь ты нас и с жизнью! [6: с. 60–61].

Появляется обобщенная формула нравственных итогов творчества Юнга и в «Письмах русского путешественника». Примечательно, что она почти не отличается от формулы, найденной ранее в стихотворении: «Йонг, гроза счастливых и утешитель несчастных» [5: с. 369]. Образ Юнга поставлен в размышлениях путешественника наряду с образом Стерна и рассматривается в отступлении об английской литературе как один из последних «бессмертных британских Авторов» [5: с. 369], заключение их «фаланги», выше которых современная поэзия не сможет подняться.

Собственно «ночь» в мире Карамзина — и как общелитературная универсалия, и как художественный образ, связанный с юнговской традицией, позволяет судить о трансформации юнговской линии в ее трактовке. По мысли В.Н. Топорова, именно Юнг конденсировал в специфически единый «текст ночи» разнообразные семантические поля, связанные с литературным восприятием данной универсалии, начиная с античной поэзии до XVIII столетия: «...суть инициативы <...> состояла в соединении “ночного” с “кладбищенским” и, следовательно, с темой смерти, неизбежно влекущей за собою две другие темы — жизни и бессмертия как временного и вечного преодоления смерти. Жизнь, смерть и бессмертие отсылают к *человеку*, к его *душе*, которой только и дано бессмертие, к личному, напряженно-эмоциональному <...> неясному *предощущению бытийственного*» [13: с. 103]. Семантический ореол «ночного» текста русской литературы XVIII столетия, таким образом, формировался именно под воздействием мотив-



ной структуры духовно-философской лирики, а в эстетическом ключе — в виде образной доминанты со/противопоставления парных категорий, синтетическое осмысление которых оказывалось predetermined самим психофизиологическим восприятием ночи как таинственного, противоречивого, загадочного феномена бытия, как чего-то изначального, способного вмещать в еще не разделенном виде самые неожиданные противоположности. Ночь в категориях духовно-философской лирики XVIII столетия (прежде всего М.В. Ломоносова и М.Н. Муравьева) — это прежде всего размышления о пространстве и времени, космическом и природном началах, соотносительности творения и Творца, человека и природы, изменчивости, развитию, текучести психологических состояний человека [13: с. 123].

Думается, именно последний аспект художественного осмысления ночи как природного явления и культурной универсалии становится наиболее плодотворным для творчества Н.М. Карамзина. «Ночной текст» его произведений в целом предстает довольно разноплановым; семантический ореол образа ночи (и связанных с нею образных параллелей, от собственно изобразительных до символично-аллегорических) развивается как в связи с общей эволюцией творческой манеры писателя, так и в зависимости от родовой и жанровой специфики произведений. Образ ночи оформляется у Карамзина как весьма подвижное, противоречивое «единство в многообразии», не сводимое к строго определенной смысловой доминанте. Видя в образе ночи средство тонкого и сложного психологизма, Карамзин «освобождает» ее изображение от мотивов религиозно-философского поэтического «размышления». Таким образом, динамика и внутренняя противоречивость художественного воплощения в творчестве Карамзина оказываются глубоко сопряжены общему динамичному, «становящемуся» на глазах читателя строю карамзинского повествования. Общее направление эволюции Карамзина в трактовке ночи как одной из определяющих культурных универсалий — это постепенное движение от рационалистической символично-аллегорической закреплённости семантического ореола образа к бо-

лее гибкой и подвижной трактовке, связанной либо с разворачиванием психологической нюансировки личностной характеристики героя, либо с размышлениями о сути творческого процесса, которые Карамзин-повествователь нередко связывает с образом ночи.

Именно в прозе Карамзина художественное осмысление ночи как универсалии в полной мере разворачивает свой психологический и текстопорождающий потенциал.

Переходный характер в творческом воплощении ночи как культурной универсалии, обретающей для сентиментально-предромантической эстетики особое значение как время не только горестных философских размышлений, но и творчества, носит прозаический этюд Карамзина «Прогулка» (1789), пожалуй, наиболее тесно связанный с юнговской традицией. Здесь дается наиболее пространная у Карамзина характеристика Юнга как автора: «Имя Йонгово будет во веки священо для тех, которые, имея нежные сердца, чувствуют красоты Натуры, чувствуют — достоинство человека» [7: с. 167]. Бессюжетное строение этого этюда, а также глубокий лиризм предопределяют особое разворачивание повествования в сенсуалистической парадигме — как цепь внешних впечатлений природы, которые, отразившись в сознании чуткого человека, порождают цепочки разнонаправленных и часто неожиданных мыслей, а те в свою очередь — цепочки эмоциональных реакций, чувств и переживаний. Звенья этой цепи нераздельны («Я размышлял и чувствовал. Мысль сцеплялась с мыслию, чувство сливалось с чувством...» [7: с. 126]), и именно наступающая ночь как воплощение предвечного единства всех энергетических начал бытия, до времени не разделенных и не дифференцированных в изначальном мраке, становится у Карамзина наиболее органичным «фоном», а по сути — условием подобного единства. Ночь оказывается временем наибольшей погруженности в себя («наконец все предметы сокрылись от глаз моих; всё для меня исчезло, всё, кроме — меня самого...» [7: с. 165]), особой чуткости к оттенкам чувств и переживаний, необходимой для самонаблюдения чувствительного повествователя, для которого главным откровением, являющимся в ночи, становится «чувство су-

щества», «животворное чувство» собственной целостности и самостоятельности, и в то же время ощущение изначальной и конечной нерасчлененности бытия — ночного хаоса.

Развертывая «ночной» текст «Прогулки», Карамзин выстраивает две параллельно развивающихся линии «ночных размышлений» героя, т. е. мыслей и чувств, непосредственно порождаемых ночным хронотопом. С одной стороны, это привычное для рационалистического дискурса эпохи утверждение мудрости и благодати Творца, открывающееся человеку в гармонии космического устройства именно ночью. Пожалуй, специфика карамзинского видения здесь — стремление связать созерцание картины ночного неба не только со впечатлениями разума, но и чувства; «но сколько же существенных удовольствий может влить в сердце картина ночного неба! Какое пространное поле открывается для действий моего разума!..» [7: с. 168–169]. Вторая же линия — собственно сентименталистское осмысление ночи не просто как ситуации созерцания универсума, но как ситуации творчества, в которой «ночные» элементы мирообраза определяют направленность развертывания творческого процесса. Идеал такого «ночного» певца — Юнг, названный «любимцем Цинтии» [7: с. 167]. Также упоминаются имена Гомера, Оссиана и Виланда. Детали же художественного осмысления ночи в ее текстопорождающем, творческом потенциале: вновь особый *свет* темного, «блистательными звездами усеянного» неба, *луна-Цинтия*, «которая вливает священное вдохновение в сердца Бардов», увлекающие творческое воображение *сновидения*, и, наконец, способность погрузиться в мир предвечных *духовных сущностей*, открывающийся человеку лишь ночью. В своем текстопорождающем потенциале ночь «Прогулки» обретает эзотерический смысл, и в духе масонской мистики молодой Карамзин видит условием реализации заключенного в универсальной сущности ночи творческого начала лишь посвящение, инициацию чувствительного поэта. Ночь как инициальный хронотоп открывает сокровенное: «Подлинно, никогда человек толь сильно не ощущает сродства своего с Духами, как в тихое время ночи, когда, удаляясь от всех людей и забыв все мир-

ское, смотрит на лазурное небо. Тогда кажется ему, будто весьма тонкая завеса скрывает от него мир бестелесный. Нервы духовного зренья его чувствуют легкие сладостные впечатления духовных предметов, которых лучи проникают сквозь сию завесу» [7: с. 168].

Развитием этих мотивов «Прогулки» становится и бессюжетная зарисовка «Ночь», в которой ночь показана как время покоя природы и добрых сердец, время высшей природной гармонии и любви. Именно изображение любовного чувства проходит лейтмотивом через всю зарисовку и благодаря дважды повторяющемуся мотиву («любезной Хлои, идущей к своему другу» [8: с. 272]), и в мифологической параллели — в истории любви Дианы и Эндимиона, и в горестной судьбе не знавшей любви Филлиды, и, наконец, в изображении алтаря Любви, возле которого встречаются счастливые влюбленные. Психологический рисунок в этом повествовании лишь намечен; герои не знают противоречий и мук любви, они существуют в идеальном, сладостно-идиллическом пространстве, и собственно психологизм, раскрытие внутреннего мира лишь намечается, в основном благодаря передаче сладостного состояния души в сладостном же, проникнутом чувствами «приятности» эфонически-благозвучном стиле рассказчика: «Кристалльный ручеек, резво текущий по зеленому лугу, и тонкою пеною своих маленьких волн окропляющий голубые цветочки и мягкую травку красивых бережков своих! Журчи, шуми в изгибах блестящих, и будь веселым вождем любезной Хлои, идущей к своему другу» [8: с. 272]. Появляется в повествовании и легкая ирония: чуткое ухо восторженного героя принимает за шаги возлюбленной любой звук, разносящийся в окружающем пространстве: «— Хлоя! Нет, это белой кролик, зефиром пробужденный...» [8: с. 275].

Возможности передать собственно психологический рисунок в этом бессюжетном рассказе парадоксально связаны и со своеобразным «умолчанием», скрытым за тире (прием, восходящий к стилистике Стерна и развитый Карамзиным в повести «Бедная Лиза»): «— Я прижимаю Хлою к горячей груди моей — она меня к своей прижимает — густой мрак покрывает мои глаза — тонкое пламя обнимает все существо мое, переливается из нервы

в нерву — ноги мои подгибаются — я плаваю, утопаю в сладостях — забываю самого себя <...> — и мы лишаемся чувства» [8: с. 275–276]. Таким образом, художественная топка, генетически связанная для литературы той поры с поэтической традицией Э. Юнга и обусловленная его мотивами, в творчестве Карамзина обогащается иными ассоциациями, воплощающими «жизнь души» повествователя в самых разнообразных оттенках, от лиризма до легкой иронии.

Трансформация мотивов «ночной» и «кладбищенской» поэзии Юнга в творчестве Державина и Карамзина выявляет целый ряд интересных закономерностей в том «диалоге» с литературной традицией, который вели русские писатели на рубеже XVIII–XIX веков. Свобода этого диалога и первенство индивидуально-творческого начала в нем несомненны; именно потому представляются столь различными те «образы Юнга» — художника и мыслителя, что выстраивают в своих произведениях Державин и Карамзин. Диапазон их трактовок — от религиозно-философского откровения до динамично живой историко-литературной «оценки» и психологического «исследования» — позволил в итоге не просто вписать поэтическую топку Юнга в арсенал образных средств русской литературы конца XVIII – начала XIX века, но и представил некие «образцы» взаимодействия с западной литературой, в основе которого лежала идея свободного выбора и ничем не ограниченного круга жизненных, философских, психологических и эстетических ассоциаций.

### *Литература*

1. Ганин В.Н. Поэзия Эдуарда Юнга: становление жанра медитативно-дидактической поэмы: дис. ... канд. филол. наук. М., 1990. 267 с.
2. Державин Г.Р. Сочинения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Г.Н. Ионина. СПб.: Академический проект, 2002. 712 с.
3. Заборов П.Р. «Ночные размышления» Юнга в ранних русских переводах // Русская литература XVIII в. Эпоха классицизма. М.; Л.: Наука, 1964. С. 269–279.
4. История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 2: Драматургия. Поэзия. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 265 с.

5. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника / Изд. подгот. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 719 с.
6. Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю.М. Лотмана. Л.: Советский писатель, 1966. 273 с.
7. Карамзин Н.М. Прогулка // Детское чтение для сердца и разума. Ч. XVIII. № 24. М.: Университетская типография, 1789. С. 161–176.
8. Карамзин Н.М. Ночь // Московский журнал. 1791. Ч. 5. С. 271–272.
9. Ларкович Д.Б. Г.Р. Державин и художественная культура его времени: формирование индивидуального авторского сознания. Екатеринбург: Урал, 2011. 343 с.
10. Левин Ю.Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л.: Наука, 1970. С. 249–290.
11. Маслова А.Г. Символы времени в поэзии Г.Р. Державина // Русское литературоведение на современном этапе. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2009. С. 254–256.
12. Строилова А.Г. Рецепция творчества Эдварда Юнга и Томаса Грея в русской поэзии конца XVIII – начала XIX в.: дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2008. 239 с.
13. Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй половины XVIII в. Исследования. Материалы, публикации. Кн. II. М.: Языки славянской культуры, 2003. 928 с.
14. Тихомирова Л.Н. Истоки «ночного» сверткста в русской поэзии // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2008. № 8. С. 226–234.
15. Юнг Э. Вторая Юнгова ночь о времени, смерти и дружбе / Пер. М.В. Сушковой // Вечера. 1772. Ч. 1. С. 105–136.
16. Юнг Э. Из Юнга. Четвертая ночь. Нарцисса / Пер. П. Политковский // Новости русской литературы. 1803. Ч. 5. С. 245–256.
17. Юнг Э. Стихотворческие красоты Эдуарда Йонга / Пер. Мих. Паренаго. М., 1806. 156 с.
18. Юнг Э. Плач, или Нощные мысли о жизни, смерти и бессмертии: Аглинское творение г. Йонга, С присовокуплением двух поэм: 1) Страшный суд, 2) Торжество веры над любовью и 3) Вольного предложения из книги Иова, творения сего же знаменитаго писателя. Вновь переведено с аглинскаго подлинника / Пер. С.С. Джунковский. СПб.: Типография Государственной Медицинской Коллегии, 1799. 135 с.
19. Юнг Э. Плачь Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии: В девяти ношах помещенныя: С присово-

куплением двух поэм: 1) Страшный суд, 2) Торжество веры над любовью, творения сего же знаменитого писателя / Пер. с нем. яз. А.М. Кутузов. 2-е изд. М.: Тип. И. Лопухина, 1785. 187 с.

20. Юнг Э. Юнговы ночи. Ночь I. Размышления о жизни, смерти и бессмертии // Утренний свет. 1789. Ч. IV. Ноябрь. С. 229–254.

21. Юнг Э. Юнговы ночи, в стихах, изданные Сергеем Глинкою. М.: Университетская Типография, 1806. 175 с.

22. *Young E. Young's Night Thoughts, with Life, Critical Dissertation, and Explanatory Notes / By the Rev. George Gilfillan. Edinburgh: James Nicol; London: James Nisbet; Dublin: W. Robertson, 1853. 311 p.*

### References

1. *Ganin V.N. Poe'ziya E'duarda Yunga: stanovlenie zhanra meditativno-didakticheskoy poemy: dis. ... kand. filol. nauk. M., 1990. 267 s.*

2. *Derzhavin G.R. Sochineniya / Vstup. st., sost., podgot. teksta i primech. G.N. Ionina. SPb.: Akademicheskij proekt, 2002. 712 s.*

3. *Zaborov P.R. «Nochny'e razmy'shleniya» Yunga v rannix russkix perevodax // Russkaya literatura XVIII v. E'poxa klassicizma. M.; L.: Nauka, 1964. S. 269–279.*

4. *Istoriya russkoj perevodnoj xudozhestvennoj literatury'. Drevnyaya Rus'. XVIII vek. T. 2: Dramaturgiya. Poe'ziya. SPb.: Dmitrij Bulanin, 1996. 265 s.*

5. *Karamzin N.M. Pis'ma russkogo puteshestvennika / Izd. podgot. Yu.M. Lotman, N.A. Marchenko, B.A. Uspenskij. L.: Nauka, 1987. 719 s.*

6. *Karamzin N.M. Poln. sobr. stixotvorenij / Vstup. st., podgot. teksta i primech. Yu.M. Lotmana. L.: Sovetskij pisatel', 1966. 273 s.*

7. *Karamzin N.M. Progulka // Detskoe chtenie dlya serdcza i razuma. Ch. XVIII. № 24. M.: Universitetskaya tipografiya, 1789. S. 161–176.*

8. *Karamzin N.M. Noch' // Moskovskij zhurnal. 1791. Ch. 5. S. 271–272.*

9. *Larkovich D.B. G.R. Derzhavin i xudozhestvennaya kul'tura ego vremeni: formirovanie individual'nogo avtorskogo soznaniya. Ekaterinburg: Ural, 2011. 343 s.*

10. *Levin Yu.D. Anglijskaya poe'ziya i literatura russkogo sentimentalizma // Ot klassicizma k romantizmu. Iz istorii mezhdunarodny'x svyazej russkoj literatury'. L.: Nauka, 1970. S. 249–290.*

11. *Maslova A.G. Simvoly' vremeni v poe'zii G.R. Derzhavina // Russkoe literaturovedenie na sovremennom e'tape. M.: MGGU im. M.A. Sholoxova, 2009. S. 254–256.*



12. *Stroilova A.G.* Recepciya tvorчества E'dvarda Yunga i Tomasa Greya v ruskoj poe'zii koncza XVIII – nachala XIX v.: dis. ... kand. filol. nauk. Kemerovo, 2008. 239 s.

13. *Toporov V.N.* Iz istorii ruskoj literatury'. T. II: Russkaya literatura vtoroj poloviny' XVIII v. Issledovaniya. Materialy', publikacii. Kn. II. M.: Yazy'ki slavyanskoj kul'tury', 2003. 928 s.

14. *Tixomirova L.N.* Istoki «nochnogo» sverxteksta v ruskoj poe'zii // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2008. № 8. S. 226–234.

15. *Yung E'.* Vtoraya Yungova noch' o vremeni, smerti i družbe / Per. M.V. Sushkovej // Vechera. 1772. Ch. 1. S. 105–136.

16. *Yung E'.* Iz Yunga. Chetvertaya noch'. Narcissa / Per. P. Politkovskij // Novosti ruskoj literatury'. 1803. Ch. 5. S. 245–256.

17. *Yung E'.* Stixotvorcheskie krasoty' E'duarda Jonga / Per. Mix. Parengo. M., 1806. 156 s.

18. *Yung E'.* Plach, ili Noshhny'ya my'sli o zhizni, smerti i bezsmertii: Aglinskoe tvorenie g. Jonga, S prisovokupleniem dvux poe'm: 1) Strashny'j sud, 2) Torzhestvo very' nad lyuboviyu i 3) Vol'nago prelozheniya iz knigi Iova, tvoreniya sego zhe znamenitago pisatelya. Vnov' perevedeno s aglinskago podlinnika / Per. S.S. Dzhunkovskij. SPb.: Tipografiya Gosudarstvennoj Medicinskoj Kollegii, 1799. 135 s.

19. *Yung E'.* Plach' E'duarda Yunga, ili Noshhny'ya razmy'shleniya o zhizni, smerti i bezsmertii: V devyati noshhax pomeshhenny'ya: S prisovokupleniem dvux poe'm: 1) Strashny'j sud, 2) Torzhestvo very' nad lyuboviyu, tvoreniya sego zhe znamenitago pisatelya / Per. s nem. yaz. A.M. Kutuzov. 2-e izd. M.: Tip. I. Lopuxina, 1785. 187 s.

20. *Yung E'.* Yungovy' noshhi. Noshh' I. Razmy'shleniya o zhizni, smerti i bessmertii // Utrennij svet. 1789. Ch. IV. Noyabr'. S. 229–254.

21. *Yung E'.* Yungovy' nochi, v stixax, izdannyy'e Sergeem Glinkoyu. M.: Universitetskaya Tipografiya, 1806. 175 s.

22. *Young E.* Young's Night Thoughts, with Life, Critical Dissertation, and Explanatory Notes / Vy the Rev. George Gilfillan. Edinburgh: James Nicol; London: James Nisbet; Dublin: W. Robertson, 1853. 311 p.



*Э. Тышковска-Каспшак*  
Вроцлавский университет (Польша)

## ГЕТЕРОТОПИЯ ПЕТЕРБУРГА В ЦИКЛЕ ЭССЕ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА «ПЕТЕРБУРГ»

Я. Ивашкевич впервые увидел Петербург (тогда Ленинград), когда ему было 77 лет. Вскоре после возвращения из поездки он создал цикл эссе «Петербург», в котором рассказал о жизни польских и русских писателей, связанных с этим городом. Гетеротопия Петербурга в произведении указывает на город искусства, город, в котором его герои становятся художниками, который побуждает к творчеству. Другое значение этой гетеротопии связано с функцией столицы Российской империи. Петербург как символ царской власти представлен в двух планах: внутреннем, в котором автор представляет конфликт «писатель – власть», и внешнем, характеризующем русско-польские отношения.

*Ключевые слова:* Я. Ивашкевич; Петербург; гетеротопия; эссе.

*E. Tyszkowska-Kasprzak*

### Heterotopia of Petersburg in 'Petersburg' essay cycle by Jarosław Iwaszkiewicz

J. Iwaszkiewicz had made his first journey to Petersburg (Leningrad that time) at the age of 77. Shortly after his return the author wrote the essay cycle titled 'Petersburg', which reviews life of Polish and Russian writers connected with the city. In the composition Petersburg is the city of art, the city, which induces to become an artist and is conducive to create art. Another meaning of the heterotopia is the Russian Empire capital — the symbol of the tsarist authority. Here Iwaszkiewicz distinguishes the inner plan, in which conflicts between the writer and the authority are taken into consideration and the exterior plan encapsulating Russian-Polish relations.

*Keywords:* J. Iwaszkiewicz, Petersburg, heterotopia, essay.

Отношение Ярослава Ивашкевича к России было довольно сложным и неоднозначным. Уже в 1928 году в стихотворении «К России» [11: Т. 1, с. 302] он задумывается над эмоциями, которые порождает мысль о России: он и любит ее, и ненавидит. Эта амбивалентность была вызвана как сложной историей

польско-русских взаимосвязей, так и судьбой самого писателя и его семьи.

Ивашкевич родился в 1894 году на территории Российской империи в деревне Кальник под Киевом. Учился в елисаветградской и киевской гимназиях, затем на юридическом факультете Киевского университета, а также в Киевской консерватории. Литературный дебют Ивашкевича состоялся в 1915 году, когда его стихотворение на русском языке «Лилит» было напечатано в киевском еженедельном журнале «Перо». В октябре 1918 года Ивашкевич переехал в Варшаву, оставив охваченный войной Киев. В Польше он оказался как будто в эмиграции — он потерял свою малую родину, всех своих друзей [13].

Юные годы будущего писателя совпали со временем, когда Польши как самостоятельного государства не существовало. В семье Ивашкевича рассказывалась история об участии его отца в январском восстании 1863 года и исключении его из университета после поражения мятежа. Несомненно, писатель, как и его родители, был польским патриотом, но несмотря на это, он находился под огромным влиянием русской культуры, он увлекался поэзией акмеистов, особенно стихами Анны Ахматовой, высоко ценил русских классиков Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова. Большое влияние на формирование молодого Ивашкевича оказал учитель русского языка в гимназии Александр Александрович. Вполне возможно, что именно он разбудил в будущем писателе увлечение литературой. Ивашкевич сохранил хорошие воспоминания и о своих школьных друзьях [9: с. 110–118]. Эти противоположные эмоции и суждения остались в памяти писателя на всю жизнь.

Впервые в Петербурге (тогда — Ленинграде) Ивашкевич оказался в 1971 году, в возрасте 77 лет. После возвращения он записал в дневнике: «Я бы очень хотел написать *Сентиментальное путешествие из Москвы в Петербург*, но это чертовски сложно: надо соблюдать меру, применить глубокое знание этой культуры, не позволить обмануть себя достоевщиной <...>, так как это упрощение, немножко как Грэхем Грин, а сущность России, особенно

сейчас, заключается не в этом. Может быть, я поживу там у них, чтобы написать что-то не только для нас, но и для них. Кажется, это не слишком отважное предприятие. Конечно, речь идет о культуре — о Блоке, например, и его квартире “на Пряжке”, о Косцюшко и Суворове, о чем говорил прекрасный Симонов. Нельзя поддаваться очарованию, но Скрябин, Чайковский (*Четвертая Симфония!*). Но „Поэзия русской действительности после Евгения Онегина”! Эта тема первого сочинения, которое я писал в Киеве в 1909 году, осталась в памяти на всю жизнь» [10: с. 284 (Перевод мой. — Э. Т.-К.)].

Ивашкевич осуществил свою идею — написал цикл эссе под заглавием «Петербург». Сборник был издан в 1976 году. На создание произведения, несомненно, повлияла поездка в Северную столицу, но впечатления от этого путешествия не являются его главной темой. Исследователи творчества писателя утверждают, что написать о России Ивашкевич задумал намного раньше, что в нем гораздо раньше созрело желание рассказать о России, определить ее сущность [12: с. 14].

«Петербург» — сборник очерков о русских и польских писателях, связанных с этим городом. Каждое из семи эссе посвящено отдельному писателю: Александру Радищеву, Александру Пушкину, Федору Достоевскому, Александру Блоку, Адаму Мицкевичу, Виткацию. Особняком стоит последняя часть, в которой повествуется о блокадных поэтах; эта часть не примыкает к остальным частям ни по своей структуре, ни по содержанию. К тому же этот очерк отсылает к другой эпохе в жизни города — к советскому периоду, когда его называли Ленинградом, и здесь сложно найти параллели с очевидным петербургским текстом. Это преклонение перед жителями блокадного Ленинграда. Некоторые критики считают, что эта часть написана с целью смягчить критические по отношению к современности акценты сборника, благодаря чему книга вышла в свет [9: с. 131].

Для интерпретации городского пространства сегодня применяется, кроме термина и понятия городского текста, введенного Владимиром Топоровым, термин «гетеротопия», впервые предло-

женный Мишелем Фуко [6; 7]. В отличие от утопий (фиктивных пространств), гетеротопия — это реальное пространство, которое характеризуется особыми взаимоотношениями между пространством и временем, а также допускает их субъективное понимание. По мнению Фуко, всем культурам свойственно создавать «другие пространства» — гетеротопии. «В пространстве гетеротопии оказываются возможны социальные отношения, телесные практики и модели поведения, исключенные из нормального порядка повседневной жизни. Гетеротопии часто связаны с ритуализацией разрыва, травестированием обыденных норм. Общее между ними то, что, находясь там, человек может сказать — “я здесь, но меня здесь нет”, или “я есть иной”. Гетеротопиям также свойственны особые временные отношения — гетеротопии могут накапливать время, упразднять его, прерывать. Таким образом, гетеротопия представляет собой особого рода пространственно-временное единство, связанное с анализом субъективности» [1: с. 28].

В произведении Ивашкевича мы находим описание реальных мест Северной столицы. Автор представляет Зимний дворец, приводящий к размышлениям о Радищеве, Площадь искусств (Михайловскую площадь), по которой гулял Мицкевич, Аничков дворец, Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен Достоевский, квартиру Блока «на Пряжке», казармы Павловского полка, где в молодости служил замечательный польский писатель Виткаций, дом на Невском проспекте с мемориальной доской, посвященной жителям блокадного Ленинграда. Однако все эти элементы городского пейзажа не являются главной темой повествования. Они лишь вызывают ассоциации с жизнью избранных писателей и таким образом отсылают нас в прошлое, в основном ко временам Российской империи. Ивашкевич обращается к историческим событиям и фактам, которые воздействовали на формирование творческого сознания его героев. В этой гетеротопии с очевидностью представлена связь места со временем. Писатель неслучайно выбрал в жизни писателей те места и те моменты, которые оказали сильное влияние на их творческую судьбу. Всё это проецируется на образ города художников, города

искусства, рожденного чувством внешнего и внутреннего раскола, предчувствием катастрофы. Так цикл «Петербург» соприкасается в творчестве Ивашкевича с его личным катастрофическим мифом [8: с. 170–171].

В эссе о Виткевиче Ивашкевич замечает: «А пока что глядя на эти казармы, на улицы Петербурга, на здания и дворцы, я не могу отделаться от ощущения, что здесь ходит странная фигура нашего писателя, который тут почувствовал себя художником. Не он один» [4: с. 124–125]. Кроме заглавных героев в отдельных эссе писатель приводит имена многих других художников, в том числе писателей Василия Жуковского, Ивана Тургенева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Николая Лескова, Всеволода Гаршина, Александра Блока, Зинаиды Гиппиус, Владимира Набокова, Оноре де Бальзака; художников Генриха Семирадского, Франсиско Гойи, Пабло Пикассо; композиторов Станислава Монюшко, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Людвиг ван Бетховена, Роберта Шумана, Кароля Шимановского; упоминаются также архитектор Бартоломео Растрелли, скрипач Павел Коханьски и представители других видов искусства. Не все из них были связаны с городом на Неве, но такое изобилие ассоциаций с высокой культурой свидетельствует об атмосфере этого города. Таким образом, гетеротопия Петербурга — это «место» искусства.

Повествуя о судьбах как русских, так и польских писателей, Ивашкевич задумывается над процессом становления художника. Он обращается к тем моментам в жизни своих героев, в которых они осознали свое призвание писателя. Причем влияние архитектурного ансамбля Петербурга, принципов его урбанистической планировки было далеко не главной причиной начала писательской деятельности. Сведение вопроса к такому пониманию (например, в эссе о Достоевском и Блоке) представляется поверхностным [5: с. 26].

В формировании взглядов художников, как подчеркивает Ивашкевич, важны общественный строй, социальные условия жизни, исторические события. В эссе о Радищеве на первый

план писатель выдвигает Екатерину II — ее стиль жизни и крепостническую политику. В случае автора «Путешествия из Петербурга в Москву» можно говорить не о влиянии на писателя города на Неве, а о преодолении этого влияния: «Чтение его книги заставляет восхищаться смелостью и умом человека, который сумел освободиться от силы воздействия могущества Петербурга, — а оно наверняка должно было на него влиять» [4: с. 35].

Похожее замечание писатель делает по отношению к польскому романтику: «У Мицкевича был сильный характер. Ему двадцать пять лет, мира он почти не видел, людей знал мало, правда, необыкновенных, — ну и что? — сидел в провинции, из городов знал лишь Вильно и Ковно, ну а назвать их тогда большими вряд ли было можно. Петербург же, в который он приехал, хотя еще только начинал быть тем прекрасным городом, каким мы видим его сегодня, но уже имел чем удивить приезжего. Однако по все-му видно, что Мицкевич не дал себя обмануть» [4: с. 51].

В случае с другом Ивашкевича — Виткацием — таким импульсом была встреча с русской культурой, а также с атмосферой города в первые годы Первой мировой войны: «К тому же надо понять, чем был Петербург, Петроград в начале первой войны и в течение первых двух лет сражений, когда поражения не были еще так видны, а подготовка революции наполняла умы и сердца всех мыслящих людей надеждой и ожиданием. Неописуемый шок начала войны расшевелил стоячие воды буржуазных культур — он был ни с чем не сравним» [10: с. 121]. Писатель подчеркивает значение русской культуры в становлении Виткация как художника, приводя мнение известного польского художника и архитектора Станислава Ноаковского: «Художественный мир России был высокого уровня, я счастлив, что познакомился с его размахом, совсем с другими масштабами. Без пребывания в России я не стал бы тем, кем являюсь сейчас. Петербург, Москва, вся сказочно красочная и интересная Россия в моей жизни сыграли огромную роль» [4: с. 121].

Повествуя о своих героях, автор рассказывает и о себе. Почти во всех эссе этого цикла подчеркивается не только влияние рус-

ской культуры на формирование его художественных взглядов, но и его умение выйти за пределы этого влияния. В 1970-е годы Ивашкевич подводит итоги своей литературной деятельности, жизненного выбора и приходит к выводу, что, хотя всю жизнь он считал себя европейским писателем, воспитание в российской среде оставило на нем отпечаток, а может быть, даже стало решающим импульсом для выбора жизненного пути. Увидев впервые Петербург-Ленинград, он вспомнил те произведения, которые были ему так хорошо известны со школьных лет. В «Прологе» он признается: «Никогда не думал, что в глубокой старости суждено мне будет пережить нечто подобное. Дело в том, что, хотя я родился, воспитывался, кончил гимназию и университет на территории Российской империи, я никогда не был в Петербурге. Не бывал я в этом городе и позже, когда он уже назывался Ленинградом <...> Лишь недавно, когда мне уже исполнилось семьдесят семь лет, я оказался на берегах Невы. Как в таких случаях бывает, вроде бы к этой встрече ты был подготовлен, а на самом деле представлял себе все совершенно иначе. Встреча эта была и разочарованием, и сюрпризом, но во всяком случае одним из самых сильных путевых впечатлений, которые я когда-либо пережил». Ивашкевич продолжает: «Что же было причиной тому? Об этом городе я столько знал еще со времен ранней молодости. Читал о нем и в нашей, и в иностранной литературе, знал о нем все. Он был связан с самыми сильными литературными впечатлениями молодости, сначала с Пушкиным и Мицкевичем, с Бальзаком и Достоевским, потом с Блоком и Виткацием» [4: с. 19].

Следует подчеркнуть, что в своих рассуждениях о писателях, их жизненных решениях и переменах в жизни автор не дает простых ответов. В судьбах польских литераторов Ивашкевич всегда подчеркивает их связь с Польшей, их патриотизм, а также героизм в противостоянии царским властям их родственников. Такой выбор в освещении проблем свидетельствует о том, что героем всех эссе является и сам Ивашкевич.

Эпизоды из истории города представлены в цикле как эпизоды из истории Российской империи. Здесь гетеротопия Петербур-

га — это гетеротопия столицы, т. е. видение города автором тесно связано с его функцией и относится непосредственно к власти. Ивашкевич в образе Петербурга изобразил не столько Россию, сколько политику царской власти. Д. Замятин замечает: «Столица находится высоко, на верхушке страны, но так высоко, что оттуда не видно остальной страны. <...> Столица находится практически в другом пространстве, не в том, где регионы, города, области и местности» [3: с. 127]. Писатель последовательно разделяет политизированное пространство столицы и пространство провинции, в котором вырос. Не случайно в произведении названы те элементы петербургского пейзажа, которые ассоциируются с царской властью: Зимний дворец, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, казармы Павловского гвардейского полка и памятники русским монархам — Петру I, Екатерине II.

На связь пространства с властью обращает внимание Д. Замятин, который пишет: «Каждая культура создает свои так или иначе репрезентированные (представленные) образы географического пространства; это ее неотъемлемые элементы. <...> На традиционное физико-географическое пространство накладываются многочисленные “слои” различных по происхождению, структурам, способам функционирования и специализации образов географического пространства. <...> Но связь между географическим пространством и властью, существующей в нем и над ним, гораздо шире и глубже. Политические события — переговоры и манифестации, войны и конфликты, выборы и забастовки, коронации и инаугурации — связаны, прямо или косвенно, с образами географического пространства, в котором они происходят» [2: с. 245]. Для польского писателя Петербург в том числе — метафора империи, содействовавшей разделу Польши, что стало причиной трагедии нескольких поколений поляков, т. е. это также образ бездушной власти, требующей подчинения.

В своих эссе Ивашкевич изображает столицу в двух планах.

Первый связан с внутренней политикой царской империи, которая порождает конфликт «писатель — власть». Так, зависимость судьбы художника от формы государственного правления как стол-



кновение противопоставленных сил и стремлений автор показывает на примере биографий Радищева и Пушкина. В обоих эссе писатель ставит проблему трагического сопряжения творчества и власти. Примечательно, что, освещая фигуру Радищева, автор эссе, известный своим оппортунизмом, преклоняется перед неповиновением власти. Подчеркивается трагизм коллизии «художник — власть», что усиливается изображением трагической гибели обоих писателей.

Второй (метафорический) план обусловлен проблемой политики имперской власти в отношении Польши. Эта тема проходит через весь цикл, но особенно явно представлена в эссе о Блоке и о Виткации.

Однако Петербург Ивашкевича неизменно связан и с глубоким знанием русской культуры, особенно литературы. Для эссе, посвященного Блоку, Ивашкевич отобрал те факты из жизни русского поэта, которые связаны с Польшей. Так, это указание на отца поэта, у которого, по всей вероятности, были польские корни; на его отца — профессора Варшавского университета (и также на его польскую семью); на поездку самого поэта в Варшаву. В творческом плане это внимание к поэме «Возмездие», идея которой возникла в Варшаве: «Именно отсюда, из Варшавы, с Нового Света, от памятника Копернику, который сидит с “пустою сферой в руке”, из воспоминаний о смерти отца, из бесед с родной сестрой <...> начало рождаться нечто, эта поэма, которая так долго мучила Блока. Почему Блок так и не закончил “Возмездие”?» [4: с. 103–104].

На примере русского символиста Ивашкевич показывает, какие отношения между польской и русской интеллигенцией были на самом деле. Здесь нет ни презрения, ни снисходительности; скорее это, наоборот, взаимное понимание: «Этот декабрь 1909 года имел большое значение для Блока. Путешествие в Варшаву не только заставило его совсем иначе посмотреть на отца и увидеть в нем качества, которые он решительно недооценивал, но поэт также иначе взглянул на “польские уголки России”, окончательно понял, что такое Польша и Варшава. К Богу он обращался так же, как в стихотворении “На смерть младенца”: “Забывший

о Польше, о Боже!”<sup>1</sup>. Трогательной является его попытка понять увиденное» [4: с. 101].

Писатель обращает внимание на факт, что русско-польские отношения бывали очень запутанными, часто из-за сложных семейных связей и культурных влияний. Он вспоминает: «Жена сенатора Готовцева, дочь полковника Заболоцкого, который дал приказ стрелять в демонстрантов на Замковой площади в 1861 году, воспитанная в Варшаве, шутливо упрекала меня, что в моем польском плохой акцент» [10: с. 103]. Описывает также ситуацию, которой был свидетелем: группа молодежи провожала своего друга, уезжавшего из Ченстоховы в Центральную Россию. «Все молодые люди были русскими, детьми чиновников из Петровской губернии, но говорили они друг с другом по-польски, на замечательном польском языке» [4: с. 103].

Свой взгляд на отношения между поляками и русскими Ивашкевич формулирует с помощью слов Блока: «Стыд, злость и сожаление ощущал поэт, видя, как между поляками и русскими вторгается “орава военных русских пошляков”»<sup>2</sup> [4: с. 105–106].

В эссе о Виткации Ивашкевич акцентирует идею независимости Польши, которая была жива для всех поколений поляков. Как будто вскользь он упоминает дядю своего друга Станислава Виткевича — Яна. Писатель не рассказывает о его жизни, но ставит вопрос о том, знал ли молодой Виткаций миф о своем родственнике. В действительности судьба этого борца за свободу родины была широко известна — вехи его биографии запечатлели в своих произведениях польские писатели эпохи романтизма. В истории жизни Станислава Виткевича очень много загадочного, но введение информации о дяде художника заставляет задуматься над переменой, которая произошла в молодом Виткации в Петербурге: по мнению автора эссе, она касалась не только осознания им своего призвания как художника, но и решения бороться за независимость Польши [12: с. 22–23].

---

<sup>1</sup> От редакции: при переводе с языка на язык и обратно могут быть потери. В оригинале: «забывший Польшу, Боже!» (Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. С. 333).

<sup>2</sup> От редакции: см. комментарий к предшествующей сноске. В оригинале: «...орава / Военных русских пошляков» (Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 3. С. 340).

Ивашкевич принадлежал к тому поколению, которое испытало имперскую политику России, но он помнил не только плохое, но и хорошее. Поэтому Россия, которую он показал в цикле «Петербург», представлена как неоднородный феномен: автор разделяет Российскую империю, враждебную Польше, и русскую культуру, которая оказала сильное влияние на него и на других польских художников [13: с. 367–368]. Жанр эссе, избранный писателем, дал ему возможность свободного повествования — без жесткого определения своей позиции по отношению к представленным проблемам, без однозначных ответов на поставленные вопросы. В этом отразилось многоплановое отношение Ивашкевича к России.

### Литература

1. Беззубова О.В. Гетеротопии городского пространства: к истории концепта // Эстетика архитектуры и дизайна: мат-лы Всероссийской научно-практической конференции (4–6 октября 2010 г.): сб. ст. М.: Архитектура-С, 2010. С. 27–31.
2. Замятин Д. Власть пространства и пространство власти. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 352 с.
3. Замятин Д. Метагеография русских столиц // Октябрь. 2003. № 4. С. 136–143.
4. Ивашкевич Я. Петербург / Пер. с польск. Е. Невякина. СПб.: Стройиздат, 2002. 140 с.
5. Мицнер П. Путешествие Ярослава Ивашкевича из Варшавы в Петербург // Новая Польша. 2001. № 7–8. С. 26–27.
6. Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2006. С. 191–200.
7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. СПб.: А-сad, 1994. 408 с.
8. Bakula B. Kijów i Petersburg, czyli na rogatkach Europy i Azji // Powroty Iwaszkiewicza. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1999. С. 163–176.
9. Drobiniaк P. Jedność w różnorodności. Europa w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 275 с.
10. Iwaszkiewicz J. Dzienniki. 1964–1980. Warszawa: Czytelnik, 2011. 673 с.

11. *Iwaszkiewicz J.* Wiersze: v 2 t. Warszawa: Czytelnik, 1977. T. 1. 433 c.; T. 2. 615 c.
12. *Wroczyński T.* Późna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1990. 130 c.
13. *Zawada A.* Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994. 422 c.

### References

1. *Bezzubova O.V.* Geterotopii gorodskogo prostranstva: k istorii koncepta // E'stetika arxitektury' i dizajna: mat-ly' Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii (4–6 oktyabrya 2010 g.): sb. st. M.: Arxitektura-S, 2010. S. 27–31.
2. *Zamyatin D.* Vlast' prostranstva i prostranstvo vlasti. M.: Rossijskaya politicheskaya e'nciklopediya, 2004. 352 s.
3. *Zamyatin D.* Metageografiya russkix stolicz // Oktyabr'. 2003. № 4. S. 136–143.
4. *Ivashkevich Ya.* Peterburg / Per. s pol'sk. E. Nevyakina. SPb.: Strojizdat, 2002. 140 s.
5. *Miczner P.* Puteshestvie Yaroslava Ivashkevicha iz Varshavy' v Peterburg // Novaya Pol'sha. 2001. № 7–8. S. 26–27.
6. *Fuko M.* Drugie prostranstva // Intellektualy' i vlast': Izbranny'e politicheskije stat'i, vy'stupleniya i interv'yuu. M.: Praksis, 2006. S. 191–200.
7. *Fuko M.* Slova i veshhi. Arxeologiya gumanitarny'x nauk / Per. s fr. V.P. Vizgina i N.S. Avtonomovoj. SPb.: A-cad, 1994. 408 s.
8. *Bakula B.* Kijów i Petersburg, czyli na rogakach Europy i Azji // Powroty Iwaszkiewicza. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1999. C. 163–176.
9. *Drobiniak P.* Jedność w różnorodności. Europa w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. 275 c.
10. *Iwaszkiewicz J.* Dziennki. 1964–1980. Warszawa: Czytelnik, 2011. 673 c.
11. *Iwaszkiewicz J.* Wiersze: v 2 t. Warszawa: Czytelnik, 1977. T. 1. 433 c.; T. 2. 615 c.
12. *Wroczyński T.* Późna eseistyka Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1990. 130 c.
13. *Zawada A.* Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994. 422 c.

*С.А. Джанумов*

Московский городской педагогический университет (Россия)

## НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ПИСЬМАХ А.С. ПУШКИНА 1828–1831 ГОДОВ

В статье выявляются многочисленные факты обращения к русским народным пословицам и поговоркам в письмах А.С. Пушкина 1828–1831 годов, рассматриваются принципы их использования в эпистолярном наследии поэта, их соотношение с его художественным творчеством. Мы выбрали хронологически определенный период: с 1828 по 1831 год включительно, то есть период, охватывающий жизнь Пушкина в Санкт-Петербурге и Москве, его путешествие в Арзрум в середине 1829 года, знаменитую Болдинскую осень 1830 года, а также первый год его семейной жизни. В статье приводится суждение И.С. Тургенева, который еще в 70-х годах XIX века в предисловии к публикации писем А.С. Пушкина к жене не только объяснил значение этих писем для читателя, но и тонко подметил одну важную и любопытную особенность публикуемых писем: «Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени; и уже с одной этой точки зрения его письма достойны внимания каждого образованного русского человека; для историка литературы они — сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами». Делается вывод о том, что пословицы и поговорки естественно и органично входят в текст писем Пушкина, приводятся в связи с определенной жизненной ситуацией, т. е. именно так, как они бытуют в народе.

*Ключевые слова:* А.С. Пушкин; пословицы; поговорки; письма; упоминание; творческое использование.

*S. Dzhanumov*

### Folk Proverbs and Sayings in A.S. Pushkin's Letters of the 1828–1831 years

The article deals with numerous instances of referring to Russian proverbs and sayings in letters written by A.S. Pushkin in 1828–1831 and provides further analysis of the principles of their creative usage in the epistolary heritage of the poet in relation to his belles-lettres works. We have chosen chronologically definite period: from 1828 to 1831 inclusive,

that is the period taking in Pushkin's life in Saint Petersburg and Moscow, his journey to Arzrum in the middle of 1829, famous autumn in Boldino in 1830, and also the first year of his family life. In the article the author cites I.S. Tourgenev's opinion. Already in 70-s years of XIX century in his preface to the publication of A.S. Pushkin's letters to his wife, Tourgenev not only explained the significance of these letters for the reader, but also shrewdly noted one important and curious peculiarity of published letters: "Pushkin was not only the most talented, but also the most Russian person of his time; and already from this very point of view his letters are worthy of attention of every educated Russian person; for the historian of literature they are a real treasure; manners, the very life of the definite epoch was reflected in them although in quick, but bright features". It is concluded that proverbs and sayings naturally and organically come into the text of Pushkin's letters, are used in the connection of different life events, closely resembling the way such sayings are traditionally used by Russian people.

*Keywords:* A.S. Pushkin; proverbs; sayings; letters; mentioning; creative usage.

Данная статья посвящена исследованию проблемы, поставленной в наших предыдущих публикациях: функциям пословиц и поговорок в эпистолярном наследии великого русского поэта [2: с. 135–143; 3: с. 56–64]. Мы выбрали хронологически определенный период: с 1828 по 1831 год включительно, то есть период, охватывающий жизнь Пушкина в Петербурге и Москве, его путешествие в Арзрум в середине 1829 года, знаменитую Болдинскую осень 1830 года, а также первый год его женитьбы. Все эти письма помещены в 14 томе Полного собрания сочинений А.С. Пушкина в 16-ти томах [8: Т. 14: Переписка 1828–1831 годов]. Тексты Пушкина приводятся по этому изданию и, как отмечено в предисловии от редакции, иногда с отступлением от общепринятых орфографических и пунктуационных норм, отражающих «живой язык поэта, с точки зрения его произношения, грамматической и лексической системы» [8: Т. 1, с. XI].

Еще в 70-х годах XIX века в предисловии к публикации писем А.С. Пушкина к жене — «Новые письма А.С. Пушкина. Июль 1830 г. – май 1836 г. От издателя» — И.С. Тургенев не только объяснил значение этих писем для читателя и наметил главные

аспекты изучения эпистолярного наследия поэта в последующие годы, но и тонко подметил одну важную и любопытную особенность публикуемых писем: «Пушкин был не только самым талантливым, но и самым русским человеком своего времени; и уже с одной этой точки зрения его письма достойны внимания каждого образованного русского человека; для историка литературы они — сущий клад: нравы, самый быт известной эпохи отразились в них хотя быстрыми, но яркими чертами» [10: с. 360].

Это суждение Тургенева справедливо не только относительно писем Пушкина к жене. Пушкин был «самым русским человеком своего времени» и в письмах к друзьям, к издателям его произведений, к журналистам. Одна из характерных примет эпистолярного стиля Пушкина — широкое использование в его письмах русских народных пословиц и поговорок, введение просторечной лексики и фразеологии в текст писем. В приложении — сопроводительной статье к книге «А.С. Пушкин. Письма к жене» Я.Л. Левкович, касаясь языка и стиля писем поэта к Наталье Николаевне, в частности, отмечала: «Пушкин любит энергию простонародных выражений» [7: с. 100]. Эта «энергия простонародных выражений» во многом достигалась за счет обильного включения в текст пушкинских писем народных пословиц и поговорок.

Так, в письме к М.П. Погодину от 1 июля 1828 года из Петербурга Пушкин просит его похвалить журнал «Славянин» (издававшийся А.Ф. Воейковым с 1827 по 1830 год) и, подчеркивая свою высокую оценку этого журнала, приводит перефразированную им первую часть довольно редкой трехчастной пословицы: «К стати: похвалите Славянина, он нам нужен, как *навоз нужен пашне*, как свинья нужна кухне, а Шишков русской Академии» [8: Т. 14, с. 22] (здесь и ниже пословицы и поговорки в письмах, статьях и художественных произведениях Пушкина выделены мною курсивом. — С.Д.) (ср. у И.М. Снегирева: «Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода приносит» [9: с. 118]). У Пушкина, как видим, «земля» заменена на «пашню», что не меняет смысла первой части приведенной пословицы, а далее автор письма, сохраняя триединую композицию изречения, дает свое оригинальное продолжение. Упоминание имени А.С. Шишкова



в этой триаде неслучайно. Пушкин и потом не раз связывал имя адмирала и литератора А.С. Шишкова с Российской Академией, поскольку Шишков еще в 1796 году был избран ее членом, а в 1813–1841 годах, т. е. более четверти века, был ее президентом. Об этом Пушкин упоминает в статье «Российская Академия» (1836) [8: Т. 12, с. 43–44], а также в других статьях и письмах.

Сразу две поговорки встречаются в письме Пушкина к П.А. Вяземскому (около 25 января 1829 года. Петербург). Сначала Пушкин с явным неодобрением отзывается о петербургских раутах: «Я в П.<етер>Б.<урге> с неделю, не больше. Нашел здесь всё общество в волнении удивительном. *Веселятся до упаду* и в стойку, т. е. на раутах, которые входят здесь в большую моду. Давно бы нам догадаться: мы сотворены для раутов, ибо в них не нужно ни ума, ни веселости, ни общего разговора, ни политики, ни литературы» [8: Т. 14, с. 38]. Пушкин и позже, в письме к жене от 25 сентября 1832 года из Москвы, использовал эту поговорку и так писал о своем друге П.В. Нащокине: «Каков отшельник? он *смешит* меня *до упаду...*» [8: Т. 15, с. 31].

Другая поговорка, приведенная в том же письме к П.А. Вяземскому, — «Дай Бог... ни дна, ни покрывшки». Обычно это выражение используется в связи с пожеланием кому-нибудь неудачи, неприятностей, а иносказательно — в значении быть похороненным (или предстать на том свете перед Богом) без гроба. Вспоминая о своей недавней поездке в Москву и о литературно-музыкальном салоне княгини З.А. Волконской, поэт, против своего обыкновения, не восхищается многочисленными талантами этой незаурядной женщины, а отзывается о ней (возможно из-за какой-то размолвки) с явным неодобрением: «...отдыхаю (в Петербурге. — *С.Д.*) от проклятых обедов Зинаиды. (*Дай бог ей ни дна ни покрывшки*; т. е. ни Италии, ни графа Риччи!)» [8: Т. 14, с. 38]. З.А. Волконская вскоре собиралась перебраться, как бы сейчас сказали, «на постоянное место жительства» в Италию, куда и уехала в конце февраля 1829 года; граф Миньято Риччи — поэт, переводчик, композитор, певец-любитель, с которым Пушкин встречался в салоне З.А. Волконской. Осенью 1828 года Риччи разошелся с женой (Екатериной Петровной, урожденной Луниной) и уехал в Италию.



Еще раз Пушкин вспомнит эту поговорку в письме к жене от 21 сентября 1833 года из Болдина. Раздосадованный ухаживаниями подпоручика Н.А. Огарева за Натальей Николаевной (о чем она, вероятно, писала мужу в не дошедшем до нас письме), поэт иронически замечает: «Видно Огорев охотник до Пушкиных, дай бог ему ни дна ни покрываши!» [8: Т. 15, с. 87].

Иногда посредством пословицы Пушкин выражал свое отношение к тому или иному литературному произведению. Так, в письме к П.А. Вяземскому (от конца января 1830 года из Петербурга), который невысоко оценивал роман М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), Пушкин возражает своему другу и просит его более снисходительно отнестись к этому произведению, используя в качестве аргумента известную пословицу: «Ты бранишь Милославского, я его похвалил. *Где гроза, тут и милость*» [8: Т. 14, с. 61] (ср. у В.И. Даля: «Где гнев, там и милость» [6: с. 129, 214]). Близкие по смыслу народные изречения мы находим в «Капитанской дочке» Пушкина, где их произносит Пугачев, обращаясь к Гриневу: «*Казнить так казнить, миловать так миловать*. Ступай себе на все четыре стороны и делай, чего хочешь» [8: Т. 8, с. 333]; «*Казнить так казнить, жаловать так жаловать*: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, куда хочешь...» [8: Т. 8, с. 356].

В известном и часто цитируемом письме к П.А. Плетневу от 31 августа 1830 года из Москвы (накануне отъезда в Болдино), где Пушкин говорит об осени как о любимом времени года, в том числе и для «литературных трудов», он вместе с тем делится с другом своими невзгодами: размолвками с будущей тещей — Наталией Ивановной Гончаровой, почти расстроеной свадьбой. А в конце письма, чтобы показать, что он примирился с судьбой, приводит пословицу: «*От добра добра не ищут*. Чорт меня догадал бредить о счастья, как будто я для него создан» [8: Т. 14, с. 110]. Еще раз эту же пословицу поэт вспомнит в письме к жене от 20 и 22 апреля 1834 года из Петербурга: «Видел я трех царей (имеются в виду Павел I, Александр I и Николай I. — С.Д.): первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость

лет, но променять его на четвертого не желаю; *от добра добра не ищут*» [8: Т. 15, с. 129–130] (ср. у И.М. Снегирева: «От корма кони не рыщут; от доброго добра не рыщут» [9: с. 208]).

Почти через месяц в другом письме к тому же адресату — П.А. Плетневу — уже из Болдина (от 29 сентября 1830 года) Пушкин, опять-таки негодуя на свою будущую тещу, которая заводила с ним «глупые ссоры», к месту приводит подходящую по смыслу поговорку: «...а она (Н.И. Гончарова. — *С.Д.*), как *баба*, у которой *долг лишь волос*, меня не понимала да хлопотала о приданом, чорт его побери» [8: Т. 14, с. 113]. Пушкин, которого бесили эти размолвки и ссоры, опускает вторую часть поговорки, несомненно, хорошо известной Плетневу, как всякому русскому человеку (ср. у И.М. Снегирева: «У бабы волос долг, да ум короток» [9: с. 257]).

В письме (на французском языке) к Н.Н. Гончаровой (от 11 октября 1830 года из Болдина), еще как невесте, в конце послания Пушкин вдруг переходит на русский язык и в одной фразе употребляет сразу две поговорки: «Дело в том, что *для друга семь верст не крюк*; а ехать прямо на Москву значит *семь верст киселя есть...*» [8: Т. 14, с. 116] (ср. у И.М. Снегирева: «Для друга и семь верст не околица»; «Семь верст, киселя есть» [9: с. 92, 235]).

Можно только догадываться, почему в этом месте письма Пушкин переходит с французского языка на русский: по-видимому, он считал, что невозможно адекватно передать колорит и смысл русских поговорок на иностранном языке. Да и высказать свое горячее желание во что бы то ни стало увидеть невесту и свою досаду из-за невозможности пробиться к ней через многочисленные карантинные заставы, выставленные на дороге из Болдина в Москву из-за холеры, поэту, конечно, сподручнее было на родном языке.

В самом начале письма к П.А. Плетневу из Болдина, датированном приблизительно 29 октября 1830 года, Пушкин, сетуя на то, что он не может прорваться через карантинные заставы в Москву, вспоминает сразу две поговорки. Одну из них он приводит в усеченной форме, а другую — полностью: «Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдино да *жду погоды*. Ну уж погода! Знаю, что *не так страшен чорт как его малюют*; знаю, что холера

не опаснее турецкой перестрелки — да отдаленность, да неизвестность — вот что мучительно» [8: Т. 14, с. 117].

Первую из приведенных пословиц (ср. у И.М. Снегирева: «Сиди у моря, да жди погоды!» [9: с. 236]) поэт не раз использовал и в своих художественных произведениях, и в письмах, как в полной, так и в усеченной форме (то есть, без первой ее части): в несколько измененном, перефразированном виде — в первой главе «Евгения Онегина»:

Придет ли час моей свободы?  
Пора, пора! — взываю к ней;  
*Брожу над морем, жду погоды,*  
Маню ветрила кораблей [8: Т. 6, с. 25–26];

в письме к Н.И. Гнедичу (23 февраля 1825 года. Михайловское): «Много у меня начато, ничего не кончено. *Сижу у моря, жду перемены погоды*» [8: Т. 13, с. 145]; в письме к В.А. Жуковскому (6 октября 1825 года. Тригорское): «Милый мой, *посидим у моря, подождем погоды*; я не умру; это невозможно; Бог не захочет, чтобы Гудунов<sup>1</sup> со мною уничтожился» [8: Т. 13, с. 237]; в приписке письма к А.А. Дельвигу (4 ноября 1830 года. Болдино): «Я живу в деревне как в острове, окруженный карантинами. *Жду погоды*, чтоб жениться и добраться до П.<етер>Б.<урга> — но я об этом не смею еще и думать» [8: Т. 14, с. 121].

Другая из приведенных в начале письма к П.А. Плетневу пословиц — «<...> *не так страшен черт як его малюют*» (ср. у В.И. Даля: «Не поддавайся черту, так ему и власти нет над тобой!»; «Страшен сон (черт), да милостив Бог» [6: с. 45, 269]) — встречается в творчестве Пушкина только один раз: именно в данном письме. Показательно, что Пушкин как бы расшифровывает приведенную пословицу, дает ей свое толкование. Сравнение черта с холерой, а холеры, в свою очередь, с «турецкой перестрелкой» вполне оправданно в письме, так как поэт смотрел на холеру как на своего врага, поскольку карантинны не позволяли ему вырваться из Болдина в Москву, к своей невесте, а что такое «турецкая перестрелка», то есть сражение с турками, поэт знал не понаслышке и описал в «Путешествии в Арзрум

<sup>1</sup> Так у А.С. Пушкина.

во время похода 1829 года» в главе третьей, один из подзаголовков которой так и называется: «Перестрелка».

Еще одна колоритная русская пословица (и опять-таки в связи с холерой и карантинами) приводится в перефразированной форме в письме Пушкина к М.П. Погодину (начало ноября 1830 года. Болдино): «<...> срок [день<гам>] моему долгу в следующем месяце, но я не смею надеяться заплатить Вам: *не я лгу, и не мошна лжет* — лжет холера и прилыгают 5 карантинных нас разделяющих» [8: Т. 14, с. 122] (ср. у В.И. Даля: «Не я лгу, мошна лжет»; «Не душа вертится, мошна» [6: с. 99]). Эта же пословица будет использована в письме поэта к своей жене из Петербурга, датированном примерно 26 июля 1834 года: «Пожалуй-ста не сердись на меня за то, что я медлю к тебе явиться. Право, *душа просит; да мошна не велит*» [8: Т. 15, с. 182].

В письме к П.А. Вяземскому от 5 ноября 1830 года из Болдина встречается сразу несколько пословиц и поговорок: «Ты говоришь: худая вышла нам очередь. <...> Поделом, если останемся *голы как бубны*» [8: Т. 14, с. 122]. Как известно, бубен — ударный музыкальный инструмент, состоящий из обруча с натянутой на нем кожей и прикрепленных к нему металлических колокольчиков и бубенчиков. Но в переносном значении, особенно в просторечии, бубен — человек, всё промотавший. Отсюда и пословица: «Гол, как бубен, как сосенка, как перст» [6: с. 89].

Далее, касаясь журнальной полемики и жалея, что в Болдине нет журналов, Пушкин пишет: «Но досадно, что не получал журналов. Я был в духе ругаться, и отделал бы их на их же манер. В полемике, мы скажем с тобою, и нашего тут *капля меду есть*» [8: Т. 14, с. 122] (ср. у М.И. Михельсона: «Капля меду, ложка дегтю: все испортит» [5: Т. I, с. 390]; в сборнике И.М. Снегирева эта пословица приведена в другом варианте: «Бочка меду, да капля дегтя» [9: с. 53]). В использованном Пушкиным варианте данная пословица ранее встречается и в басне И.А. Крылова «Орел и Пчела» (1813): «<...> Но утешаюсь тем, на наши смотря соты, // Что в них и моего хоть капля меду есть» [4: с. 73].

По-видимому, употребляя эту народную пословицу в своем письме, Пушкин имел в виду то, что они с П.А. Вяземским и

А.А. Дельвигом выступили единым фронтом против Ф.В. Булгарина и Н.А. Полевого. Как отмечал Д.Д. Благой в своей монографии, «в Болдино Пушкин уехал в самый разгар полемики о «литературной аристократии», в которой он принимал такое непосредственное и страстное участие» [1: с. 548].

Свидетельством этого активного участия Пушкина в литературной полемике явились его статьи и заметки «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений», «Опровержения на критики и замечания на собственные сочинения», написанные в Болдине, а также письма к П.А. Плетневу и к А.А. Дельвигу из Болдина от конца октября и начала ноября 1830 года. В первом из указанных писем Пушкин, оторванный в своей глуши от литературных баталий, с нетерпением спрашивает своего корреспондента: «Журналов ваших я не читаю; кто кого? Скажи Дельвигу, чтоб он крепился; что я к нему явлюсь непременно на подмогу, зимой, коли здесь не окалею» [8: Т. 14, с. 118]. А в письме к своему другу и издателю «Литературной газеты» и альманаха «Северные цветы» А.А. Дельвигу Пушкин не без иронии замечает: «Я, душа моя, написал пропасть полемических статей, но не получая журналов, отстал от века и не знаю в чем дело — и кого надлежит душить, Полевого или Булгарина» [8: Т. 14, с. 121].

Так что пословица о капле меда в письме к П.А. Вяземскому не случайна и имеет вполне определенный смысл: в «ложке (или бочке) дегтя» (статьи Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча, Н.А. Полевого) есть «капля меду» (статьи, эпиграммы и вообще вся литературная деятельность самого А.С. Пушкина, П.А. Вяземского и А.А. Дельвига).

С помощью народной мудрости Пушкин кратко, образно и емко отображает свою роль и роль своих друзей и единомышленников в литературной полемике. Он, как всегда, скромно в оценке своего участия в литературной борьбе с Ф.В. Булгариным. Если в полной мере и по справедливости оценить степень его вовлеченности в эту борьбу и значение его критической деятельности в сравнении со статьями литераторов болгаринского круга, то, скорее, здесь будет уместнее вспомнить приведенный выше вариант пословицы из сборника И.М. Снегирева: «Бочка меду, да капля дегтя».

В том же письме к П.А. Вяземскому от 5 ноября 1830 года встречаются еще две пословицы, которые следуют одна за другой. Обрадованный известием, что Вяземский начал работу над давно задуманной биографией Д.И. Фонвизина (монография «Фон-Визин. Сочинение князя Вяземского» выйдет в свет через 11 лет после смерти Пушкина — в 1848 году), Пушкин пишет: «Радуюсь, что ты принялся за Ф.<он>Визина. Что ты ни скажешь о нем, или к стати о нем, всё будет хорошо, потому что будет сказано. Об Истине (т. е. о точности применения истины) нечего тебе заботиться: *пуля виноватого сыщет*. Все твои литературные обозрения полны этих *пуль-дур*» [8: Т. 14, с. 122].

Варианты приведенных Пушкиным в письме пословиц можно найти в сборниках И.М. Снегирева и В.И. Даля: «Пуля дура, штык молодец», «Пуля найдет виноватого» [9: с. 225]; «Пуля дура, штык молодец», «Пуля дура, где ударит — дыра»; «Пуля дура, а виноватого найдет» [6: с. 259]. Как видим, пословицу «Пуля виноватого сыщет» Пушкин приводит полностью и в соответствии с ее точным употреблением в народе, а вторую «Пуля дура, штык молодец» перефразирует, видоизменяет, опуская ее вторую часть и применяя первую к статьям и литературным обозрениям П.А. Вяземского.

В часто цитируемом письме к П.А. Плетневу (9 декабря 1830 года. Москва), где Пушкин подводит итог тому, что создано им в Болдинскую осень 1830 года, он использует поговорку: «Пришли мне денег сколько можно более. Здесь ломбард закрыт и я *на мели*» [8: Т. 14, с. 133]. Как известно, поэт, живший в основном за счет своих не очень больших литературных гонораров, постоянно испытывал нужду в деньгах. Пушкин и ранее употреблял эту полюбившуюся ему поговорку, и, как правило, в связи со своими материальными заботами и затруднениями. Так, в конце письма к своему приятелю И.А. Яковлеву (вторая половина марта – апрель 1829 года (?) Москва) поэт сообщает ему: «В конце мая и в начале июня денег у меня будет кучка, но покамест я *на мели* и карабкаюсь» [8: Т. 14, с. 44]. А почти через два года, уже будучи женатым человеком, в письме к П.А. Плет-

неву от 11 июля 1831 года из Царского Села, Пушкин приводит данную поговорку в другом контексте и просит своего друга прислать что-нибудь для альманаха «Северные цветы на 1832 год» «в пользу братьев Дельвига»: «Во всяком случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, так она *сядет на мель*» [8: Т. 14, с. 189]. И, наконец, в письме к жене от 8 октября 1833 года из Болдина Пушкин опять-таки вспоминает эту поговорку в уже обычном ее значении и смысле: «<...> я приеду к тебе, ничего не успев написать — и без денег *сядем на мель*» [8: Т. 15, с. 85] (ср. у В.И. Даля: «Сидеть на экваторе (флотск., быть без гроша; широта 0)» [6: с. 89]; у М.И. Михельсона: «На мели (иноск.) — без денег» [5: Т. 1, с. 354]).

Еще одну известную поговорку Пушкин искусно обыгрывает в письме к П.А. Вяземскому от 2 января 1831 года из Москвы, где он предлагает последнему передать свое стихотворение «Ухабы. Обозы» (1828) (в письме Пушкин называет стихотворение Вяземского со строчной буквы просто «обозы») П.Л. Яковлеву (брату лицейского товарища Пушкина М.Л. Яковлева) в задуманный им альманах «Блин» (издан так и не был): «Яковлев издает к масленицы (так у Пушкина. — С.Д.) альманах *Блин* (курсив Пушкина. — С.Д.). Жаль, если *первый блин* его будет *комом*. Не отдашь ли ему обозы?» [8: Т. 14, с. 139] (ср. у И.М. Снегирева: «Первой блин, да комом» [9: с. 211]).

В письме к своему хорошему знакомому Н.И. Кривцову от 10 февраля 1831 года из Москвы Пушкин вспоминает часто употребляющуюся в разговорной речи народную поговорку: «<...> Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то *легки на подъем*. Ты без ноги (Кривцов лишился ноги в 1813 году в сражении под Кульмом. — С.Д.), а я женат» [8: Т. 14, с. 150] (ср. у М.И. Михельсона: «Легок. (Легка) на подъем» [5: Т. 1, с. 505]).

Чтобы в двух словах рассказать П.А. Плетневу о том, как он пытался накануне свадьбы уладить денежные недоразумения со своей тещей Н.И. Гончаровой, Пушкин в самом начале письма к своему другу от 16 февраля 1831 года из Москвы использует народную поговорку о невозвратной потере: «Через несколько дней я женюсь: я представляю тебе хозяйственный отчет:



<...> 11,000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым — *пиши пропало*» [8: Т. 14, с. 152] (ср. у В.И. Даля: «Игла в стог упала, пиши пропала», «Ищи в шерсти, пиши пропала» [6: с. 576]). В перефразированной форме эта пословица встречается в повести Пушкина «Станционный смотритель» (1830), где Самсон Вырин униженно просит Минского: «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню» [8: Т. 8, с. 103].

В письме к П.А. Вяземскому от 3 сентября 1831 года из Царского Села, как бы в ответ на пространные суждения своего друга о русских пословицах и поговорках, Пушкин не просто употребляет довольно редкую народную пословицу, но и по своему комментирует ее: «Твое рассуждение о пословице русской не пропадет. К числу благороднейших принадлежит и сия: *за тычком не угонишься* (курсив мой. — С.Д.), т. е. не хлопочи о полученном тычке» [8: Т. 14, с. 221] (ср. у В.И. Даля: «Не за всяким тычком гонись» [6: с. 263]).

И, наконец, в письме к поэту и публицисту Ф.Н. Глинке от 21 ноября 1831 года из Петербурга, говоря о своем уважении к нему, к его «прекрасному таланту» и прося прислать стихи в «Северные цветы», издаваемые в память А.А. Дельвига, Пушкин перефразирует известную пословицу: «Мне говорят, будто Вы на меня сердиты; это еще не резон: сердце сердцем, а *дружба дружбой* (курсив мой. — С.Д.)» [8: Т. 14, с. 241] (ср. вариант этой пословицы у И.М. Снегирева: «Дружба дружбой, а служба службой» [9: с. 99]).

Рассмотренные в статье письма Пушкина, в которых то и дело встречаются пословицы и поговорки, представляют значительный интерес, так как помогают понять особенности эпистолярного стиля поэта, его восприимчивость к малым жанрам фольклора, творческое использование афористического фольклора в его произведениях. Очень важно осмыслить, в каком контексте употребляются те или иные народные изречения, в связи с какой конкретной жизненной ситуацией и почему они так естественно и органично входят в текст писем Пушкина. Пушкин нередко доверяет пословицам и поговоркам функцию морали (но не морализирования), житейской мудрости,



применяет в качестве своеобразного непогрешимого нравственного критерия в оценке тех или иных людей и событий.

### *Литература*

1. *Благой Д.Д.* Творческий путь Пушкина (1826–1830). М.: Советский писатель, 1967. 724 с.
2. *Джанумов С.А.* Народные пословицы и поговорки в письмах А.С. Пушкина 1821–1827 годов // Русистика и компаративистика: сб. науч. ст. Вып. VIII. Вильнюс: Edukologija, 2013. С. 135–143.
3. *Джанумов С.А.* Народные пословицы и поговорки в письмах А.С. Пушкина к жене // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». 2013. № 4. С. 56–64.
4. *Крылов И.А.* Соч.: в 2 т. / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н.Л. Степанова. Т. 1. М.: Правда, 1956. 475 с.
5. *Михельсон М.И.* Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: сб. образных слов и иносказаний: в 2 т. М.: ТЕРРА, 1994. Т. 1. 781 с.; Т. 2. 832 с.
6. Пословицы русского народа. Сб. В. Даля. М.: ГИХЛ, 1957. 991 с.
7. *Пушкин А.С.* Письма к жене / Изд. подгот. Я.Л. Левкович. Л.: Наука, 1987. 260 с.
8. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 16 т. [Б.м.]: Изд-во АН СССР, 1937–1949.
9. *Снегирев И.М.* Русские народные пословицы и притчи / Изд. подгот. Е.А. Костюхин. М.: Индрик, 1999. 624 с.
10. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т.; Соч.: в 12 т. Т. 10. М.: Наука, 1982. 607 с.

### *References*

1. *Blagoj D.D.* Tvorcheskij put' Pushkina (1826–1830). M.: Sovetskij pisatel', 1967. 724 s.
2. *Dzhanumov S.A.* Narodny'e posloviczy' i pogovorki v pis'max A.S. Pushkina 1821–1827 godov // Rusistika i komparativistika: sb. nauch. st. Vy'p. VIII. Vil'nyus: Edukologiya, 2013. S. 135–143.
3. *Dzhanumov S.A.* Narodny'e posloviczy' i pogovorki v pis'max A.S. Pushkina k zhene // Vestnik MGOU. Seriya «Russkaya filologiya». 2013. № 4. S. 56–64.
4. *Kry'lov I.A.* Soch.: v 2 t. / Vstup. st., podgot. teksta i primech. N.L. Stepanova. T. 1. M.: Pravda, 1956. 475 s.

5. *Mixel'son M.I.* Russkaya my'sl' i rech': Svoe i chuzhoe: Opy't russkoj frazeologii: sb. obrazny'x slov i inoskazanij: v 2 t. M.: TERRA, 1994. T. 1. 781 s.; T. 2. 832 s.
6. Posloviczy' russkogo naroda. Sb. V. Dalya. M.: GIXL, 1957. 991 s.
7. *Pushkin A.S.* Pis'ma k zhene / Izd. podgot. Ya.L. Levkovich. L.: Nauka, 1987. 260 s.
8. *Pushkin A.S.* Poln. sobr. soch.: v 16 t. [B. m.]: Izd-vo AN SSSR, 1937–1949.
9. *Snegirev I.M.* Russkie narodny'e posloviczy' i pritchi / Izd. podgot. E.A. Kostyuxin. M.: Indrik, 1999. 624 s.
10. *Turgenev I.S.* Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t.; Soch.: v 12 t. T. 10. M.: Nauka, 1982. 607 s.

## АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Беседа с Е.Н. ЛЕВИНОЙ, директором ФГБУК  
«Государственный мемориальный и природный  
музей-заповедник И.С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”»

Conversation with E. Levina, Director of the «State Memorial  
and Natural Museum of I.S. Turgenev “Spasskoe-Lutovinovo”»

**Ред.:** Уважаемая Елена Николаевна, позвольте поблагодарить Вас за согласие дать интервью для международного издания — сборника научных статей «Русистика и компаративистика».

Спасское-Лутовиново — родовое гнездо И.С. Тургенева, национальное достояние России. Вместе с тем судьба Спасского, и особенно в XX веке, отражает глубоко драматические и трагические события, которыми жила страна. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе музейных работников и о тех подвижниках, которые хранили и развивали музей в прежние годы.

**Е.Н. Левина:** У истоков создания музея стояли известные деятели культуры А.В. Луначарский и В.Я. Брюсов. В становлении музея-усадьбы в разное время принимали участие А.М. Горький, К.А. Федин, И.А. Новиков.

Первым хранителем стал известный ученый-литературовед М.В. Португалов. 24 ноября 1918 года в Орле открылся музей И.С. Тургенева. Директором был назначен Михаил Вениаминович Португалов. Одной из основных задач музея Португалов считал заботу о сохранении усадьбы Тургенева в Спасском «как историко-литературного памятника». Во многом именно благодаря его настоятельным заботам стала возможной мемориализация тургеневской усадьбы.

16 сентября 1921 года был принят Декрет СНК «Об охране памятников природы, садов и парков». 1 ноября 1921 года Академический Центр Музейного Управления Главнауки Научно-художественных произведений Народного комиссариата по просвещению официально ответил на одно из писем М. В. Португалова:

«В музей-библиотеку имени И. С. Тургенева

На отношение Ваше от 3-го августа с. г. за № 632 Музейный отдел Главнауки НКП уведомляет, что на основании Декрета Совнаркома от 16 сентября 1921 г. — парк при родовом имении И.С. Тургенева исключительно в ведении Музейного отдела Главнауки НКП, а посему никакие порубки или другие виды хозяйственного его использования без ведома Музейного отдела не допустимы. Охрана возлагается на Орловский музей-библиотеку им. И.С. Тургенева и предлагает принять действенные меры к его охране, расставить столбы с надписями о его неприкосновенности.

Виновные в нарушении сего распоряжения будут привлекаться к ответственности».

26 октября 1922 года в «Известиях ВЦИК» опубликована официальная информация об усадьбах классиков, объявленных неприкосновенными памятниками природы и культуры. Среди них — «имение писателя Тургенева ”Спасское-Лутовиново“ Орловской губернии: там сохраняется флигель, где жил писатель, и парк». С этого момента идет отсчет истории музея-заповедника. М.В. Португалов стал автором первого путеводителя по тургеневскому музею<sup>1</sup>.

10 сентября 1930 года директором Тургеневского музея был назначен Борис Александрович Ермак. Приказом № 306 от 10 апреля 1937 года по Курскому областному отделу народного образования<sup>2</sup> на основании указания Наркомпроса усадьба И.С. Тургенева была передана в ведение Орловского литературного музея Тургенева в качестве филиала; Б.А. Ермак назначен по совместительству заведующим филиалом, на него была возложена ответственность за восстановление усадьбы.

В 1937 году на создание в Спасском крупного культурного центра из резервного фонда Совнаркома РСФСР было выделено

---

<sup>1</sup> См.: Краткий путеводитель по тургеневскому музею / Сост. М.В. Португалов. Орел: Отд. Гос. Издат., 1921; Тургениана: Статьи и библиография / М.В. Португалов. Орел: Отд. Гос. Издат., 1922; По тургеневским местам: литературные экскурсии в Тургеневский музей в Орле и Спасском-Лутовиново: Спутник экскурсанта. М., 1924.

<sup>2</sup> Мценск входил тогда в состав Курской области.

277 тысяч рублей. Всесоюзной академии архитектуры было поручено разработать научно-обоснованный план восстановления усадьбы. Архитекторами В.А. Юрьевым и С.Ф. Кулагиним был предпринят сбор и изучение воспоминаний современников, зарисовок и фотографий усадьбы, опрос местных жителей, обмер уцелевших строений и раскопка фундаментов разрушенных зданий. В предвоенные годы был частично восстановлен фамильный склеп Лутовиновых, расчищен и огорожен тургеневский парк, восстановлена плотина Большого Спасского пруда, восстановлены богадельня и флигель. В 1940 году на восстановление главного дома усадьбы И.С. Тургенева Правительством было выделено 170 тысяч рублей. В 1941 году комиссию музейного отдела НКП РСФСР по проверке восстановления Спасского возглавил известный архитектор Н.Д. Виноградов.

Все планы восстановления усадьбы были перечеркнуты войной. Б.А. Ермаку было приказано эвакуировать тургеневские вещи. 24 августа железнодорожные вагоны с музейными предметами были направлены в Пензу. Б.А. Ермак в своей записке начальнику музейного отдела Наркомпроса А.Д. Маневскому перечисляет все эвакуированные экспонаты, в том числе 3694 редких книги; указывает, что «в Спасском остались фотокопии Тургеневской выставки, сельхозинвентарь и 2 коня, научный работник, комендант, 2 сторожа, конюх и пасечник»; пишет о трудном и долгом (более 20 дней) пути в Пензу, о голоде и холоде.

25 октября 1941 года мощный танковый удар врага прорвал оборону советских войск. Немцы заняли Спасское, разместив в нем волостную управу оккупационных властей. Освобождение произошло в ходе тяжелой наступательной операции 27 декабря 1941 года, когда 1185-й стрелковый полк 356-й дивизии, следуя к Мценску, вступил в Спасское-Лутовиново и выбил оттуда немцев. При отступлении фашистские войска сожгли село Спасское, школу, богадельню, нанесли огромный ущерб усадьбе.

Вернувшись из эвакуации, работники музея застали страшную картину разорения. Церковь, фамильный склеп, каретный сарай и конюшня стояли в руинах. Пруды пересохли. Восстановление усадьбы пришлось начинать заново.

16 мая 1942 года Б.А. Ермак просил Наркомпрос «сообщить мнение <...> о восстановлении уже освобожденного от фашистов заповедника И.С. Тургенева и организации работы в нём. Ясная Поляна, несмотря на более тяжёлые повреждения теперь уже с 1 мая принимает посетителей». И далее: «Можно организовать работу Тургеневского парка как экскурсионную. Прошу сообщить Ваше мнение о переброске Тургеневского музея в заповедник и организации нормальной работы в нём» (ОГЛИМТ<sup>3</sup>. Д. 91. Л. 13).

В плане работы Тургеневского музея на 1943 год стоит «ликвидация следов пребывания фашистов в заповеднике». Генеральным планом реставрации заповедника к юбилею писателя запланирована реставрация флигеля «изгнанника», богадельни, бани, каретного сарая, склепа Лутовиновых, часовни Св. Александра Невского, восстановление школы, построенной Тургеневым, и большого дома Тургенева. Также было решено приступить к развертыванию экспозиции в отреставрированных залах флигеля. Богадельню предложено сделать экскурсионной базой (Д. 95. Л. 5–12). В связи со 125-летием со дня рождения писателя Б.А. Ермак предлагает перевезти тургеневские вещи из Пензы в Москву.

В отчете о работе за 1944 год констатируется: «<...> горы грязи, пепел пожарищ, остатки разбитых строений, множество изуродованных, поваленных столетних лип и берёз». Далее: «Работали по 12–16 часов в день. Вынесено вручную 1500 носилок мусора. Вынуто 1500 носилок чернозёма, которым заровняли многочисленные воронки и другие следы бомбёжки». Далее: «Восстановлены все цветники, существовавшие до войны в парке, и высажено свыше 5500 цветов». Далее: «Убрано 65 кубометров леса, поваленного в результате артобстрела и преграждающего проходы в парке». Далее: «Организован ремонт флигеля и бани, отремонтирована галерея, заново сделан под ней фундамент с укладкой нескольких тысяч кирпича». Наконец: «Во флигеле организована литературная выставка “Жизнь и творчество И.С. Тургенева”». Парк открыт для посещения с 16 июня 1944 года (Д. 97. Л. 3).

---

<sup>3</sup> Орловский государственный литературный музей И.С. Тургенева.

В Пензе музей И.С. Тургенева в это время готовит к юбилею материалы для тематической выставки «Тургенев и Спасское».

В акте об ущербе, нанесенном немецко-фашистскими захватчиками, его составитель Б.А. Ермак указывал, что за годы войны в Спасском сожжено 2 дома, а также уничтожены полностью: богадельня — 800 кв. м. (стоимость ущерба 71 360 руб.), каретный сарай — 1600 кв. м. (ущерб 96 000 руб.); погреб — 80 кв. м. (ущерб 7136 руб.); разрушены: флигель — 480 кв. м. (ущерб 26 760 руб.), баня — 75 кв. м. (ущерб 6690 руб.), мавзолей (ущерб 19 000 руб.), церковь (ущерб 45 000 руб.), часовня во имя Св. Ал. Невского (ущерб 6000 руб.), ограда заповедника (ущерб 16 000 руб.), парк и цветники (ущерб 6700 руб.), шлюз (ущерб 2000 руб.), сад фруктовый (уничтожено 150 деревьев, ущерб 75 000 руб.), пасека (уничтожено 20 пчелосемей, ущерб 6000 руб.). Акт датируется 11 мая 1944 года.

В августе 1944 года в Спасское были возвращены экспонаты. В 1945 году во флигеле была открыта выставка «Жизнь и творчество И.С. Тургенева».

Еще одно славное имя в истории музея — имя Леонида Николаевича Афонина. Писатель, литературовед, театральный критик, он возглавлял Государственный музей И.С. Тургенева с 1959 по 1967 год. Именно по его инициативе в связи с 150-летием со дня рождения писателя Министерство культуры РСФСР в 1968 году приняло решение о восстановлении в Спасском главного усадебного дома. Затянувшееся на долгие 8 лет строительство было завершено летом 1976 года. 26 сентября дом-музей И.С. Тургенева был открыт для посетителей. Подлинные вещи Тургенева вернулись на свои прежние места.

Но музей-заповедник в Спасском-Лутовинове по-прежнему оставался филиалом Государственного литературного музея в Орле. 28 августа 1987 года решением Совета Министров РСФСР усадьба Тургенева получила статус Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

С 1989 по 2011 год музей возглавлял Николай Ильич Левин, ныне работающий в должности Президента музея. В апре-

ле 1997 года Указом президента Российской Федерации Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» отнесен к числу особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Тургеневская усадьба, таким образом, поставлена в один ряд с признанными во всем мире памятниками и крупнейшими музейными комплексами нашей страны. За эти годы было отреставрировано большинство мемориальных объектов в усадьбе. В 2000 году завершена реставрация храма Спаса Преображения Господня, построенного дедом И.С. Тургенева в начале XIX века.

**Ред.:** Тургенев любил Спасское. Здесь он не только отдыхал — здесь ему хорошо работалось. Именно в Спасском состоялся принципиальный для Тургенева как художника прорыв — в 1855 году он написал свой первый роман «Рудин», а позже работал над романами «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Расскажите, пожалуйста, о значимых фактах этой работы писателя.

**Е.Н. Левина:** Известны тургеневские слова: «Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто “полон мыслей”!.. Мысли напрашиваются сами». Действительно, «Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», «Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви», стихотворения в прозе — это далеко не полный перечень тургеневских произведений, история создания которых связана со Спасским-Лутовиновым.

Здесь во время спасской ссылки, в 1852 году, Тургенев написал рецензию на «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова.

На черновом автографе повести «Постоялый двор», сюжет которой, как и многие сюжеты «Записок охотника», восходит к былям спасско-лутовиновской округи, осталась помета: «Начат в субботу 18-го октября. Кончен в пятницу 14-го ноября 1852 г. Спасское». В письме к П.В. Анненкову от 10 (22) января 1853 года Тургенев сообщал, что история, рассказанная в повести, «...буквально совершилась в 25-ти верстах отсюда».



В 1853 году, задолго до своих лучших романов, Тургенев написал повесть «Два приятеля», в которой также нашли отражение жизненные впечатления, полученные в Спасском.

По свидетельству П.В. Анненкова, на черновике романа «Рудин» Тургенев написал: «Рудин. Начат 5 июня 1855 г., в воскресенье, в Спасском; кончен 24 июля 1855 г., в воскресенье, там же, в 7 недель...» В романе Тургенев описал окрестности Спасского: овраг Злодеев верх, Ивановский пруд.

«Довольно точное описание Спасского», по признанию Тургенева, содержится и в первом письме «романа в письмах» — в повести «Фауст».

Летом – осенью 1858 года в Спасском был написан, пожалуй, самый известный и самый автобиографический роман Тургенева «Дворянское гнездо». В описании родового имения Лаврецкого Васильевского Тургенев соединил поэтические черты любимого Спасского и отчасти своего имения Топки в Малоархангельском уезде Орловской губернии.

Летние месяцы 1861 года в Спасском ознаменованы работой над романом «Отцы и дети», а в 1876 году здесь же была завершена работа над «Новью».

Замечательно, что, начав с поэзии в юности, Тургенев обращается к ней вновь в самом конце жизни. Стихотворения в прозе «Простота», «Фраза», «Любовь», «Ты заплакал» были написаны летом 1881 года в Спасском.

**Ред.:** Ваш коллектив ведет огромную исследовательскую работу, в том числе литературоведческую. В Музее-заповеднике регулярно проводятся научные конференции, на которые съезжаются специалисты по русской и мировой литературе из России и из-за рубежа. В начале этого года вышел в свет уже 21-й выпуск «Спасского вестника». Расскажите, пожалуйста, как осуществляется организация конференций, какими принципами определяется их тематика.

**Е.Н. Левина:** Научная деятельность музея-заповедника заключается, в первую очередь, в прикладных исследованиях — на основании изучения архивных материалов, художественного

и эпистолярного наследия, мемуарной, искусствоведческой, культурологической литературы, что связано с экспозиционной, культурно-просветительской, научно-фондовой деятельностью музея.

Главный предмет изучения, безусловно, — биография и творческое наследие И.С. Тургенева. Кроме того, ведутся научные изыскания по истории усадьбы в Спасском-Лутовинове, и в более широком аспекте — по изучению усадебных комплексов как памятников архитектуры и садово-паркового искусства, наиболее ценных памятников природы и исторических мест, относящихся к творчеству писателя; изучается культурная жизнь и быт усадеб; исследуется окружение И.С. Тургенева, его родственные, творческие связи.

В последние годы мы стараемся посвящать Всероссийские Тургеневские чтения какой-то одной центральной теме: циклу рассказов «Записки охотника», повестям или романам.

В январе 2013 года в Спасском-Лутовинове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «И.С. Тургенев-романист и русская культура», посвященная 195-летию И.С. Тургенева. Целый корпус докладов был посвящён исследованию романа «Дым». В рамках конференции состоялось заседание круглого стола на тему «Проблемы музейного экспонирования романного наследия И.С. Тургенева».

Наряду с Тургеневскими чтениями в музее организуются конференции и семинары для музейных специалистов. Рассматриваются вопросы организации научно-фондовой, экскурсионной, эколого-просветительской работы в музеях, проблемы сотрудничества музеев и образовательных учреждений, разработки интерактивных проектов, концепции новых экспозиций и выставок.

**Ред.:** Чуть больше года назад вышла замечательная книга — письма матери Тургенева Варвары Петровны к своему сыну, датируемые периодом с 1838 по 1844 год<sup>4</sup>. Введение этого эпистолярного seriously обогатило тургеневедение, книга высоко оценена

---

<sup>4</sup> «Твой друг и мать Варвара Тургенева»: Письма В.П. Тургеневой к И.С. Тургеневу (1838–1844) / Подгот. текста Е.Н. Левиной и Л.А. Павловой, вступ. ст. Е.Н. Левиной. Тула: Гриф и К, 2012. 584 с.

специалистами и филологической общественностью<sup>5</sup>. Как возникла идея этой книги и как проходила работа над ней?

**Е.Н. Левина:** Эта книга задумывалась очень давно. Еще в 1977 году известный тургеновед Н.М. Чернов сделал в своем дневнике такую запись: «Написать бы книгу о В.П. Тургеневой. О ее влиянии на сына в период формирования его литературного таланта. О бытовом, жизненном и историческом материале, наблюдениях, зарисовках, которые она постоянно сообщала Ивану в письмах, беседах, откликах, оценках, рассказах» (Архив Н.М. Чернова). Именно Н.М. Чернов первым среди современных тургеноведов по достоинству оценил этот, по его словам, «самый информативный из документальных источников житейской биографии Тургенева». В своих статьях и публикациях, в книгах «Спасско-Лутовиновская хроника» (1999) и «Тургенев в Москве» (1999), в комментариях, подготовленных к изданию «Записок охотника» в академической книжной серии «Литературные памятники» (1991), в примечаниях ко второму академическому Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева исследователь широко и плодотворно использовал материал тургеновской семейной переписки.

С 1993 по 2007 год Н.М. Чернов работал научным консультантом в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Именно по инициативе Николая Михайловича и при его самом деятельном участии была начата подготовка комментированного издания писем В.П. Тургеневой к сыну. В 2005 году в Спасском-Лутовинове была создана творческая группа под руководством доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Н.Н. Мостовской. Эта книга — результат многолетней разыскательской и комментаторской работы и этой группы, и более широкого коллектива сотрудников музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

---

<sup>5</sup> Беляева И.А. «Твой друг и мать Варвара Тургенева»: Письма В.П. Тургеневой к И.С. Тургеневу (1838–1844) / Подгот. текста Е.Н. Левиной и Л.А. Павловой, вступ. ст. Е.Н. Левиной. Тула: Гриф и К, 2012. 584 с. // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2011. Т. 73. № 2. С. 60–67.

**Ред.:** Есть ли у этой работы дальнейшие перспективы?

**Е.Н. Левина:** Кроме писем В.П. Тургеневой, в нескольких архивохранилищах<sup>6</sup> находятся большие комплексы писем к И.С. Тургеневу его брата — Н.С. Тургенева и дяди — Н.Н. Тургенева. Они в значительной степени были использованы при подготовке комментариев к письмам В.П. Тургеневой и, на наш взгляд, представляют значительный интерес для тургеноведов. Возможно, мы продолжим эту работу.

**Ред.:** Известно, что в Спасском не только вырос и часто бывал великий русский писатель, но сюда приезжали и его великие друзья и знакомцы — А.А. Фет, Л.Н. Толстой, Я.П. Полонский, Н.А. Некрасов, И.С. Аксаков, А.В. Дружинин, В.П. Боткин и другие. Как в деятельности Музея-заповедника отражаются изучение и экспонирование личных и творческих контактов Тургенева?

**Е.Н. Левина:** В Спасском бережно хранят память о знаменитых гостях тургеньевской усадьбы. В фондах музея немало материалов, связанных с именами А.А. Фета, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, семейства Аксаковых. Это фотографии и литографированные портреты, первые и прижизненные издания произведений. Конечно, особое положение занимают материалы, связанные с Я.П. Полонским. В постоянной экспозиции дома-музея И.С. Тургенева находятся два этюда работы Я.П. Полонского, не так давно музей приобрел экземпляр «Современника» за 1855 год с первой публикацией «Месяца в деревне» — из личной библиотеки Я.П. Полонского, с автографом поэта. Есть в коллекции музея редкое издание стихотворений Я.П. Полонского, выпущенное в 1912 году его дочерью Н.Я. Елачич, с дарственной надписью Натальи Яковлевны одному из ее знакомых. Кроме того, в фондах музея хранится часть семейного архива внуков Я.П. Полонского. Сборник научных статей, издаваемый музеем, назван «Спасским вестником» в память о том рукописном журнале, который вел в Спасском старший сын поэта Александр (Аля)

---

<sup>6</sup> РНБ — Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, там же ИРЛИ РАН — Институт русской литературы (Пушкинский Дом).

Полонский. В музее начата работа по подготовке комментированного издания спасского дневника Я.П. Полонского за 1881 год.

**Ред.:** Музей-заповедник живет чрезвычайно насыщенной экскурсионно-просветительской, выставочной, наконец — организационно-хозяйственной жизнью (достаточно взглянуть на музейный сайт<sup>7</sup>). Какие магистральные и частные направления работы музей-заповедник считает приоритетными? В чем заключается мотивация таких подходов?

**Е.Н. Левина:** Главные приоритеты очевидны — это сохранение и воссоздание историко-культурного и природного наследия усадебного комплекса: предметов интерьера, усадебных построек, исторического парка с мемориальными деревьями и прудами, ассоциативного культурного ландшафта и его элементов.

Первоочередными задачами обусловлено сохранение и пополнение музейного фонда документами, изобразительными материалами, связанными с жизнью и творчеством И.С. Тургенева. Это рукописи, первые и прижизненные издания произведений писателя, а также литературоведческие издания о нем, вышедшие в разное время; это фотографии, живописные и графические портреты И.С. Тургенева и лиц из его окружения; это материальные свидетельства истории Спасского-Лутовинова (мебель, предметы дворянского усадебного быта).

Кроме того, необходимо постоянно совершенствовать деятельность по публичному представлению историко-культурных ценностей и природно-исторических объектов музея-заповедника. Это и музеефикация культурных ландшафтов, и развитие выставочной деятельности, и овладение новыми информационными технологиями (как расширение присутствия музея в электронном информационном пространстве), а также новыми формами работы с посетителями.

Для создания комфортных условий пребывания посетителей в музее-заповеднике, обеспечения культурно-просветительских и туристско-экскурсионных программ музея и улучшения

---

<sup>7</sup> URL: <http://www.spasskoye-lutovinovo.ru/museum.php?id=2>.

социально-бытовых условий работников музея необходимо развивать инфраструктуру.

В 2018 году исполнится 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. 5 марта 2014 года издан Указ Президента Российской Федерации о праздновании юбилея писателя. Спасское-Лутовиново должно достойно подготовиться к этому большому юбилею. Планируется открыть новую литературную экспозицию во «флигеле изгнанника». В Спасском должен появиться культурно-туристический комплекс, включающий в себя специализированное фондохранилище и гостевой дом. Запланированы реставрация Дома-музея И.С. Тургенева и Храма Спаса Преображения, большой комплекс восстановительно-оздоровительных и ремонтно-реставрационных мероприятий в усадебном парке, работы по благоустройству и многое другое.

**Ред.:** Позвольте, Елена Николаевна, поблагодарить Вас за интервью и пожелать Вам и в Вашем лице всему коллективу Музея-заповедника неизбывных сил и неустанного творческого подъема для осуществления той многосторонней системной работы, которая ведется в Спасском ежедневно и ежечасно. Большое спасибо!

# ШКОЛА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

## СЕМИНАР МОЛОДЫХ ТУРГЕНЕВЕДОВ В СПАССКОМ-ЛУТОВИНОВЕ

**В** апреле 2014 года в Спасском-Лутовинове состоялось выездное заседание студенческой секции научного Тургеневского семинара, работающего на постоянной основе в Московском городском педагогическом университете (руководитель — профессор И.А. Беляева). В семинаре приняли участие двенадцать студентов. Ниже приводятся тезисы восьми докладов.

*Ю.Ю. Гребенщиков*

### **Мотив «гнезда» в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»**

Б.В. Томашевский в своем определении мотива указывал на его тесную связь с темой: «Тема неразложимой части произведения называется мотивом», а также подчеркивал значимость единства в системе мотивов для цельности и связанности произведения [1: с. 182, 191]. Обращение к мотивной системе романа и ее доминантам необходимо как для понимания идейно-тематического наполнения произведения, так и для выяснения сюжетно-композиционных и структурных принципов его организации.

Организирующим мотивом в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» является мотив «гнезда». Он воплощается на всех уровнях художественного целого и обнаруживает различные семантические аспекты — от номинации жилища до авторской метонимии России.

Мотив «гнезда» актуализируется в нескольких образах. В начале романа значение дома и семьи раскрывается в образе Марьи Дмитриевны Калитиной. Именно ее усадьба в городе О... наиболее часто определяется как «дом», а в эпилоге напрямую называется «гнездом». Тургенев изображает Марью Дмитриевну капризной

и претенциозной женщиной, для которой семья и дом — необходимый атрибут светской жизни: «Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе» [3: с. 8]. Однако Марья Дмитриевна неоднократно названа «хозяйкой дома», и пусть в угоду себялюбия, но она по-своему заботится о сохранении домашнего очага, печется о своем «семействе». В этом отношении образ Марьи Дмитриевны противопоставлен образу Варвары Павловны Лаврецкой. Писатель наделяет Варвару Павловну совершенно другой целевой установкой: ее «умение скоро и ловко» «свить себе гнездышко» [3: с. 50] и в Петербурге, и в Париже продиктовано единственно стремлением к сиюминутному удовольствию. Эта оппозиция образов становится основой «системы идейно-нравственных координат сюжета» [1: с. 54], в которых отчетливо проступают различия русского и европейского менталитетов.

Более широкое понимание «гнезда» как дома — родины отражено в судьбе закинутого на чужбину одинокого музыканта Лемма, которого не покидает «мысль о возвращении на родину», но который вынужден жить в «небольшом домишке» в «ненавистой ему России» [3: с. 18].

По ходу сюжетного действия семантика семьи в мотиве «гнезда» расширяется до значения рода. Это достигается автором в значительной степени за счет особого текстового ареала. Так, на протяжении глав VII–XVI Тургенев изображает ретроспективу жизни «дворянского племени» рода Лаврецких, в ряду которого показан и главный герой романа — Федор Иванович Лаврецкий. В особом свете представлен в этой связи образ Глафиры Петровны Лаврецкой, тетки героя по отцу. Глафира Петровна является неформальной главой семьи Лаврецких: она «еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки», и «все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось» [3: с. 35]. Когда Лаврецкий, в угоду своей молодой жене, отдает управление имением в руки тестя Коробьина, Глафира Петровна проклинает племянника: «Знаю, кто меня отсюда гонит, с *родового моего гнезда*. Только ты помни мое слово, племянник: *не свить же и тебе гнезда нигде*» (курсив мой. — Ю.Г.) [3: с. 48].



Другой, еще более удаленный от пространственной характеристики дома аспект мотива «гнезда» вскрывается в связи с образом Лизы Калитиной. Он связан с нравственными характеристиками личности героини. В главе XXXV романа Тургеневым изображена предыстория жизни Лизы, в которой автор сосредоточивает внимание на воспитании девушки. В этой связи писатель обращается к двум внесюжетным персонажам, в образах которых противопоставляет русскую и европейскую ментальность. Автор изображает два противоположных влияния на Лизу. С одной стороны, показана гувернантка «девица Морó из Парижа», в которой «гнездилося что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами: “Tout ça c’est des bêtises” [Всё это глупости» (*франц.*)]», на Лизу «она имела мало влияния» [3: с. 107]. С другой стороны, это няня Агафья Васильевна, с непростой судьбой русской женщины, влияние которой легло в основу личности Лизы. Агафья привила Лизе чувство долга, научила ее молиться. Лиза слушала ее «высокие и святые слова», «и образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу» [3: с. 111]. Таким образом, связь воспитания с семьей, домом выводит на прямое соотношение понятий веры и долга с семантикой мотива «гнездо».

В конечном счете совокупность значений мотива «гнездо» выносится Тургеневым в название романа — как авторская методика России.

### *Литература*

1. Разумова Н.Е. «Дворянское гнездо» и парижское «гнездышко» // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 8 (98). С. 53–56.
2. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие / Вступ. ст. Н.Д. Тамарченко; коммент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 1999. 334 с.
3. Тургенев И.С. Дворянское гнездо // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / Под общ. ред. Н.В. Измайлова и Е.И. Кийко. 2-е изд., испр. и доп. Т. 6. М.: Наука, 1980. С. 7–158.

### **Мотив счастья в романе И.С. Тургенева «Накануне»**

В этико-эстетическом поле произведений Тургенева особое место занимает вопрос о счастье. На художественном уровне он реализуется прежде всего в системе мотивов, среди которых мотив счастья является одним из самых значительных.

Счастье, как полагал Тургенев, — основа большинства человеческих стремлений. В его произведениях это выражается прежде всего в любви как ключевом событии в жизни героев. Из всех сочинений Тургенева роман «Накануне» едва ли не самый интересный и показательный в этой связи, так как мотив счастья пронизывает весь его художественный строй. Однако в научной литературе, помимо исследований общего характера, где анализируется смежная проблематика [2–4], нет отдельных работ, посвященных этому аспекту романа. Между тем «Накануне» содержит многочисленные размышления о соотносительности счастья личного, эгоистического и счастья «для других», имеющего «центробежную» природу. Только само слово «счастье» использовано в тексте 47 раз, не говоря уже об иных маркерах мотива.

Мотив счастья обнаруживает себя уже в экспозиции, в споре молодого скульптора Павла Яковлевича Шубина с приятелем, ученым Андреем Петровичем Берсеновым. Герои решают, соединяет или разделяет счастье людей. К «соединяющим словам» Берсенов относит искусство, родину, свободу, науку, но соглашается с Шубиным в том, что любовь, которая неразрывно связана со счастьем, может быть соединяющим началом, правда это «не любовь-наслаждение», а «любовь-жертва», когда высшим смыслом, то есть «назначением жизни», оказывается способность быть «номером вторым» [5: с. 167]. Таким образом, заявленный в экспозиции вопрос о счастье во многом определяет проблемный уровень произведения.

Одной из романских метафор счастья как наслаждающегося счастьем человека в «Накануне» является «слепая муха», которая живет и не знает, что ее безмятежности скоро придет конец, когда она попадет в лапы паука. Тургеневская героиня обычно спасала такую ослепленную неведением муху. Сама Елена ощущает себя

птицей в клетке. Метафора «птицы в клетке» показывает тягу героини к полноте бытия, которое может быть достигнуто соединением личной радости и высокого идеала.

Стремление к счастью как поиск чего-то совершенного, истинного, в чем могут проявить себя все силы человеческой природы, характеризует центральных персонажей романа. Так, Елена Стахова «с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили...» [5: с. 182]. «Деятельное добро» в данном контексте — метонимия счастья в том его варианте, который подразумевает «счастье для ближнего». Аналогичные душевные движения отличали и ее избранника Инсарова. Нельзя оставить без внимания сравнение счастья с «заговорённым кладом», который в руки не дается. Но достается он только тому, кто хочет служить добру и помогать ближним, — это Инсаров, чье имя Дмитрий в переводе с древнегреческого обозначает «относящийся к земле», а клады как раз зарывают именно там.

Однако Тургенев ставит Елену перед вопросом, возможно ли соединить в самой себе две противоречащие друг другу вещи: любовь личную и всеобщую, деятельную по отношению к миру и к людям. Елена не может противиться личному счастью, отсюда и возникают ее размышления о том, что «человеку нужно несчастье, или бедность, или болезнь» [5: с. 224]. Счастье как несчастье — оксюморон, призванный показать противоречивость и парадоксальность счастья в его «центробежном» и «центростремительном» значениях.

Авторская позиция в вопросе счастья/несчастья призвана объяснить трагедию Елены и Инсарова: «Елена не знала, что счастье каждого человека основано на несчастье другого, что даже его выгода и удобство требуют, как статуя — пьедестала, неудобства и неудобства других» [5: с. 290]. Основные события романа действительно показаны в данном ключе, однако едва ли Тургенев писал роман, чтобы в очередной раз судьбой своих героев подтвердить закон трагического мироустройства. Все же счастье, которое обрели герои, должно было, видимо, сообщить читателю нечто сокровенное о своей вневременной красоте и ценности.

В этой связи стоит обратить особое внимание на главы, посвященные венецианской теме. События там не случайно происходят

в «светлый апрельский день» [5: с. 282], а сам город, несмотря на танатологические интонации Венецианского текста, показан в «прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты» [5: с. 285]. То есть Венеция — молода, красива и освещена вечной прелестью умирания, подобно тургеневским героям. Это топос, предлагающий переход к всеобщему; в нем в широком смысле соединены индивидуальные переживания счастья, закрепленные в искусстве (к тому же этот город близок к родине Инсарова).

Итак, мотив счастья организует художественное пространство романа и получает наиболее яркое свое воплощение в Венецианском тексте «Накануне», где художественно-эстетически примиряются все грани счастья. В плане же романной событийности вопрос о счастье личном и всеобщем трагически неразрешим.

### *Литература*

1. Константинова С.Л. «Итальянский текст» русской литературы XIX–XX вв. Псков: ППГУ, 2005. 160 с.
2. Курляндская Г.Б. Проблема трагизма в романе И.С. Тургенева «Накануне» // Спасский вестник: мат-лы Всерос. Тургеневской конф. к 190-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Вып. 16. Тула, 2009. С. 14–22.
3. Маркович В.М. Человек в романах Тургенева. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. 151 с.
4. Недзвецкий В.А. И.С. Тургенев: логика творчества и менталитет героя: Курс лекций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 232 с.
5. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / Под общ. ред. Н.В. Измайлова и Е.И. Кийко. 2-е изд., испр. и доп. Т. 6. М.: Наука, 1981. 497 с.

*А.С. Горбунова*

### **Рассказ И.С. Тургенева «Часы» в свете поэтики заглавия**

Заглавие является одной из значимых составляющих поэтики художественного произведения. Среди научных работ, посвященных проблеме поэтики заглавия, особое место занимает монография С.Д. Кржижановского [1]. В истории литературы и культуры

типы заглавия и их роль менялась. В русской литературе XIX века заглавие неизменно несет большую смысловую нагрузку.

Рассказ И.С. Тургенева «Часы» (1876) обычно включается учеными в цикл так называемых «таинственных повестей», относящихся к позднему периоду творчества писателя и представляющих собой обособленное, самобытное явление. В данной группе повестей и рассказов мотив загадочного становится центральным. В рассказе «Часы» в полной мере обнаруживается образная природа указанного цикла: это сновидения, призраки, таинственные события, образы-символы. Тургенев никогда не отвечает на вопрос, где реальное, а где ирреальное, эти области являются у писателя смежными. Неведомое, тайна в жизни человека всегда волновали Тургенева. Однако именно в поздних произведениях писатель позволил себе сосредоточиться на этом, да и объяснение загадочного становится в них иным.

Очевидна спаянность заглавия рассказа «Часы» с сюжетом и героями, что определяет символический подтекст произведения. В заглавие вынесено слово, обозначающее важную предметную деталь, и в то же самое время на его основе формируется сквозной символический мотив.

Действие рассказа отнесено к 1801 году. Юноше дарят часы, как оказалось — не новые. С этим подарком оказываются связаны все последующие события. Серебряные часы луковицей, с розаном на циферблате и бронзовой цепочкой появились у главного героя, Алексея, в день его именин: это подарок крестного Настасея Настасеича, взяточника и дурного человека. Часы в такой день — вполне закономерный подарок человеку, повзрослевшему на год. Однако друг Алексея, Давыд, скептически отнесся к подарку от такого сомнительного господина, как Настасей Настасеич, и Алексей отдал часы первому встречному мальчишке. Но спустя некоторое время они вновь возвратились к хозяину. Своеобразная «триада» Давыд — часы — Алексей проходит через весь рассказ.

Следует обратить внимание на образную символику. Часы — это не только предмет, но и символ времени. 1801 год — рубеж веков, один из переломных моментов истории Российской империи, когда на трон восходит Александр I. В этой связи часы можно расценить

как знак уходящего столетия. И если принципиальный и решительный Давыд пытается избавиться от часов, как от того, что уже отжило свой век, то Алексея все время тянет к часам, он не готов расстаться с ними, а значит, и с прошлым. Именно от Давыда исходит идея зарыть часы под старой яблоней. Не случайно то, что произошло это весной, когда старое уступает место новому.

Таинственное появление и исчезновение часов определяет сюжетно-мотивную основу рассказа. Важными являются эпизоды с налетом таинственности, загадочные по своей атмосфере, когда под покровом ночи Алексей крадется к спящей тетке и похищает часы, когда Давыд и Алексей зарывают часы под старой яблоней. Важным событием является кража часов из-под яблони, что ведет за собой вспышку гнева Давыда: «Никак мы от этих часов отбояриться не можем. Заколдованные они, право. И с чего я вдруг этак озлился?» [2: с. 88]. Ближе к концу рассказа загадочная природа часов подтверждается Алексеем в части XIX рассказа. «Поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то таинственная сила» [2: с. 90].

Сюжетная развязка наступает, когда Давыд, убегая от разгневанного Порфирия Петровича, с радостным криком бросает часы в воду, а затем бросается вслед за ними сам. Если рассматривать часы как символ ушедшего времени, можно предположить, что этот эпизод подтверждает то, как непросто избавиться от старого. Как зерно, прежде чем взойти, должно умереть в земле, так и Давыд, избавившись от часов, едва не погиб. Но как только из жизни Давыда бесследно исчезли часы, он будто родился заново. На следующий день приехал его отец из ссылки, и они все вместе, с Раисой и ее сестрой, уехали из города.

Время неосознано, но часы появляются у молодых людей как его материальное воплощение. Знаково, что их дарят Алексею в пятнадцать лет: возраст, когда человек уже не ребенок, но еще и не взрослый. И часы напоминают своим присутствием, что рано или поздно придется выбирать жизненный путь. Когда часы исчезают, герои как бы перестают ощущать присутствие материализовавшегося в предмете времени. Но сколько бы раз ни исчеза-

ли часы, они возвращаются вновь и вновь, ведь люди не могут и не должны жить вне времени.

В конце рассказа Алексей говорит, что купил однажды часы у жида-разносчика, поразительно похожие на те, которые ему подарил крестный. Остается нерешенным вопрос, те это часы, которые создали столько трудностей во времена юности героя, или просто похожие.

Каждое новое появление часов обозначается в тексте рассказа композиционно: в произведении несколько небольших частей, выделяемых римскими цифрами. Каждая такая структурная единица заключает в себе какое-то событие. Последняя часть рассказа — XXIV, что также символично, поскольку в сутках 24 часа.

### *Литература*

1. *Кржижановский С.Д.* Собр. соч.: в 6 т. / Сост., предисл. и коммент. В. Перельмутера. Т. 4. СПб.: Симпозиум; Б.С.Г. – Пресс, 2006. 848 с.
2. *Тургенев И.С.* Часы // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Т. 9. М.: Наука, 1978. 575 с.

*И.В. Саблина*

### **Живопись, фотография, театр как виды экфрасиса в повести И.С. Тургенева «Клара Милич (После смерти)»**

В наши дни «экфрасис» — один из самых интересных и неоднозначных терминов, хотя появился он еще в античности, когда обозначал особые упражнения в риторике. Сейчас же он большей частью понимается как литературное описание «визуальных произведений искусства». Именно этот смысл термина мы и будем иметь в виду в нашей работе, цель которой — рассмотреть обращение И.С. Тургенева в повести «Клара Милич» (1883) к описанию живописного и фотографического портретов, а также к интерпретации визуальной стороны сценического образа.

В «Кларе Милич» тема женского портрета вводится на первых страницах легкими штрихами и получает мощное звучание к концу повести. Портрет Клары в повести нарисован в манере,

отличающейся от свойственной Тургеневу в портретных описаниях статики. Это портрет, возникающий как бы частями, отдельными штрихами, что, по-видимому, соответствует пробуждению интереса Аратова, непроизвольно представляющего себе отдельные черты Клары. Героиня везде называется не своим настоящим именем, а сценическим псевдонимом. И на фотографии, описание которой является бесспорным экфрасисом, Клара представлена в одной из ее ролей.

Аратов лелеял в душе образ матери, которая вовсе не была похожа на Клару. Портрет матери нарисован с помощью сравнения с портретом самого героя, похожего на мать. Оказывается, что портрет как описание внешности Клары, увиденной глазами Аратова, и экфрасис как описание портрета его матери не только контрастны, но и сходны. Именно безыскусность, искренность является смысловой доминантой в психологической характеристике обеих женщин, чьи портреты, казалось бы, столь разительно отличаются внешними чертами.

В повести значим мотив оптических эффектов. Он связан с мистическими мотивами повести, в том числе потому, что возможность получения фотографического портрета человека представлялась на заре развития фотографии как технического изобретения и как вида искусства почти иррациональной, фантастической. С женским портретом в повести связана мысль не только о традиционных ценностях (любовь, искусство, красота), как в других произведениях писателя, но и о научно-технических достижениях, которые оказываются столь же бессильны в борьбе со смертью, как и ценности традиционные. Портрет, созданный с помощью техники, не может конкурировать с мысленным представлением о человеке. Никакие технические приспособления не могут оживить облик человека.



*Д.С. Медведева*

**Ситуация «первой любви»  
в одноименной повести И.С. Тургенева  
и в рассказе Я.П. Полонского «Груня»**

Дружба И.С. Тургенева с Я.П. Полонским длилась более 40 лет. Осенью 1883 года, вскоре после смерти Тургенева, Полонский начал писать воспоминания. Он был убежден в том, что, «кто знал хорошо Тургенева, тот, конечно, поймет, что в нем не было ни на каплю литературной зависти <...>. Иван Сергеевич постоянно ставил себя ниже Пушкина, ниже Гоголя и даже ниже Лермонтова» [3: с. 370].

В творчестве писателей сближает любовная тема. У нее много разных нюансов, но нам интересна ситуация «первой любви», которая является событийной основой в повести Тургенева «Первая любовь» и рассказе Полонского «Груня», тем более что эти тексты хронологически близки друг к другу.

Рассказ Полонского «Груня» (1855) входит в его трилогию (наряду с произведениями «Статуя Весны», «Дом в деревне»), в которых с особым психологизмом воссоздается мир детства и отрочества. Через трилогию проходит образ мальчика Илюши, показаны его становление и взросление. «Груне» предшествует рассказ «Статуя Весны», где главному герою всего шесть лет, а в рассматриваемом нами произведении ему уже четырнадцать. На наш взгляд, этот текст является ключевым в трилогии, как и возраст героя, потому что именно в «Груне» к нему приходит первое серьезное чувство, которое можно определить как любовное. По своему характеру это скорее первое чувство влюбленности подростка.

Повесть Тургенева «Первая любовь» была написана спустя пять лет после публикации рассказа Полонского, который совершенно справедливо рассматривается исследователями [4] в качестве ее предтечи. Можно также говорить о типологическом родстве ситуаций в этих произведениях, несмотря на автобиографизм, который сказался особенно в тургеневской повести: герою «Первой любви» Владимиру было 16 лет, когда тот впервые ис-

пытал сердечное чувство. У героев Тургенева и Полонского много общего, несмотря на то, что разница в возрасте составляет два года. Произведения сближают мотивы детства, юношества и первой любви.

Ситуацию «первой любви» надо понимать как определенные условия, оказывающие влияние на дальнейшие события в жизни человека. Первая любовь потому и случилась, что для нее были соответствующие время и пространство — молодость, летняя пора, уединенность усадебной жизни, благосклонная природа. Илюша у Полонского моложе, и для него влюбленность в Груню была внезапной, неожиданной. Первая любовь застала героя врасплох, он и не пытался ей сопротивляться, потому что был к чувству не готов. В «Первой любви» Тургенева рассказчик ожидал от своей любви к Зинаиде нежных и трепетных эмоций — так оно и случилось, хотя и без взаимности со стороны героини. Любовь в этой повести носит отчасти разрушающий характер — приносит не столько радость, сколько душевную боль.

В тургеневской повести любовь предстает в том числе и как «предполагающая рабскую зависимость страсть» [1: с. 486], которая связывает отца Вольдемара и Зинаиду, что осложняет ситуацию «первой любви» у Тургенева. Благодаря этой сюжетной линии героиня повести оказывается психологически глубже, чем Груня Полонского. Однако обе они для молодых героев представляются высшей мечтой. В «Груне» Полонский показал всю нежность первого чувства, старался приоткрыть для читателей только ее светлую сторону. Чистота любви молодого человека подчеркивается и в «Первой любви» Тургенева, причем даже несмотря на драматическое «соперничество» отца и сына.

В «Первой любви», как и в «Груне», герою снятся сны. Но если Илюшины сны — о счастливом будущем, то Владимир видит «странный и страшный сон» [2: Т. V, с. 259], воспроизводящий сцену ссоры отца и Зинаиды. У Тургенева мотив сна отражает, с одной стороны, дневную действительность, а с другой — передает душевные переживания героя и носит пророческий характер, предвещая скорую смерть отца и Зинаиды.

В «Первой любви» Тургенева, в отличие от «Груни» Полонского, чувство не просто воссоздается в нюансах ощущений и эмоций, а исследуется его философская природа. Полонский показал прелесть первой любви глазами еще совсем юного мальчика, рассказав о ней с волнением перед неизведанным. Тургеневский герой — вполне взрослый молодой человек, который совсем по-другому проживает вновь, в воспоминании, свое первое чувство. Любовь у Тургенева, спустя годы, осмысливается трагически, показывается неизбежность зависимости одной из сторон и непредсказуемость чувства. У Полонского представлен иной исход сюжета: первая любовь ни для кого не заканчивается катастрофой, но остается чувством загадочным и радостным. Тургенев воссоздает первую любовь во всей полноте и красоте, показывает разные стороны любовных переживаний, уделяя внимание и открытию этого чувства героем, и разочарованию, и радости; писатель анализирует влияние чувства первой любви на дальнейшую жизнь героя. У Полонского же первая любовь не омрачается серьезными переживаниями, тревожными событиями вокруг; любовь показана как нечто неизведанное и таинственно-радостное, что останется важнейшим моментом в его жизни.

### *Литература*

1. *Беляева И.А.* И.С. Тургенев // Русские писатели. XIX век: Биографический словарь / Сост. С.А. Джанумов. М.: Просвещение, 2007. С. 476–492.
2. *Полонский Я.П.* Полн. собр. соч.: в 10 т. СПб.: Изд-во А.Ф. Маркса, 1885–1886.
3. И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1998. 560 с.
4. *Фридлянд В.Г.* Поэт сердечной и гражданской тревоги // Полонский Я.П. Лирика. Проза. М.: Правда, 1984. С. 5–26.

**И.С. Тургенев и Е. Тур:**  
**к вопросу о творческих связях**

О творческих связях между И.С. Тургеневым и Е. Тур писали такие исследователи, как А.И. Батюто, А.И. Белецкий, Н.Н. Мостовская, Л.Н. Назарова, О.В. Смирнова, Н.Ф. Буданова и др.

Тургенев по праву считается «наставником» молодых писательниц, особенно он интересовался творческой жизнью Е.В. Салиас-де-Турнемир, урожденной Сухово-Кобылиной, взявшей псевдоним Евгения Тур, которая явно была увлечена творческой личностью писателя. Их общение относится к 1850-м годам. Е. Тур была известна как автор статей в защиту прав женщин.

Когда ее роман «Племянница» увидел свет, Тургенев написал на него рецензию. Он изложил свой взгляд на развитие русского романа, где, по его мнению, возможны произведения только жоржсандовского и диккенсовского типов, т. е. романы с социальной проблематикой и социальными типами. Писатель, оценивая творчество Е. Тур, видит эстетические просчеты, поэтому отмечает, что «в женских талантах <...> есть что-то неправильное <...> бегущее прямо от сердца» [5: Т. XI. с. 135]. Возможно, он видит в таком подходе к писательству искренность женской творческой мысли, хотя и понимает, что талант Е. Тур не превосходит. Отражение романа «Племянница» проявилось в повести «Несчастливая» [2: с. 154–156]. Тургенев отмечал, что в его произведении встречаются черты романа Е. Тур.

Для Тургенева личность Е. Тур стала прототипом сатирических женских персонажей в романе «Дым», в частности эмансипированной Матрены Суханчиковой. Стоит отметить созвучие фамилий прототипа — Сухово-Кобылиной и героини романа. Н.Ф. Буданова отмечает, что Тургенев использует смену политических взглядов писательницы в 1870-х годах для создания образа Хавроньи Прыщовой в романе «Новь» [3: с. 154–159]. Фамилия героини несет негативную коннотацию, тем самым указывая на отношение автора «Нови» к образу.

Е. Тур комментировала творчество Тургенева, в частности, в статье «Несколько слов по поводу статьи “Русской женщины”...», обращенной к роману «Накануне», вокруг которого развилась бурная полемика. Это ответ на отзыв Н.П. Грот, названный «Елена Николаевна Стахова» и подписанный псевдонимом «Русская женщина». Грот поддерживала В.И. Аскоченского, по мнению которого Елена Стахова подобна «самке, увлекаемой минутой»; в романе обнаружено влияние Запада и вынесен вердикт: «Жорж Санды не к лицу нам <...> да избавит нас святое провидение <...> от тургеневских Елен» [1: с. 365–371].

Не разделяя этой позиции, Е. Тур оправдывала поведение героини тем, что Елена понимала: Отечество и свобода для Инсарова важнее всего, и «в этом сознании уже заключается отречение от себя» [4: с. 665–667]. Сравнивая жизнь Елены с подвигом жен декабристов, Е. Тур проводила также параллель между образом Елены и женой Гарибальди, поскольку та всегда следовала за мужем. Тургеневу был известен подвиг Аниты Гарибальди, так как во второй половине 1850-х годов он имел возможность прочесть мемуары народного героя Италии, переведенные к тому времени на несколько языков. Тем самым предположения о том, что жена Гарибальди в какой-то степени стала прототипом Елены Стаховой, вполне оправданы.

Таким образом, творческие связи между Тургеневым и Е. Тур были многогранны. Их активная переписка всегда строилась на обсуждении литературы, комментариях по поводу новых работ друг друга. Е. Тур выделяла необычные аспекты в осмысление образов героев, созданных Тургеневым. В свою очередь Тургенев увидел талант и новый, свежий женский взгляд Сухово-Кобылиной на литературу, выраженный, по его мнению, не очень умело (в силу недостатка таланта), но тем не менее интересный и заслуживающий внимания.

### *Литература*

1. Аскоченский В.И. Журнальные заметки // Домашняя беседа. 1869. Вып. 29. 16 июля. С. 365–371.
2. Белецкий А. Тургенев и русские писательницы 30–60-х годов // Творческий путь Тургенева: сб. ст. / Под ред. Н.Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923. С. 154–156.

3. Буданова Н.Ф. О прототипе Хавроньи Прыщовой в романе «Новь» // Тургеневский сборник: Материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. Вып. 3. М.; Л.: Наука, 1967. С. 153–159.

4. Тур Е. Несколько слов по поводу статьи «Русской женщины» // Московские ведомости. 1860. № 85. 17 апреля.

5. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968.

*Е.В. Степанова*

**Базаров и Ставрогин**  
**(К вопросу об изображении нигилиста**  
**в творчестве И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского)**

И.С. Тургенев — первый писатель, который затронул в своем творчестве тему нигилизма и раскрыл одну из ведущих идеологий середины и второй половины XIX века. Как и Тургенев, Достоевский признавал полезность нигилизма как отрицания устаревших форм жизни, мешающих общественному прогрессу. Так, в 1871–1872 годах издается шестой роман Достоевского «Бесы», в котором он изображает «великого грешника» Николая Всеволодовича Ставрогина. Автор на первый план выдвигал трагический элемент в характере своего героя. Особенностью изображения Николая Ставрогина является то, что он наделен Достоевским чрезмерными и преувеличенными отрицательными чертами характера и поведения, свойственными Евгению Базарову. Тургенев изображает Базарова лишь нигилистически настроенным по отношению к обществу, а Достоевский, кроме этого, показал равнодушно-атеистическое мировоззрение Ставрогина, которым, по убеждению писателя, обусловлены все мысли, чувства и дела героя.

Каким бы нигилистом ни был Базаров, он именно тот человек, который необходим обществу как нарушитель его спокойствия. Что касается Ставрогина, то он скорее принадлежит к категории русских интеллигентных людей, отделившихся от народа. Он ни во что не верует, ни за что не борется. Именно утрата спокойствия приводит Ставрогина к нравственному распаду личности, к духовному и физическому самоубийству. Очевидно, что изобра-

жение смерти Ставрогина задумано на контрасте с изображением смерти Базарова. У Тургенева герой гибнет по велению стихийных законов природы, но он до последнего вздоха принимает жизнь как высшее благо. Ставрогин же гибнет иначе. В отличие от Тургенева, который создал поэтическое изображение смерти сильного и благородного человека, Достоевский уделяет большое внимание всем деталям, подробностям равнодушного приготовления к смерти, именно они свидетельствуют об опустошенности души главного героя.

Таким образом, для Достоевского смерть Базарова в романе «Отцы и дети» не является завершением базаровского типа как живого явления русской общественной жизни. Впоследствии у Достоевского появится возможность еще раз вернуться к типу Базарова в романе «Братья Карамазовы», и писатель еще раз художественно переосмыслит этот тип.

*А.А. Евдокимова*

### **Художественное наследие О. де Бальзака в творческом восприятии И.С. Тургенева: история вопроса и перспективы изучения**

Художественное творчество Тургенева всегда было открыто влиянию европейской культуры, чему немало способствовало пребывание писателя за границей. Тургенев подолгу жил во Франции в эпоху расцвета французской национальной литературы, когда творили такие известные авторы, как В. Гюго, А. Дюма, О. де Бальзак, Стендаль, Ж. Санд, Г. Флобер, Э. Золя, А. Доде, Э. Гонкур, П. Мериме, Ги де Мопассан и др. Нельзя рассматривать творческие интересы Тургенева вне анализа этих отношений, без учета общих процессов в литературе и в обществе того времени в России и в Западной Европе.

История изучения литературных связей русского писателя с французскими литераторами значительна [3; 6–8]. Однако творческая параллель «Тургенев – Бальзак» до сих пор, за редким исключением [6; 8], находится на периферии исследовательского внимания.

Причиной тому во многом был сам русский писатель, который обходил эту тему стороной, о чем свидетельствуют его личная переписка и воспоминания современников. Между тем романский опыт Бальзака едва ли не привлекал, пусть и критического, внимания Тургенева, который испытывал неподдельный интерес к крупной эпической форме с самого начала своего творческого пути.

До 1830-х годов роман находился во Франции в процессе своего становления и укрепления в качестве доминирующего жанра. Б.А. Грифцов констатирует: «До Бальзака роман по отношению к поэме занимал не более почетное место, чем кино по отношению к “настоящему” театру в начале XX века. Оноре де Бальзак впервые разрушил это соотношение...» [4: с. 127]. Бальзак совершил своеобразный «литературный переворот», выдвинув роман на первое и почетное место. Сам он считал себя изобразителем, эпиком, который запечатлевает в эпопее «Человеческая комедия» свою эпоху в разных аспектах с разных сторон. А. Доде писал о французской литературе: «У нас <...> не сохранилось ни одной пустынной дороги, ни одной тропинки, по которой не прошли бы толпы людей. А уж если говорить о романе, то тень Бальзака встает в конце каждой нашей аллеи» [2: с. 295].

Нельзя не обратить внимания на общность круга Бальзака и Тургенева. Бальзак был близко знаком со многими писателями и критиками: Стендалем, Т. Готье, Ж. Санд, Ш. Сент-Бёвом, А. Дюма-отцом, П. Мериме и др., с которыми общался и Тургенев. Трудно предположить, что оба писателя при этом не были знакомы с творчеством друг друга. Тургенев, всегда внимательно относившийся к художественным открытиям европейских писателей, едва ли мог пройти стороной и полемически не откликнуться на сочинения Бальзака. Известно, что в библиотеке Тургенева сохранились издания «Дома Нусингенов», «Шагреновой кожи» с рядом помет на полях, а повесть «Холостяки» вошла в читательский конволют писателя [3: с. 120]. В любом случае, книги Бальзака входили в круг чтения Тургенева.

В России французский писатель пользовался популярностью. Многочисленные отзывы — письма, статьи, рецензии, посвященные сочинениям Бальзака, можно обнаружить в разных оте-



чественных журналах, в мемуаристике, о чем подробно пишет Э. Фаге [10: с. 368–417]. Что касается отзывов Тургенева о Бальзаке, то их очень мало, и чаще они негативны. В 30-томном собрании сочинений и писем писателя упоминание о Бальзаке встречается лишь семь раз. Приведем некоторые примеры.

В письме к С.Т. Аксакову от 27 декабря 1856 (8 января 1857) года Тургенев рассказывает о своих впечатлениях от погружения в литературную жизнь Парижа. Здесь он выступает за развитие новой, передовой литературы, хотя и находит ее «безжизненно суетливой», «вычурной», «бессильной», где «отсутствует всякая вера, всякое убеждение» и где верховодит «крайнее непонимание всего не французского» [9: Т. III, с. 67–69]. На этом фоне Тургенев сетует, что Бальзак «воздвигается идиолом, и новая школа реалистов ползает в прахе перед ним, рабски благоговя перед Случайностью, которую величают Действительностью и Правдой» [9: Т. III, с. 68]. То есть русский писатель едва ли не обвиняет Бальзака как представителя старой школы в стагнации современной литературы и считает, что от него сейчас, «как от козла, ни шерсти, ни молока» [9: Т. III, с. 67].

В письмах к Э. Золя от 1 (13) января и 14 (26) ноября 1877 года он упоминает о прочтении опубликованной самим Золя литературной характеристики Бальзака, выражая некоторое удивление большим объемом статьи: «Против обыкновения ваша статья о Бальзаке содержит 40 страниц; в вашей корреспонденции о духовенстве, которой Флобер положительно восхищен, 33 страницы» [9: Т. XII, кн. 2, с. 429]. В комментариях к этому письму сообщается: «Обе статьи превышали обычный размер корреспонденций Золя» [9: Т. XII, кн. 2, с. 524].

Осенью 1882 года Тургенев пишет П.И. Вейнбергу, который готовился издавать ежемесячный журнал «Изящная литература», где должны были печататься переводы лучших произведений иностранных авторов. Тургенев открыто заявляет: «Во всяком случае, я бы скорее взялся перевести несколько страниц из Монтеня или Рабле, но уж никак не Бальзака, которого я никогда не мог прочесть более десяти страниц сряду, до того он мне противен и чужд» [9: Т. XIII, с. 76].

В творчестве Тургенева содержится немало эпизодов, которые можно было бы считать своего рода ответными репликами Бальзаку. К примеру, пьеса Тургенева «Месяц в деревне» (1850) во многом опирается на сюжетную схему и систему образов «Мачехи» («La Marâtre», 1848) Бальзака, по мнению М.Г. Ладарии [7: с. 67–82], а мы, в свою очередь, полагаем, что в «Дворянском гнезде» (1858) Тургенева содержится немало параллелей с романом Бальзака «Лилия долины» («Le Lys dans la vallée», 1836), который вошел в «Человеческую комедию». В последнем случае интерес Тургенева, думается, был сосредоточен и на сюжетных ситуациях (верующая героиня стоит перед выбором между долгом и запретным чувством), и на определенном типе героев (жертвенная героиня), и даже на отдельных образных и мотивных аспектах (метафора «лилия долины») и др.

### *Литература*

1. *Балыкова Л.А.* Тургенев-читатель. По страницам мемориальной библиотеки (В помощь учителю). Орел: ОРЛИК, 2005. 208 с.
2. *Доде А.* Тургенев // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 2. М.: Худ. литература, 1983. С. 292–300.
3. *Генералова Н.П.* И.С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории русско-европейских литературных и общественных отношений. СПб.: РХГИ, 2003. 584 с.
4. *Грифцов Б.А.* Теория романа. М.: Совпадение, 2012. 234 с.
5. *Гроссман Л.П.* Бальзак в России // Литературное наследство: журнально-газетное объединение. 1937. № 31–32. С. 290–335.
6. *Гроссман Л.П.* Театр Тургенева. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1924. 176 с.
7. *Ладария М.Г.* Тургенев и классики французской литературы. Сухуми: Алашара, 1970. 156 с.
8. *Пумпянский Л.В.* Тургенев и Флобер // Классическая традиция: собр. тр. по русской литературе. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 489–506.
9. *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. Письма: в 13 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968.
10. *Фаге Э.* Деятнадцатый век. Литературные этюды: Шатобриан – Ламартин – Альфред де Виньи – Виктор Гюго – А. де Мюссе – Теофиль Готье – П. Мериме – Жорж Занд – Бальзак / Ред. П. Кончаловского. М.: Тов-во типографии А.И. Мамонтова, 1901. 456 с.

## РЕЦЕНЗИИ

*И.А. Беляева*

Московский городской педагогический университет (Россия)

### ПО СЛЕДАМ ЮБИЛЕЯ И.А. ГОНЧАРОВА.

**РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: «Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И.А. Гончарова // Bibliotheca Slavica Savariensis. Т. XIII (Szombathely, 2013. 532 с.)»**

**В** начале XXI века культурное сообщество вошло в эпоху 200-летних юбилеев тех, кого принято называть «великими писателями земли Русской». Состоялись торжества в честь А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Н.В. Гоголя, А.И. Герцена, И.А. Гончарова. Связанные с этими торжествами мероприятия культурного и научного плана, без сомнения, оказались важны и насущно необходимы, поскольку дали объективный повод определить степень приближения современного читателя к вершинам русской художественной мысли. В целом юбилейная дата как катализатор культурной памяти и импульс к дальнейшему приобщению и постижению русской классики — чрезвычайно актуальное и душеполезное событие.

200-летие со дня рождения И.А. Гончарова отмечалось в июне 2012 года. В России прошли крупные торжества на родине писателя, состоялись научные конференции в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске. В Европе о Гончарове вспомнили ученые далекого венгерского города Самботхей, где 14 сентября 2012 года прошла международная научная конференция «Романы Гончарова в литературе XIX–XX вв.», которая очно и заочно объединила специалистов по русской литературе не только из разных научных центров Венгрии, но и из России, Германии, Сербии, Словакии, Франции, Хорватии. Итогом конференции стал сборник научных статей «Гончаров: живая перспектива прозы», который увидел свет в рамках периодического издания «Bibliotheca Slavica Savariensis». Значение этого объемного труда сложно переоценить, поскольку он, несомненно, способствует популяризации творчества Гончарова как на Западе,

так и в России, хотя мы убеждены, что в нашей стране эта книга станет сразу же библиографической редкостью. Нельзя не отметить уникальность этого издания и самой венгерской конференции, посвященной русскому писателю. К сожалению, внимание к творчеству Гончарова со стороны западной славистики гораздо скромнее, чем, например, к наследию Ф.М. Достоевского или Л.Н. Толстого, которых весь мир изучает с завидной тщательностью и регулярностью, если судить по научным симпозиумам, семинарам и книгам в их честь. Хотя Гончаров — не только величайший романист мирового масштаба, но и художник слова, уловивший в русском национальном характере самое сокровенное, едва ли не точнее и тоньше, чем это удалось сделать упомянутым выше, признанным национальным гениям. Думается, что рецензируемая книга должна и может стать катализатором всеобщего интереса к творчеству Гончарова. Смеем надеяться, что она побудит и нас самих более ответственно и трепетно относиться к наследию нашего национального гения, поскольку юбилейные торжества и связанные с ними научные мероприятия в России прошли, но далеко не везде им был подведен должный итог в виде соответствующей печатной продукции. Светлым исключением является форум в Ульяновске и ряд изданий, увидевших свет в Санкт-Петербурге. В этой связи хотелось бы поблагодарить наших венгерских коллег, и прежде всего Ангелику Молнар, чьими трудами во многом и состоялась настоящая книга — они показали нынешним соотечественникам Гончарова пример профессиональный и человеческий.

Название книги — «Гончаров: живая перспектива прозы» — подчеркивает желание ее редакторов и составителей сосредоточить свое внимание на разных аспектах прозаического наследия писателя, хотя большая часть статей посвящена романному тексту в широком смысле слова, что совершенно естественно, если учитывать доминирующие жанровые смыслоформы у Гончарова. Удачна и собственно научная метафора «живая перспектива прозы», которая положена в основу заглавия. Она органична художественному миру русского писателя и точно выражает актуальность

нынешнего профессионального интереса к нему. Структура книги логична и оправданна. Открывает ее раздел «Единство произведений И.А. Гончарова», который посвящен общим вопросам содержательности и поэтики прозы писателя. Два следующих — «“Обломов”: поэзия любви и поэтика романа» и «“Обломов”: текст романа в культуре и мире читателя» — самые объемные и закономерно соотнесенные с центральным романом Гончарова. Во всяком случае, именно так «Обломов» воспринимается большей частью читателей и в своем отечестве, и за рубежом. Между тем сам писатель едва ли не важнейшим своим творением считал «Обрыв», которому, к слову сказать, в венгерском сборнике также отведен отдельный раздел, правда, менее фундаментальный, чем в случае с «Обломовым». Этот факт лишний раз свидетельствует о том, что заключительный роман Гончарова еще ждет своего исследователя. Отрадно, что уникальный текст «Фрегата “Паллады”» заслужил отдельного разговора и несколько статей посвящены особенностям повествования/наррации и «кросс-культурной проблематике» этой уникальной книги. Ряд интереснейших материалов, касающихся текстологической стороны некоторых произведений Гончарова («Необыкновенная история»), работы известного французского слависта А. Мазона над книгой о русском писателе (по материалам рукописного отдела Пушкинского Дома) и др., опубликованы в разделе «Филологические сообщения о наследии Гончарова». Словом, в книге обозначены важные для современной науки о творчестве Гончарова проблемные поля, выявлены центры исследовательского признания, внимания и перспективы.

В книге опубликовано 50 научных статей и сообщений. Описать их все и высказать свое отношение к каждой проблеме, в них затронутой, невозможно даже в самой развернутой рецензии. Позволим себе остановиться на самых, по нашему мнению, значимых научных текстах, не отрицая при этом ценности тех публикаций, что мы обойдем молчанием — вовсе не потому, что они плохи. Однако нельзя не отметить, что некоторые, немногочисленные, статьи сборника специалистам могут показаться неровными и профессионально уязвимыми.

«Слово о И.А. Гончарове» В.А. Недзвецкого служит, прежде всего благодаря своему жанровому определению, монументальным вступлением к этой юбилейной Гончаровской книге, а также обозначает основные вехи в науке о писателе и намечает грядущие исследовательские перспективы. К ним стоит прислушаться будущим интерпретаторам Гончарова. Называя его «самым загадочным писателем-классиком» (с. 10), автор «Слова...» вовсе не преувеличивает, поскольку восприятие Гончарова его современниками и потомками хотя и было во все времена в читательском плане открытым, но при этом на него налагались сложные стереотипы и схемы, диктуемые идейно-политическими задачами той или иной эпохи. «Многолетняя заниженность творческих заслуг Гончарова, — как справедливо сетует В.А. Недзвецкий, — поддерживалась и устойчивым, но совершенно неверным определением самой природы <...> художественного дарования» писателя (с. 12). Были времена, когда Гончарова «обвиняли» в интересе к «несложным» психологическим задачам, описательности, простоте событий и характеров, не желая видеть в его романах «онтологического углубления быта» (с. 13), тонких размышлений о жизнеспособности «разных национальных культур и ментальностей», постановки «общероссийских» и «всечеловеческих» вопросов, в том числе благодаря «ряду мифологических и литературно-архетипных параллелей и обертонов» (с. 16). Справедливости ради заметим, что широкая парадигма подобных переключек и сцеплений, заявленная в настоящем «Слове...», подробно рассматривается В.А. Недзвецким в его последних фундаментальных работах о Гончарове, однако в контексте данной юбилейной книги звучит как важнейшая в современной науке о писателе исследовательская стратегия.

Емко и точно сказано В.А. Недзвецким и о культурно-историческом значении гончаровской концепции Эроса, которая долгие годы несправедливо умалялась: история отношений любви есть история духовно-нравственной культуры человечества. Все это звучит как напутствие будущим исследователям Гончарова, которые не должны забывать о коренном, важнейшем при изучении наследия великого русского романиста.

Гончаров как аналитик литературы рассмотрен М.Б. Лоскутниковой в одноименной статье, где систематизированы известные и малоизвестные высказывания писателя об основных категориях искусства слова. Речь идет в том числе о проблеме объективности в искусстве как о важнейшем законе творчества, который, по мысли Гончарова, осуществим лишь тогда, когда писатель беспристрастен («sine ira»). В этой связи автор статьи логично разрешает, казалось бы, существующее противоречие в художественном сознании самого Гончарова, когда писатель, будучи сторонником «правдивости изображения», не исключал для себя отступлений от реализма. Просто «правда жизни» и «правда в искусстве» — вещи, хотя и близкие и взаимозависимые, в том числе для самого Гончарова, но тем не менее разные, что не отрицает не только писательской фантазии, но и укорененности или «наследственного сродства» созданных им образов с общемировыми типами. Гончаров, сознавая себя реалистом в системе координат своего времени, подспудно чувствовал, что творческие силы большого художника всегда шире общих правил и принципов любого литературного направления и не укладываются в отведенные для него рамки, которые вполне подходят для добротной, но не великой литературы.

Автором статьи убедительно показано, что Гончаров был сторонником пластической образности в искусстве слова и в немалой степени предсказал в своих литературно-критических статьях теорию двух линий (пластической и аналитической) в классическом стиле русской литературы. Четко систематизирован М.Б. Лоскутниковой и ценнейший материал, который касается воззрений Гончарова на специфику романа. Его метафора романа как «здания» вполне коррелирует с современными представлениями об архетиктонике романного текста, о телеологии стиля. В целом справедлив и актуален для современной науки вывод исследователя: «мировая и русская романистика, находящаяся в центре внимания Гончарова, вызвала у писателя поток размышлений о законах творчества — о структурно-композиционной организации художественного целого, о мотивной интертекстуаль-

ности, о той телеологии стилевой и стилистической работы, которая позволяет создать “здание романа”» (с. 37). Однако остается сожалеть о том, что М.Б. Лоскутниковой не удалось обратиться к иным аспектам литературной аналитики Гончарова — возможно, по причине ограниченного объема статьи. Например, это касается отношения писателя к иронии и разным оттенкам ее функциональности. Ведь в арсенале автора статьи есть работы о гончаровской иронии, но скорее как о доминирующей художественной модальности в романах писателя. Потому было бы интересно и даже в высшей степени полезно рассмотреть воззрения Гончарова на природу иронии и травестирования в целом, тем более что следующая статья юбилейного сборника посвящена «“Пафосу середины”»: иронии и автоиронии у Гончарова».

Ее автор, А.Г. Гродецкая, собрав основательную (хотя и не исчерпывающую на момент публикации) историю вопроса, что всегда исключительно ценно, не без основания предлагает разделять не свойственную Гончарову «пародийность» и органичную для его стиля «пародичность» (с. 43). Справедливо делая акцент на иронии как ключевой форме реализации комического у Гончарова, исследователь, к сожалению, минует иные возможности и смыслы иронии, которые связаны с другими модусами художественности, вплоть до трагического (об этом как раз замечательно написано у М.Б. Лоскутниковой). Трудно согласиться и с размышлениями А.Г. Гродецкой о «диффузности» стиля и жанра у Гончарова. «Константы» последнего якобы «размываются» иронией (с. 46). Однако необходимо признать, что актуализировавшийся в последние годы разговор об иронии у Гончарова свидетельствует о той исследовательской стратегии, которая может предполагать разные тактико-методологические реализации.

В целом статьи первого блока юбилейного сборника, посвященные общим вопросам поэтики и содержательности произведений Гончарова, намечают или продолжают важнейшие направления в изучении наследия писателя. Очевидно, что аспекты — «Петербургского текста в романах И.А. Гончарова» (В.А. Доманский), «Пейзажа в художественном мире И.А. Гончарова»



(В.Г. Кочетова), «Внутреннего и внешнего: О “движении чувства” у Гончарова» (Л.В. Карасев), а также концептосферы творчества (Г.Л. Черюкина), встроенности в «гипертекст русского классического романа XIX века» (С.А. Кибальник) и др. — имеют разную степень изученности, но, несомненно, актуальны для современного научного размышления о наследии Гончарова.

Статьи следующих двух блоков, что посвящены роману «Обломов», сосредоточены в той или иной степени вокруг «поэзии любви», на разных гранях поэтики, читательской рецепции и интерпретации самой известной книги Гончарова. Смысловая палитра художественной философии любви автора «Обломова» раскрывается в целом ряде статей, значительно дополняющих существующий научный дискурс.

Статья «“Живое согласие” (Смысловый масштаб симпатии в романе “Обломов”»)» принадлежит известному русисту Апарду Ковачу. Ученый предлагает рассмотреть проблемное поле любви/человеческой симпатии «в регистре поэтического языка» (с. 126). Это оказывается чрезвычайно важным и продуктивным, ведь «дискурс любви» в романе можно выделить в отношении каждого значимого персонажа/повествователя, который осмысляет как свои, так и чужие чувства в процессе языковой деятельности. В романе существуют разные «интерпретаторы» и разные интерпретации смысла любви, а потому свои поэтические знаки чувства, своя «метафорика симпатии» (с. 139). «Эстетически маркированной фигурой», транслирующей страсть как одну из граней любви, оказывается в романе «присутствие женщины» (с. 127). А для Обломова «словом любви» (но не «словом о любви»!) будет даже знаменитый халат (с. 140–141). «Манифестацией смысла любви» (с. 155) и разных пониманий любви могут быть голос, сон, лень, хрустальная душа как хрусталь/хрусталик глаза (!)/хрустящий обломок. При таком подходе проблема, словно бутон, начинает раскрываться, и в ней вдруг обнаруживаются многочисленные лепестки смыслов-образов-деталей, что, возможно, сам Гончаров предпочитал бы именовать «перлами поэзии». Единственная опасность, которая может поджидать исследовате-

ля на этом пути, — мозаичность и потеря связи между разными элементами общей картины. Однако концепции, предложенной Апардом Ковачем, нельзя отказать в *красоте* и стройности, а это многое прощает.

Вопрос о «“Вечно женском” как жизненной и творческой теме Гончарова» стал предметом рассмотрения в работе В.А. Котельникова. Небезосновательно настаивая на разделении явлений «вечно женского» и Вечной Женственности, автор статьи ставит все же слишком непреодолимую границу между ними. И если считать, что культ Вечной Женственности «сложился еще у Данте» (с. 160), то именно у Данте в преддверии и предчувствии Возрождения идеальные начала нашли свою телесную форму, обрели плоть и кровь. И шли рука об руку, порождая «неразбериху» и желание их разделить и разъять. Так, во многом, восприняла это единство и русская литература XIX столетия. Были, конечно, исключения, как, например, Н.В. Гоголь, для которого трагически невозможно было в художественной реальности соединить несоединимое и потому изобразить портрет идеальной красавицы, то есть воплотить красоту мира в образе земной женщины. Гончаров в своем художественном творчестве, думается, нашел ту норму, что гармонически сочетала «духовно-телесные токи любви» (В.С. Соловьев). Однако «вечно женское» у автора «Обломова» столь многогранно и «объемлет» в том числе мужское начало (с. 161), что само по себе заслуживает отдельного разговора. Все это стало предметом тонкого аналитического прочтения в рецензируемой статье В.А. Котельникова. Работа в высшей степени интересна и малодоступным эпистолярным материалом, комментирующим «сюжет жизни» самого Гончарова. Этот сюжет, как справедливо констатирует автор статьи, писатель не стал завершать так, как он был завершен в романе (с. 176), то есть в «охватывающем» плену Агафьи Матвеевны Пшеницыной Гончаров не оказался.

Развивают проблемную линию гончаровской «поэзии любви» В.И. Холкин в статье «“Кристаллизация” любви как нарушение порядков жизни (Андрей Штольц, Ольга Ильинская, Илья Об-

ломов)», которая скорее представляет собой свободное эссе-размышление, и исследование Эстер Рёриг «Нарративные модусы любви в одном из отрывков романа И.А. Гончарова “Обломов”», предлагающее взглянуть на проблему через «нарратологический» объектив. В его фокусе оказывается «микроанализ сегмента текста» (с. 184), а именно эпизод исполнения Ольгой Ильинской знаменитой арии *Casta diva*, который позволяет исследователю сосредоточить свое внимание на «наррации начальных моментов любви» (с. 192). К преимуществам такого подхода стоит отнести пристальное внимание к ткани текста, к недостаткам — потере стройности и натяжения нитей в этой ткани. Но в любом случае, в своей системе координат настоящий опыт вполне полезен и позволяет действительно услышать в романе то, как зарождается чувство.

Среди, казалось бы, разнородных аспектов поэтики, что поднимают в юбилейном сборнике авторы статей — ученые, критики и переводчики из Венгрии, Германии, России, Сербии, — выделяется интерес к ономастике («Система наименований главных и второстепенных персонажей в романе И.А. Гончарова “Обломов” Милы Двинутиной), а также к символам, мотивам, образным концептам и модусам, имеющим непосредственное отношение к проблемам национальной идентичности и всечеловечности романа «Обломов» («Квас как символ русской жизни в романе И.А. Гончарова “Обломов”» С.А. Васильевой; «“Нарушение воли” (К функции алкогольных мотивов в романе “Обломов”» С.А. Ларина; «“Какое безобразие этот столичный шум!” Топосы “тишина”, “покой”, “шум” в романе “Обломов” и потребность в “идеальной тишине” И.А. Гончарова» Веры Бишицки; «Природное пространство — Идиллия? (По роману И.А. Гончарова “Обломов”» Марианн Папперт; «Хоббиты и обломовцы как разновидности персонажей идиллического хронотопа» А.В. Склизковой). И если о квасе в жизни обломовцев писали, пишут и будут писать, что совершенно правильно, поскольку этот напиток обладает слишком сильной позицией в тексте, он запоминается и нередко вызывает необычайный интерес иностранного читате-

ля (не все знают, как в реальности выглядит настоящий хлебный квас и каков он на вкус), то мотивный корпус, связанный со всем хмельным, алкогольным и пьяным, едва ли не впервые столь пристально заинтересовал исследователей.

Нам показали любопытными и в целом аккуратными наблюдения С.А. Ларина над текстом «Обломова», где действительно много говорится о вине, смородиновой водке и ее приготовлении, хмеле, горьком пьянстве и винокурении и возможных пагубных следствиях всего этого в виде падения в бездну, в прямом и в переносном значении этого слова. Однако, несмотря на то, что автором статьи убедительно показано, как «основные мотивы, имеющие “алкогольную” семантику, в “центральном” романе Гончарова оказываются связаны с образом Обломова» (с. 228), признать главной причиной смерти героя его пристрастие к алкоголю (даже пусть и в широком смысле как зависимости от Пшеницыной), невозможно: эстетическая природа романа этому противится. Гончаров действительно немало пишет о «хмельном» состоянии Обломова, но делает это так аккуратно и ненавязчиво, что у читателя не возникает желания провести прямую и непосредственную связь между смородиновой водкой, страстью к Агафье Матвеевне и тихим безвольным умиранием. Согласимся, что алкогольная, даже более того, наркотическая семантика («наркотические» запахи источали съестные запасы Пшеницыной) важна для сюжетной линии Обломов — Агафья Матвеевна, но это скорее метафорический ряд ее поэтики, а метафора — скрытое сравнение. Другое дело, что сила зависимости Обломова от мира Пшеницыной такова, что именно сравнима, по принципу подобия, с пьяным дурманом, но не равна ему. То есть тут нужно быть очень осторожными в выводах и оценках, чтобы научная интерпретация гончаровского текста не переходила в область читательского своеволия, которая делает из Обломова горького пьяницу.

Статья Веры Бишицки о «тишине» интересна в первую очередь тем тончайшим чувствованием нюансов слова, которое отличает блистательного переводчика «Обломова». Убедительны представленные в статье параллели гончаровского эпистолярия и

романного текста в плане частотности таких слов, как «тишина», «покой», «мир» и т. п. Трогательны изыскания краеведческого характера, как в случае с современным названием отеля «Пацифик» в Мариенбаде. Во всем сквозит удивительная преданность переводчика-исследователя тому, чье слово ему доверено переложить на другой язык. У Веры Бишицки есть в этом сборнике и другая статья «Вместе с Обломовым в 21-й век (О восприятии нового перевода “Обломова” в Германии и других немецкоязычных странах)», в которой будет рассказано не столько о трудностях перевода, как это можно было бы ожидать, сколько о личной истории приближения к «Обломову» и вживания в его словесную ткань. Удивительно, но когда в нашей стране некоторые ученые мужи ведут разговоры о том, что русская классика, в том числе и Гончаров, не очень понятны и потому не очень нужны современному читателю, особенно молодому, в немецкоязычных странах, как показывает Вера Бишицки, ее новый перевод «Обломова» пользуется ошеломляющей популярностью, выходя на первые позиции в рейтингах книжных новинок. Наверное, это не случайно, и нам, соотечественникам автора «Обломова», стоит над этим задуматься, прежде чем очищать школьную программу по литературе от классики и облегчать головы школьников от художественных открытий, которыми восхищается остальной мир.

Наблюдения Веры Бишицки над «тишиной», которая у Гончарова была «синонимом вечности» (с. 236), корреспондируют со статьей Марианн Папперт, посвященной идиллическому модусу, где речь идет о «природных мотивах внешнего мира», о поиске Обломовым идиллии во внешнем пространстве и о художественных знаках и «атрибутах» природного мира. Она, в свою очередь, пересекается с работой Павле Павлович о парадигмах образов и метафор, имеющих отношение к пространству в «Обломове», — это пространство земли, исчезновения и отсутствия, бездны и др. В работах наших зарубежных коллег, которые вошли в юбилейный Гончаровский сборник, привлекает особое отношение к слову-детали / образу / мотиву и его подчас мерцающим смыслам. Не все трактовки можно принять и не со всем согла-

ситься, но иногда они позволяют посмотреть на текст «другими» глазами и услышать то, что скрыто от носителя языка или кажется ему очевидным.

Иногда невозможно далекими, но чрезвычайно любопытными и смелыми представляются параллели «Обломова» с иными художественными мирами, культурами, традициями, как, например, в статье нашей юной соотечественницы А.В. Склизковой, где идиллическое пространство романа Гончарова сопоставляется с жизнью хоббитов, сочиненных Дж. Толкиным. Во всяком случае, мировым почитателям последнего не мешало бы знать о его русском коллеге, в творчестве которого миф не менее значим, а идиллия еще более загадочна и сложна.

Бытие «Обломова» в большом времени культуры и разные грани восприятия этого романа поднимаются в статьях, посвященных вопросам компаративистики, интермедиальности, рецепции и интерпретации, включая собственно проблему переводов романа на иностранные языки — в данном случае венгерский (Мария Янкович, Эржбет Ч. Йонаш), немецкий (Вера Бишицки, Река Бартфаи) и отчасти английский (Мартина Штембергер, Янош Шелмеци).

Русская и французская традиции, причем разного исторического времени, оказываются созвучными друг другу благодаря интертекстуальным импульсам как самого центрального персонажа «Обломова», так и его экзистенциального качества — лени. В статье Мартины Штембергер «Обломов в Париже: Метаморфозы персонажа во французской литературе 1920-х годов» главный герой романа Гончарова рассматривается как «персонаж глобального интертекста», который, однако, настолько подвергся «(гипер)-русификации», что сам стал литературным архетипом уже для французского «антигероя межвоенного времени» в романах Эмманюэля Бова и Андре Беклера (с. 262–263). В исследовании О.Б. Кафановой «Иван Гончаров и Эжен Сю: вариации на тему лени» роман «Обломов» рассмотрен как отклик на книгу французского писателя «Семь смертных грехов». Ленъ как пятый грех и пятая часть романа Эжена Сю, по мысли автора статьи,

не могла не стать одним из импульсов для размышлений Гончарова, тем более что русский писатель не миновал влияния своего французского предшественника. Таким образом, получается, что французская культура начала XIX века, влияя на русскую литературу с ее «всеотзывчивостью», через столетие словно вернулась к себе самой — через русского литературного героя Обломова.

Присутствие гончаровского интертекста в творчестве А.П. Чехова привлекло внимание двух исследователей — из России (Н.О. Кононова — «Гончаровские аллюзии в “Драме на охоте” Чехова») и из Венгрии (Ч. Йонаш Эржбет — «Параллелизмы реплик Обломова и Иванова у И.А. Гончарова и А.П. Чехова (Проблемы речевого взаимодействия в коммуникации)»).

Опытom восприятия «Обломова» в свете культурно-исторического контекста представленной в романе эпохи и живых реалий русской жизни поделился Душан Теллингер из Словакии («“Обломов” и “Фрегат „Паллада”” на фоне творчества И.А. Гончарова»). Автор статьи акцентирует внимание на сложности, которая возникает при рецепции гончаровского текста читателем другой культуры, и на разных переводческих стратегиях в этой связи. В помощь тут может прийти кинематограф как один из способов переложения романного текста на язык другого искусства. О кинематографической интерпретации «Обломова» (фильм Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова») в плане передачи «телесных элементов» — например, тактильности в таких сферах, как материнство, отцовство, любовь, дружба, братство, — написано Ясминой Войлович. Об экранном воплощении образа русского немца Штольца и в целом о межкультурной коммуникации речь идет в работе М.Э. Шараповой. А о рецепции книги Гончарова в немецкоязычных странах — в основательной статье Реки Бартфаи.

Две статьи посвящены восприятию «Обломова» в англоамериканской критике. Ю.Г. Бабичева ставит проблему методологически, что совершенно справедливо. Исследователь выделяет области преимущественного интереса иностранных ученых к Гончарову-художнику на примере малодоступного в России

сборника критических статей, вышедшего в США в 1998 году под редакцией Гали Димент (Goncharov's «Oblomov»: A Critical Companion / Ed. by G. Diment. Evanston: Northwestern UP, 1998. 194 p.). Здесь особый приоритет имеют психоаналитические наблюдения, во фрейдистском ключе, и «мифокритический» подход. Однако автор статьи не только аргументированно оценивает достижения или упущения американских коллег, но и дает советы, как им лучше поступать в дальнейшем. Думается, что это излишне. Здесь важен сам интерес к Гончарову, который, как отмечает Янош Шелмеци в своем аналитическом анализе истории восприятия романа «Обломов» в американской критике, в последнее время только усиливается.

По сравнению с «Обломовым» роману «Обрыв» и книге «Фрегат “Паллада”» в Гончаровском сборнике посвящено меньшее количество статей. Это свидетельствует об исследовательских приоритетах в гончароведении, но также о необходимости постановки новых задач и несомненном интересе в будущем к этим двум значимым для самого Гончарова художественным трудам.

Драматической истории восприятия романа «Обрыв» в прижизненной отечественной критике посвящена статья С.Н. Гуськова «О некоторых мотивах критики “Обрыва”». В ней скрупулезно выявлены основные нюансы полемики вокруг романа, которая, как справедливо замечает автор статьи, имела впоследствии «негативную инерцию» (с. 403), почему «Обрыв» и стал восприниматься как самый слабый и неудачный роман Гончарова, вопреки авторским ожиданиям и объективной данности.

В фокусе особого внимания исследователей «Обрыва» оказался художник Райский, его «ненаписанный роман» и «игра в страсть». Истоки «образа художника» у Гончарова автор статьи «Из комментария к роману “Обрыв”: Художник Райский» Н.В. Калинина видит в «эстетической утопии романтизма» (с. 412), от которой писатель тем не менее постепенно отходит.

В статьях Г.Г. Багаутдиновой «“Ненаписанный роман” Бориса Райского: опыт реконструкции (“Обрыв” И.А. Гончарова)» и Ангелики Молнар «Игра в страсть в романе И.А. Гончарова “Об-



рыв» рассматриваются пути развертывания цитаты в тексте Гончарова. Речь идет об эпитафе из Г. Гейне в переводе А.К. Толстого к неосуществленному роману Райского под названием «Вера». Анализируя разные коннотации темы творчества, которая заявлена в стихотворении Гейне, в переводах А.Н. Майкова, А.А. Григорьева и А.К. Толстого, автор первой названной статьи, думается, не совсем удачно полемизирует с Л.С. Гейро по вопросу о причинах включения в роман именно толстовского переложения Гейне. Проводя непреодолимые границы между романом, который пишет Райский, и романом, что создает Гончаров, Г.Г. Багаутдинова не склонна, вслед за Л.С. Гейро, видеть в эпитафе «общечеловеческие проблемы и страсти» (с. 420). Это, думается, не в последнюю очередь приводит автора статьи, к странному, с нашей точки зрения, выводу о восприятии Райским романа как «зеркального отражения действительности» (с. 421), а эпитафа как всего лишь «знака духовного взросления Райского» (с. 424).

Гораздо продуктивнее подход к прочтению эпитафа, который предложила Ангелика Молнар. Не соглашаясь с исследователем в некоторых интерпретациях и суждениях, к примеру, по поводу донжуанизма как игры в страсть (в России всё в этом плане было сложнее!), присоединимся к выводам о пробуждении Райского в любви и в творчестве через страсть/страдание. Исключительно ценно, что исследователь обращает внимание на катарсические грани страсти. А само стихотворение Гейне, с которого начинается и которым заканчивается недописанный роман Райского, рассматривается Ангеликой Молнар как эквивалент «жизни и смерти, начала и конца творения», как единый для автора, его героя и, позволим себе дополнить коллегу, читателя «процесс созидания» (с. 435).

Е.В. Рипинская предлагает свое видение мотивной структуры романа «Обрыв» в одноименной статье с подзаголовком: «символическая интеграция vs семантическая дифференциация». В целом мотивный анализ представляется нам продуктивным для осмысления содержательности художественной формы романов Гончарова. А намеченное в статье изучение «элементов

мотива» как «характеристик, входящих в его содержание», с радостью приветствуем. Например, «элементом мотива *статуи*» являются «белизна; неподвижность и непроницаемость *оболочки/внешней формы*; невозмутимая, равнодушная, бесстрастная красота» (с. 442), что позволяет учитывать сложный семантический спектр мотива. Однако нам трудно принять предложенную автором статьи и размещенную в приложении схему мотивной организации романа, которая скорее запутывает, чем проясняет проблему.

Отдельные мотивы рассматриваются в парадигматике русской литературы в статьях Наталии Няголовой «Деформация скульптуры в творчестве И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова» и И.О. Маршаловой «Мотивы бестиальных масок в романах “Обрыв” И.А. Гончарова и “Москва” А. Белого».

Экзистенциальные смыслы скуки раскрывает М.В. Отрадин в статье «Между “созерцанием” и “действием”: повествование в книге И.А. Гончарова “Фрегат „Паллада“». Изображение скуки как замены естественности, органичности и творческого начала жизни «чуть ли не в масштабах всего мира», по мнению ученого, входило в задачи Гончарова, но именно для того, чтобы «начать ее преодоление» (с. 476). Проблема соотношения «документальной достоверности» и художественной условности интересовала А.Ю. Балакина в статье с неудобно тяжеловесным названием: «“Избегал фактической стороны...” (Еще о проблеме документальной достоверности книги И.А. Гончарова “Фрегат „Паллада“)». Исследователь поднимает в ней интересный вопрос о необходимости прочтения политико-дипломатического пласта книги, который скрывается за гончаровскими «фигурами умолчания» (с. 486).

Отрадно, что наши европейские коллеги обратили внимание на «Фрегат “Палладу”» как на источник для кросс-культурных исследований. Диалог культур, опыт открытого для впечатлений путешественника и приобретение им в своем движении по иным культурам и цивилизациям жизненной перспективы, которую он уже не может не учитывать,

сотворяя свою собственную жизнь, стал предметом интереса в статьях Марьяны Няголовой «Кросс-культурная проблема в произведении И.А. Гончарова “Фрегат „Паллада“ и Анны Троян “Южный Крест или небольшие четыре звезды?” (Несколько замечаний к “Фрегату „Палладе“ И.А. Гончарова)”».

Юбилейный сборник получился достойным, основательным, под стать весомости юбилейной цифры, и многообещающим.

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Авина Наталья** — доктор гуманитарных наук, доцент кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации Литовского эдукологического университета, Литва. Сфера научных интересов: современный русский язык, этнолингвистика.

**Avina Natalja** — Doctor of Humanities, Associate Professor of the Department of Russian Philology and Intercultural Communication of the Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania. Field of scientific interests: Modern Russian Language, Ethnolinguistics.

E-mail: nataljaa@takas.lt

**Алексеев Александр Валерьевич** — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: историческая лексикология.

**Alekseev Aleksandr** — Ph.D. (Candidate of Philology), Docent, Docent of the Department of Russian language of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: historical lexicology.

E-mail: alsalva@narod.ru

**Алпатова Татьяна Александровна** — доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета, Россия. Сфера научных интересов: история русской литературы XVIII века.

**Alpatova Tatyana** — Doctor of Philology, Docent, Professor of the Department of Russian classical literature of the Moscow State Regional University, Russia. Field of scientific interests: history of Russian literature of the XVIII<sup>th</sup> century.

E-mail: alpatova2005@rambler.ru

**Беляева Ирина Анатольевна** — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: история русской литературы XIX века.

**Belyaeva Irina** — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Russian literature of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: history of Russian literature of the XIX<sup>th</sup> century.

E-mail: belyaeva-i@mail.ru

**Ганиев Журат Валиевич** — доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: орфоэпия, риторика, культура речи, русский язык как неродной.

**Ganiev Zhurat** — Doctor of Philology, Docent, Professor of the Department of Russian language of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: orthoepia, rhetorics, culture of speech, Russian as a nonnative language.

E-mail: vlad.ganiev@yandex.ru

**Геймбух Елена Юрьевна** — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: филологический анализ художественного текста, стилистика, лингвистика текста.

**Geymbukh Elena** — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Russian language of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: philological analysis of literary text, stylistics, text linguistics.

E-mail: gejmbuh@rambler.ru

**Герасименко Наталья Аркадьевна** — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры современного русского языка Московского государственного областного университета, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Россия. Область научных интересов: синтаксис русского языка; типология простого предложения; структура и семантика неглагольного предложения; сказуемое и его типология; функционирование синтаксических конструкций в тексте.

**Gerasimenko Natalia** — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Modern Russian language of the Moscow State Regional University, Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Russia. Field of scientific interests: Russian language syntax; typology of simple sentence; structure and semantics of non-verbal sentence; predicate and its typology; function of syntactic structures in the text.

E-mail: nataly@lsm.ru

**Джанумов Сейран Акопович** — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: история русской литературы XVIII–XIX веков, фольклористика.

**Dzhanumov Seyran** — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of Russian literature of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: history of Russian literature of the XVIII–XIX<sup>th</sup> centuries, study of folklore.

E-mail: DjanumovSA@mail.ru

**Левина Елена Николаевна** — кандидат филологических наук, директор ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева “Спасское-Лутовиново”», Россия.

**Levina Elena** — Ph.D. (Candidate of Philology), Director of the «State Memorial and Natural Museum of I.S. Turgenev “Spasskoe-Lutovinovo”», Russia.

E-mail: spasskoye@turgenev.mkrf.ru

**Лоскутникова Мария Борисовна** — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: теория литературы, история русской литературы XIX–XX веков, компаративистика.

**Loskutnikova Maria** — Ph.D. (Candidate of Philology), Docent, Docent of the Department of Russian literature of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: theory of literature, history of Russian literature of the XIX–XX<sup>th</sup> centuries, comparative studies.

E-mail: maria.loskutnikova@mail.ru

**Молнар Ангелика** — Ph.D, доцент (Dr.) кафедры русского языка и литературы Института славянской филологии Западно-венгерского университета, Университетский центр «Савария», Венгрия. Сфера научных интересов: история классической и современной русской литературы, творчество И.А. Гончарова; поэтика; сравнительное литературоведение.

**Molnár Angelika** — Ph.D. (Candidate of Philology), Docent of the Department of Russian language and literature, Institute for Slavic philology, Savaria Campus of University of West Hungary, Hungary. Field of scientific interest: history of classical and modern Russian literature, Ivan Goncharov's works, poetics, comparative studies.

E-mail: manja@t-online.hu

**Полтавец Елена Юрьевна** — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: история русской литературы XIX века.

**Poltavets Elena** — Ph.D. (Candidate of Philology), Docent, Docent of the Department of Russian literature of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: history of Russian literature of the XIX<sup>th</sup> century.

E-mail: nedzvetsky@mail.ru

**Романенкова Марина** — доктор гуманитарных наук, доцент, доцент кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации Литовского эдукологического университета, Литва. Сфера научных интересов: компаративистика, русская литература XX века, теория литературы.

**Romanenkova Marina** — Ph.D. (Candidate of Philology), Docent, Docent of the Department of Russian Philology and Intercultural Communication of the Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania. Field of scientific interests: comparative studies, Russian literature of the XX<sup>th</sup> century, theory of literature.

E-mail: [marina.romanenkova@leu.lt](mailto:marina.romanenkova@leu.lt)

**Романова Галина Ивановна** — доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: теория литературы, история русской литературы XIX века, компаративистика.

**Romanova Galina** — Doctor of Philology, Docent, Professor of the Department of Russian literature of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: theory of literature, history of Russian literature of the XIX<sup>th</sup> century, comparative studies.

E-mail: [galinroma@mail.ru](mailto:galinroma@mail.ru)

**Савада Кадзухико** — доктор филологических наук, профессор, профессор Гуманитарного факультета Государственного университета Сайтама, Япония. Сфера научных интересов: история русско-японских культурных отношений; русская литература XIX века.

**Sawada Kazuhiko** — Ph.D., Professor, Professor of Faculty of Liberal Arts of the Saitama University, Japan. Field of scientific interests: history of Russian-Japanese cultural relations; Russian literature of the XIX<sup>th</sup> century.

E-mail: [sawada@mail.saitama-u.ac.jp](mailto:sawada@mail.saitama-u.ac.jp)



**Тышковска-Каспшак Эльжбета** — кандидат филологических наук, адъюнкт кафедры славянской филологии Вроцлавского университета, Польша. Сфера научных интересов: современная русская литература, русский авангард, польско-русские литературные связи, культурная антропология.

**Tyszkowska-Kasprzak Elżbieta** — Ph.D. in Philology, Assistant Professor of the Department of Slavonic Philology of University of Wrocław, Poland. Field of scientific interests: modern Russian literature, Russian avant-garde, Polish-Russian literary connections, cultural anthropology.

E-mail: elakasprzak@o2.pl

**Федорова Александра Геннадьевна** — аспирант кафедры русского языка Московского городского педагогического университета, Россия. Сфера научных интересов: филологический анализ художественного текста.

**Fyodorova Aleksandra** — postgraduated student of the Department of Russian language of the Moscow City Teacher Training University, Russia. Field of scientific interests: philological analysis of literary text.

E-mail: gejmbuh@rambler.ru

**Шаповалова Татьяна Егоровна** — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры современного русского языка Московского государственного областного университета, Россия. Сфера научных интересов: проблемы синтаксиса современного русского языка, грамматическая семантика, реализация грамматических значений в художественном тексте.

**Shapovalova Tatyana** — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of modern Russian language of the Moscow State Regional University, Russia. Field of scientific interests: issues of the modern Russian language syntax, grammatical semantics, implementation of grammatical meanings in a literary text.

E-mail: tshapovalova@gmail.com

**Участники «Школы молодого исследователя»**

**Горбунова Анна** — студентка 5 курса Московского городского педагогического университета.

**Gorbunova Anna** — 5 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: kyzja@bk.ru

**Гребенщиков Юрий** — студент 4 курса Московского городского педагогического университета.

**Grebenshikov Yury** — 4 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: astrum.virtu@gmail.com

**Евдокимова Анастасия** — студентка 6 курса Московского городского педагогического университета.

**Evdokimova Anastasia** — 6 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: tryamromashka@gmail.com

**Медведева Дарья** — студентка 5 курса Московского городского педагогического университета.

**Medvedeva Darya** — 5 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: medvedeva.dasha@mail.ru

**Нефедина Олеся** — студентка 5 курса Московского городского педагогического университета.

**Nefedina Olesya** — 5 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: lessnef@mail.ru

**Осокина Елена** — студентка 5 курса Московского городского педагогического университета.

**Osokina Elena** — 5 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: elena.osokina.92@mail.ru

**Саблина Ирина** — студентка 4 курса Московского городского педагогического университета.

**Sablina Irina** — 4 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: irenesab@yandex.ru

**Степанова Елена** — студентка 4 курса Московского городского педагогического университета.

**Stepanova Elena** — 4 year student of the Moscow City Teacher Training University.

E-mail: elena\_stepanova\_2012@list.ru

# РУСИСТИКА И КОМПАРАТИВИСТИКА

## *СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ*

Выпуск IX

Главный редактор:

*Мария Борисовна Лоскутникова* (Москва)

Главный редактор выпуска:

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

*Т.П. Веденеева*

Редактор:

*М.В. Чудова*

Корректор:

*Л.Г. Овчинникова*

Техническое редактирование, верстка и дизайн обложки:

*О.Г. Арефьева*

Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 17,5 усл. печ. л.

Тираж 300 экз.

Московский городской педагогический университет

Научно-информационный издательский центр

129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр., 4